

# Русская литература

№ 4

Историко-литературный журнал

2006

*Издается с января 1958 года*

*Выходит 4 раза в год*

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| С. А. Фомичев. «Камчатка — страна печальная...» (последний творческий замысел Пушкина) . . . . .                     | 3    |
| Н. Н. Пайков. «Человек жизненной рутины» в поэзии Н. А. Некрасова. Статья первая. Этика жизнестроительства . . . . . | 15   |
| С. В. Фролов. «Пиковая дама» П. И. Чайковского — «Песня Судьбы» А. А. Блока . . . . .                                | 31   |
| О. А. Дмитриенко. Путь Индры. Воплощение мифа в романе Набокова «Подвиг» . . . . .                                   | 43   |

### К 100-летию СО ДНЯ СМЕРТИ АКАДЕМИКА А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО

|  |    |
|--|----|
| Из неизданной книги Ф. Д. Батюшкова «Около талантов»: Александр Николаевич Веселовский (публикация П. Р. Заборова) . . . . . | 62 |
|--|----|

### К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. РОЗАНОВА

|   |     |
|---|-----|
| Е. В. Иванова. В. В. Розанов и его апокалипсис литературы . . . . .   | 92  |
| А. А. Грякалов. <i>Понимание и письмо</i> : опыт В. В. Розанова . . . . .   | 103 |
| Е. И. Гончарова. Контурсы жакерии (В. В. Розанов и Мережковские) . . . . .  | 114 |
| Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: письмо Розанова к Т. И. Филиппову (публикация, вступительная статья и примечания О. Л. Фетисенко) . . . . . | 131 |

## ТЕКСТОЛОГИЯ

|   |     |
|---|-----|
| Осип Манделштам. О природе слова (вступительная статья и примечания А. Г. Меца) . . . . . | 138 |
|---|-----|

## ПОЛЕМИКА

- Фредерик Х. Уайт (Канада).** Так был ли болен Л. Андреев? (О правде, правдоподобности и праве на литературную диагностику) . . . . . 152

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- Н. Д. Кочеткова.** Херасков в «Московском журнале» Карамзина . . . . . 161  
**Илья Серман (Израиль).** Загадка Крылова . . . . . 165  
**А. С. Семёнова.** Об источниках дендизма как социокультурного мотива у русских писателей . . . . . 173  
**Г. С. Ермолаев (США).** Неизвестные исторические источники «Тихого Дона» . . . . . 184  
**Т. С. Тайманова.** Жанна д'Арк и духовные искания русского зарубежья . . . . . 188

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Л. Г. Степанова.** Полоцкий риторический трактат XVIII века . . . . . 194  
**М. Я. Гольберг (Украина).** Портрет ученого . . . . . 196

## ХРОНИКА

- В. П. Бударagini.** XXX Малышевские чтения . . . . . 201  
Зинаида Михайловна Петрова (1922—2005) . . . . . 203  
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 2006 году . . . . . 204

Журнал издаётся под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН

Главный редактор *Н. Н. СКАТОВ*

### Редакционная коллегия:

*Е. В. АНИСИМОВ, Д. М. БУЛАНИН, Г. Я. ГАЛАГАН* (зам. главного редактора),  
*А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА* (отв. секретарь редакции),  
*Н. Н. КАЗАНСКИЙ, В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ,*  
*Ю. М. ПРОЗОРОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА*

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.  
Телефон/факс (812)328-16-01  
e-mail:rusliter@mail.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам

## «КАМЧАТКА — СТРАНА ПЕЧАЛЬНАЯ...»

(ПОСЛЕДНИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА)

Творческие свершения Пушкина в области прозы могут показаться на первый взгляд крайне разнородными, — достаточно сравнить столь несхожие между собой по жанровым признакам опубликованные им произведения: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Пиковая дама», «Кирджали», «Капитанская дочка». Однако существовала и постоянно действующая тенденция, общая для подавляющего большинства его замыслов. Начав путь прозаика как мемуарист,<sup>1</sup> он высоко оценил художественную выразительность документов, преломленных через живое отношение личности, этой эпохой сформированной.

Отмечая своеобразие прозаических «Сцен из рыцарских времен», С. М. Бонди увидел в них намерение «сконцентрировать в самом лаконичном выражении большое историко-социологическое обобщение. И стремительный ход событий в драме, и простота основной интриги, выраженной в двух противопоставленных символах — железные латы рыцарей и порох, взрывающий феодальный замок, — и строго определенная, почти схематическая социальная характеристика действующих лиц, и их речи, носящие иной раз характер условных социальных и исторических формул, — все это придает сценам известную схематичность, вернее символичность».<sup>2</sup>

Здесь, на наш взгляд, выявлено основное направление художественных исканий Пушкина, упроченное его профессиональными историческими занятиями в 1830-е годы.

\* \* \*

В самые последние дни своей жизни Пушкин приступил к работе над документальным рассказом о завоевании Камчатки — крайнего оплота России на азиатском континенте. Основой замысла стала книга С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки».<sup>3</sup> Очевидно, пушкинский очерк предназначался для очередного тома журнала «Современник» и по форме своей примыкал к таким произведениям, как «Путешествие из Москвы в Петербург», «Вольтер», «Джон Теннер», т. е. предполагал краткое изложение избранного источника с обширными цитатами из него, отчасти намеченными

<sup>1</sup> В сентябре 1825 года он переписывал набело свои автобиографические записки (см.: *Пушкин*. Полн. собр. соч. [М.; Л.] Т. XIII. С. 225. Далее ссылки на это издание в тексте), над которыми работал с 1821 года, но уничтожил после восстания декабристов.

<sup>2</sup> *Бонди С. М.* О Пушкине. Статьи и исследования. М., 1978. С. 239—240.

<sup>3</sup> Второе издание этой книги (СПб., 1786) имелось в библиотеке поэта, хранящейся ныне в Пушкинском Доме (см: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. № 200). В нашей статье труды Крашенинникова цитируются (с указанием страниц в тексте) по изд.: *Крашенинников С. П.* Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М.; Л., 1949.

уже при первоначальном конспекте труда С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки».<sup>4</sup>

Пушкинские материалы к этому замыслу, дошедшие до нас, состоят из трех рукописных источников, относящихся к разным стадиям его творческой истории.

Самым ранним по времени, несомненно, был автограф ПД 1203, представляющий собой предварительный конспект из книги Крашенинникова, но некоторые фрагменты этой рукописи содержали краткое изложение материала, вряд ли предполагавшее существенные изменения в окончательном тексте, будь он доведен до конца.<sup>5</sup> Как и в других автографах такого рода (ср. дневник 1833—1835 гг., материалы по «Истории Петра» и т. п.), Пушкин записывает в ПД 1203 текст на правой половине каждого из листов, оставляя левую — для возможных последующих дополнений. Открывалась же рукопись описанием общей панорамы полуострова:

*«Камчатская земляца (или Камчатский нос) начинается у Пустой реки и Анаклоя в 59° широты — там с гор видно море по обеим сторонам. Сей узкий перешеек соединяет Камчатку с матерой землею. Здесь — грань присуду Камч(атски)х острогов; выше начинается Заносье (Анадырский присуд).*

*Камчатка отделяется от Америки Восточным океаном; от Охотского берегу Пенжинским морем (1000 в(ерст)).*

*Соседи Камчатки — Америка, Кур(ильские) острова и Китай.*

*Камчатка страна гористая. Она разделена на равно хребтом; берега ее низменны. Хребты, идущие по сторонам главного хребта, — вдались в море — и названы носами. Заливы, между ими включенные, называются морями (Олюторское, Бобровое etc.).*

*Под именем Камчатки казаки разумели только реку Камчатку. Южная часть называлась Курильской земляцей. Западную часть от Большой реки до Тигиля (называли) — Берегом. (Восточный)<sup>6</sup> берег Авачею (по имени реки) и Бобровым морем. Остальную часть от устья Камчатки и Тигиля к северу — Коряками (по имени народа).*

*Рек много, но одна Камчатка судоходна. По ней на 200 верст от устья до устья реки Никула могло ходить морское судно кочь (?), на котором бурею занесены были первые посетители сих краев: Федот с товарищи.*

*Озер множество; главные: Нерпичье, при устье Камч(ат)ки; Кронецкое, из коего исходит река Крокодыг; Курильское, из которого течет река Озерная, и Апальское.*

*Ключи и огнедышащие горы встречаются на каждом шагу» (X, 343).<sup>7</sup>*

Далее в ПД 1203 идет подробный конспект, который служил, по-видимому, для общей ориентировки на местности, особо отмечая следы присутствия на Камчатке русских землепроходцев («первый русский острог — близ речек Протоку и Резень», «Никуль-река. Зимовье Федота I и зовется

<sup>4</sup> Наиболее информативной работой, посвященной этому замыслу, является глава «Камчатские дела» в кн.: Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984 (здесь же см. сводку предшествующих сообщений по этой теме).

<sup>5</sup> В нашей статье такие фрагменты печатаются курсивом, пушкинские подчеркивания — полужирным.

<sup>6</sup> У Пушкина описка: «Западный», повторенная без всяких оговорок во всех изданиях сочинений Пушкина. Отмечено в кн: Трубе Л. Л. Остров Буян. Пушкин и география. Горький, 1987. С. 41.

<sup>7</sup> Пушкиным (здесь и далее) подчеркнуты не только местные географические названия, но и экзотические понятия: присуд (волость), кочь (знак вопроса при этом слове, вероятно, предполагал описание данного судна в окончательном тексте). Позднейшие немногие вставки (или Камчатский нос; сей узкий перешеек) отражали уже художественную обработку записи.



Федотовщиной»; «река Русакова — там поселены потомки русских пришельцев» и т. п.).

Далее следовал вполне обработанный фрагмент пушкинской прозы:

*«Камчатка — страна печальная, гористая, влажная. Ветры почти беспрестанные обвевают ее. Снега не тают на высоких горах. Снега выпадают на 3 сажени глубины — и лежат на ней почти 8 месяцев. Ветры и морозы убивают (т. е. уплотняют. — С. Ф.) снега; весеннее солнце отражается на их гладкой поверхности и причиняет несносную боль глазам. Настает лето. Камчатка, от наводнения освобожденная, являет скоро великую силу растительности; но в начале августа уже показывает〈ся〉 иней и начинаются морозы.*

*Недостаток железа и соли чувствителен. Жители соль вываривают из морской воды. Питаются недосушенной рыбой.*

*Климат на Камчатке умеренный и здоровый»* (X, 346).

Ниже снова идет конспект, посвященный характеристике местных народностей, их обычаев и верований.<sup>8</sup> Здесь особенно много прямых отсылок к конкретным страницам книги Крашенинникова. Очевидно, это предполагало, как и в документальной повести «Джон Теннер», прямую цитацию чужого текста:

*«Первым жителем и богом Камчатки почитается Кут. Смотри сказку о его споре с женою (I — стр. 55)»* (X, 345);

*«Гора Алайд на пустом Кур(ильском) ост(ро)ву (смотри о ней сказку I—108)»* (X, 345);

*«Смотри грациозную их сказку о ветре и о зорях утр(енней) и веч(ерней)»* (ч. II — 168)» (X, 346);

*«Мнение и страх камчадалов о ключах горячих, II — 185»* (X, 346);

*«Смотри ворожбу по убитому зверю, дабы он не сердился II — 207»* (X, 346) и пр.

Приведем лишь первое из преданий, отмеченное Пушкиным в качестве забавного свидетельства о наивной бесцеремонности камчатской мифологии:

*«Верстах в 4 от устья ее [реки Кутовой] течет в Уалкалваем с севера небольшая речка Пиитагычь, которая выпала из озера верстах в 2 от своего устья. Оно озеро не имеет имени, однако потому достойно примечания, что коряки в доказательство Кутова там пребывания приводящий на нем островок, который логом разделяется почти на две равные части и сказывают, что Кут на том островку обыкновенно збирал птичьи яйца; что лог на том учинился по причине драки, которая у него некогда с женою происходила: ибо де Кут по тому месту таскал за волосы жену свою; а драка по их объявлению зделалась между ими за яйца, которые они вместе збирали таким образом: Кутова жена была столь щастлива, что ей попадали яйца больших птиц, а напротив того Кут находил токмо мелкие, что его так огорчило, что он почитая щастие жены своей причиною своего нещастия хотел лишить ее полученной корысти, но как она в том ему попротивилась, то он отомстил ей за непокорство вышеописанным образом»* (с. 133).

Впрочем, Пушкину понятна первобытная типологичность языческих верований, сравнимых с античными представлениями. «Камчадалы, — писал и Крашенинников, — которые на басни такие ж художники, как старинные греки, всем знатнейшим горам и ужасным по их мнению местам, каковы например кипячие воды, горелые сопки и прочая, приписывают

<sup>8</sup> В частности, Пушкин записал: «Камчадалы плодильсь, несмотря на то, что множество их погибало от снежных обвалов, от бурь, зверей, потопления, самоубийства, от (в публикациях слово прочитано неверно, как «etc.» — С. Ф.) войны» (X, 347).

что-нибудь чудесное: а имянно, горячие ключи населяют вредительными духами, огнедышущие горы душами умерших...» (с. 104).

Пушкин также отмечает, в частности: «*Пенаты камчадалские Хантай (сирена) и Ажушах (терм)*» (X, 348), — имея в виду следующее описание:

«У северных камчадалов бывает в юртах по два идола, из которых один называется хантай, а другой ажушак. Хантай делается наподобие сирены, то есть с головы по груди человеком, а оттуда рыбою, и ставится обыкновенно подле огнища; а для чего и во образ кого, другой причины не мог вывести, кроме того, что есть дух сего имени. Идол сего хантая ежегодно делается новой во время грехов очищения и ставится со старым вместе, по числу которых можно узнать, сколько которой юрте лет от построения. Ажушак есть столбик с обделанною верхушкою наподобие головы человеческой, ставится над домашнею посудою, и почитается за караульщика, отгоняющего от юрты лесные духи, за что и кормят его камчадалы во всякой день, мажут ему голову и рожу вареною сараною или рыбою» (с. 376).

Обработанный, собственно пушкинский текст далее появляется при описании русских пришельцев и их колониальных взаимоотношений с аборигенами:

*«Казаки брали камчадалских жен и ребят в холопство и в наложницы — с иными и венчались. На всю Камчатку был один поп. Главные их забавы состояли в игре карточной и в зернь в ясачной избе на полтях. Проигрывали лисиц и соболей, наконец холопей. Вино гнали из окислых ягод и сладкой травы; богатели они от находов на камчадалов и от ясачного сбору, который происходил следующим образом: камчадал сверх ясаку платил:*

*1 зверя сборщику*

*1 — подъячому*

*1 — толмачу*

*1 — на рядов(ых) казаков.*

*Казаку на Камчатке в 1740 году нужно было до 40 р(ублей) годового прихода»* (X, 348).

Весь же конспект заключается обозначением вех трудного пути из Сибири на Камчатку.

Следует особо отметить фрагмент в ПД 1203, занесенный более темными чернилами в нижнюю часть л. 13 несколько позднее соседних записей:

*«Соболиное наволоко — место по р(еке) Лене до р(ечки) Агари (30 верст) (II, 235).*

*(Промысел за соболями — ч. II, 233).*

**Промышленные зарубают деревья — II — 248»** (X, 347).

Глава «О витимском соболином промысле», отраженная здесь, казалось бы, вводила повествование Крашенинникова далеко на запад от Камчатки и потому сначала Пушкиным не была отмечена. Но, знакомясь внимательно с «делами камчатскими», Пушкин отчетливо понял основную причину опасных походов первопроходцев на край земли. Вела их туда жажда наживы (государством сразу же оцененная), заключававшейся в мехах, а главным образом — в соболях и шкурках. Дело в том, что соболь обычно покидал людные места, и прежний богатый соболиный промысел на Витиме, весьма трудоемкий, постепенно оскудевал: «витимские промышленники, препроведя почти целой год в несносных трудах и нуждах, почитают за щастие, ежели им по 10 соболей или и меньше на человека достанется» (с. 255). В то же время «соболи камчатские величиною, пышностью и осью превосходят всех соболей сибирских (...) В прежние времена бывало там соболей невероятное множество, один промышленник мог изловить без дальнего труда до семиде-

сят и осмидесят в год... камчадалы при покорении своем за ясак соболойной не токмо не спорили, но напротив того весьма казакам смеялись, что они променивали ножик на 8, а топор на 18 соболей. Сия самая истинна, что с начала покорения Камчатки тамошние прикащики в один год получали богатства мяхкой рухлядью до тридцати тысяч рублей и больше» (с. 244).

О цене соболя в начале XIX века сообщала имевшаяся в библиотеке поэта (№ 157) география Зябловского: «По реке Уде, текущей в Охотское море, попадаются превосходнейшие соболи, из коих один продается от 75 до 100 рублей. Вообще замечено, что, чем какая страна далее простирается к Востоку, тем лучше становится соболи».<sup>9</sup> О том, как ценились соболи в заграничной торговле, свидетельствует между прочим Даниэль Дефо, во второй части своего знаменитого романа описавший путешествие Робинзона Крузо по Сибири: «... он [ссылный князь Голицын в Тобольске] преподнес мне соболий мех — подарок слишком роскошный для человека в его положении. <...> На другой день я послал князю через своего слугу небольшой ящик чая, два куска китайского шелка, четыре слитка японского золота весом около шести унций, что далеко не окупало его соболей, так как в Англии они стоили 200 фунтов».<sup>10</sup>

Только после составления конспекта в рукописи ПД 1203 Пушкин мог приступить к выработке плана своей документальной повести (ныне эта рукопись ПД 1202):

«Сибирь уже была покорена.  
Приказчики услышали о Камчатке.  
Описание Камчатки.  
Жители оной.  
Федот Кочевщик.  
Атласов, завоеватель Камчатки».

Ниже шел черновик текста, соответствующего первому пункту намеченного плана:

*«Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыря реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Выявлялись смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремлявшиеся среди враждебных диких племен, приводили <их> под высокую царскую руку, налагали на них ясак и бесстрашно селились между ими в своих жалких острожках» (X, 367).*

Далее, однако, повествование не было продолжено, хотя основной материал для пунктов 3 и 4 был сосредоточен в рукописи ПД 1203, причем первый из них был в основном уже прописан. В соответствии с планом, весь рассказ о Камчатке сначала предполагалось завершить сведениями о Федоте Алексееве (Федоте Алексеевиче Попове), занесенном с командой на Камчатку в середине XVII века, и о «камчатском Ермаке» — Владимире Атласове. Но, обратившись за материалом к четвертой части труда Крашенинникова, Пушкин решил полнее изложить тамошние исторические события.

<sup>9</sup> Землеописание Российской Империи для всяких состояний <...> Профессора Евдокима Зябловского. В Санктпетербурге. При Императорской академии Наук. 1810 года. Ч. 2. С. 201.

<sup>10</sup> Дефо Даниэль. Робинзон Крузо. Л., 1929. Т. 2: Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни и захватывающее изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим. С. 739. Книга эта имелась в библиотеке Пушкина в двух изданиях: на английском и французском языках (№ 856, 857).

Так возникает последний из известных нам источников последнего творческого замысла Пушкина, помеченный датой «20 янв. 1837» и озаглавленный «Дела Камчатские» (ПД 413).<sup>11</sup>

Подобный же обзор локальных исторических событий Пушкин предпринимал и ранее: в материалах его «Истории Петра» под годовой рубрикой «1722» имеется запись «Дела Персидские», начало которой представляло собой сводку более ранних упоминаний о Персии в голиковских «Деяниях Петра Великого»: «Гусейн шах в то время тиранствовал, преданный своими евнухами, изнеможенный вином и харемом. Бунты кипели вокруг него. В поминутных мятежах истребился род Софиев» (X, 262) и пр.

Рукопись ПД 413 по характеру своему также очень четкая, хотя и с некоторыми исправлениями и пометами, отсылающими к книге Крашенинникова и тем самым намечающими ряд дополнений. Но, кажется, форма повествования о новейшей истории Камчатки Пушкиным была уже хорошо продумана: рассказ этот, соответствующий четырем главам исходной книги, изложен «в духе Тацита»<sup>12</sup> (по определению Н. Я. Эйдельмана): в виде монтажа восьмидесяти семи кратких заметок (параграфов) о главных событиях.

Это была кровавая история не только в силу жестокого покорения местных жителей. Пришельцы также несли большие потери. Достаточно сказать, что за сорок лет из двадцати одного тамошних российских правителей одиннадцать были убиты камчадалами, трое — своими же казаками, а четверо были казнены по распоряжению российских властей. Наиболее подробно Пушкин повествует о трех эпохах покорения Камчатки: о походах Атласова (§ 5—16, 27—32, 40), о бунте казаков против официальных лиц (§ 40—52) и о восстании под предводительством таиона (местного князька) Федора Харчина (§ 71—86), что составляет более половины пушкинского повествования о «Делах Камчатских».

Таким образом, общий план пушкинской документальной повести, определившийся 20 января 1837 года, теперь, по всей видимости, намечался в следующем виде:

Описание Камчатки.  
Жители оной.  
Камчатские дела.

Несомненно, при окончательной доработке текста Пушкин для уточнения деталей обратился бы и к другим источникам сведений о Камчатке.<sup>14</sup> Прежде всего это была имевшаяся в его библиотеке (№ 186) книга «Цвету-

<sup>11</sup> Полным текстом этой части располагал П. В. Анненков, опубликовавший ее в т. 7 «Сочинений Пушкина» (СПб., 1857. С. 29—49). В дошедшей же до нас рукописи не хватает двух, вероятно, листов (между нынешними л. 17 и 18 по архивной нумерации). На утерянных ныне страницах Пушкина по ошибке нарушил нумерацию параграфов: л. 18 в ПД 415 начинается с § 72 (далее продолжено: § 73, § 74 и т. д.), хотя фактически это § 63.

<sup>12</sup> См.: Пушкин А. С. История Петра / Сост., подг. текста, предисл. и ком. В. С. Листова. М., 2000. С. 380.

<sup>13</sup> Ср. пушкинские «Замечания на *Анналы Тацита*» (XII, 192—193).

<sup>14</sup> Едва ли мимо внимания Пушкина прошла бы имевшаяся в его библиотеке (№ 596) книга «*Voyages et Mémoires de Mauris-Auguste, Comte de Benyowsky, Magnat des Royaumes et de Pologne, etc., etc. Contenant ses Opérations militaires en Pologne, son exil au Kamchatka... Paris, 1791*». У Пушкина также была книга «Достопамятный год Августа Коцебу, или заточение его в Сибирь и возвращение оттуда» (М., 1816) (№ 196). Сослан же Павлом I был Коцебу за драму «Граф Виньонский, или Заговор на Камчатке» (1795), признанную «вредною в отношении политическом» (см.: Мельникова С. Коцебу в России. СПб., 2005. С. 46—47). Несколько заметок о Камчатке можно было найти в журнале «Сибирский вестник» (№ 506).

щее состояние Всероссийского государства, в какое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий... Собрана трудами... Ивана Кириллова» (СПб., 1831); здесь имелся раздел о Сибирской губернии и Камчатке (т. 2, с. 52—100), в котором история завоевания Сибири была изложена по «Степенной книге» и «Сибирской истории» 1637 года.<sup>15</sup>

Сведения о Камчатке в книге Кириллова были ограничены 1727 годом, но они в части описания первоначальных усилий по завоеванию земель были более достоверны, нежели у Крашенинникова, что позволило бы Пушкину снять вопросы в тексте «Дел Камчатских», поставленные им для дальнейших уточнений.

В начале «Дел Камчатских» у Пушкина значилось:

*«§ 1. Сибирь была уже населена от Лены к вост(оку) до Анадырска, по рекам, впадающим в Ледовитое море.*

*Прикащики имели поручение проведовать о новых народ(ах) и землях и приводить их в подданство.*

*Пенжинские и Олюторские коряки были обьясачены (кем?), от них узнали о существовании Камч(ат)ки. Оленные коряки паче о том известили»;*

*«§ 5. В 7203 (1695) Владимир Атласов послан был от якутского прикащика (из Якутска) в Анадырский острог собирать ясак с присудных (приписных) к Анад(ыр)ску коряк и юкогирей».*

*«§ 6. В следующей 204 (год) Атласов послал к Апушским корякам Луку Морозку с 16 чел(овеками) за ясаком. Оный Морозка не дошел до Камч(ат)ки токмо 4-мя днями. Взял он между прочим Камч(атск)ий острожек и в Погроме получил неведомо какие письма, которые и представил Атласову» (X, 350—351).*

Так излагался Пушкиным следующий текст Крашенинникова: «По распространении российского владения в севере и по заведении селения по знатнейшим рекам, впадающим в Ледовитое море, от Лены реки к востоку до Анадырска, час от часу более старания было прилагаемо, чтоб от Анадырска далее проведывать земли, и живущих там иноверцов приводить в подданство; чего ради каждому прикащику накрепко было подтверждается, чтоб всякими мерами домогаться получить известие, где какой народ живет, сколь многолюден, какое имеет оружие, какое богатство и прочая. Таким образом не могла Камчатка не быть известна еще в то время, когда несколько коряк Пенжинского и Олюторского морей из Анадырска были обьясачены, ибо им как соседям камчатским, а паче оленным корякам, которые часто кочуют внутрь самой Камчатки, тамошней народ был знаем» (с. 473; § 5—6 у Пушкина почти дословно воспроизводили текст Крашенинникова).

Иван Кириллов же о первоначальных походах на Камчатку за ясаком писал иначе: «Сыскана та земля назад тому близ 30 лет Анадырского острога служилым человеком Морозкою Старицыным, который ведал тот острог и окрестных иноземцев. Когда уведал оный Старицын от иноземцев про

<sup>15</sup> Книга эта была подарена Пушкину М. П. Погодиным — (см. два письма Пушкина к нему от июля 1831 года). «Полевой разбрал издание в „Московском телеграфе“ (...) Отвечая на критики в „Телескопе“ (1831 г., № 15, стр. 409—411), Погодин свою заметку кончал заявлением, что, издавая книгу, он имел лишь пользу занимающихся историей (...) Подробнее см. у Н. П. Барсукова: „Жизнь и труды М. П. Погодина“, кн. 3, СПб., 1890, стр. 284—294. Об авторе изданной Погодиным книги — Иване Кирилловиче Кириллове (ум. 14 апреля 1737 г.) см. статью Н. П. Павлова-Сильванского в „Русском биографическом словаре“ (т. II—К, СПб., 1897, стр. 666—668); по словам биографа, Кириллов, „по всей энергии и по увлечению своему разными практически-полезными предприятиями и работами, является одним из оригинальнейших и замечательных деятелей, выдвинувшихся в эпоху Петра Великого“ (Письма Пушкина. 1831—1833 / Под ред. Л. Б. Модзалевского. М.; Л., 1931. С. 319).

Камчатку, то в 10 человеках служилых людей и платье иноземческом ходил внутрь Камчатки разведать, можно ли оною под Русскую державу покорить и, будучи там, усмотрел возможность к покорению и, как возвратился в Анадырь, тогда, взяв себе командира Володимира Атласова со служилыми людьми во 100 человек, да с собою же приговорил Юкогиров и Коряков в 200 человек, ходил на Камчатку войною, которому Камчатский народ противился (...). По прошествию двух лет со вступления в Камчатку, Атласов, позавидовав Старицыну, что его служилые люди и иноземцы более почитают, волею своею послал его Старицына с 10 человеками служилых людей на камчатских же жителей, кои были не покорены, где его Старицына с его людьми убили, а Атласов с ясачною казною, с собольими, лисьими и прочими зверями, коих могли со вступления в Камчатку собрать, вышел в Анадырь, оттуда в Якутск, а в остроге на Камчатке оставил служилых людей, и за ту службу в Москве оный Атласов получил чин Казацкого Головы» (с. 101).

Становится очевидным, что дерзкая инициатива похода на Камчатку принадлежала Луке (Морозке) Старицыну, чьи заслуги в «скасках» (расказах) Атласова, записанных в Якутском и Сибирском приказах,<sup>16</sup> были совершенно утаены, хотя подробности о быте камчатских народов были им почерпнуты прежде всего из писем Старицына, которые тот отправил Атласову после разгрома (погрома) Камчатского острожка.<sup>17</sup>

Впрочем, и у Пушкина деятельность Атласова обрисована далеко не апологетически. Отвага его была разбойничьего свойства. Недаром в «Делах» упомянуто о грабительстве «камчатским Ермаком» товаров российского купца на Лене, а также предполагалась вставка из Крашенинникова о самоуправстве Атласова и размерах им награбленного добра во время своего правления. В § 30 Пушкин отмечает: «длинные жалобы на обиды и преступления, учиненные Атласовым (см. IV, стр. 201)», а в § 31, что «пожитки его взяты ими в казну (сколько — см. с. 203)» (X, 355).

Вот на что здесь ссылался Пушкин: «А в оправдание свое писали в Якутск, будто Атласов не давал им съестных припасов, которые с камчадалов собираются; будто сам пользовался оными, а они, прогуляв рыбную пору, претерпевали голод; будто из корысти своей выпустил аманатов, а от того во всех ясачных иноземцах учинилась такая шаткость, что ясачные сборщики, посылаемые на Пенжинское море, едва спаслись бегством; будто колол он на смерть служивого Данила Беляева, и когда ему от служивых представлено было, чтоб он безвинно палашом не колол, но наказывал бы их за вины батогами или кнутом как государевы приказы повелевают, а он на то в ответ сказал, что государь ему в вину не поставит, хотя он их и всех прирубит; будто он, желая мстить казакам за мнимые грубые их речи, призвал к себе лучшего камчадала, и говорил ему, аки бы колол помянутого служивого за то, что служивые хотят всех камчадалов прибить, а жен их, детей и кормы по себе разделить; будто по той ведомости камчадалы жилища свои оставили, и соединясь в тесном месте, убили трех человек служивых, и многих переранили, будто он присланную из Якутска подарочную казну почти всю употребил в свою собственную пользу, так что на Камчатке в привозе явилось у него бисеру, а по тамошнему одекою, и олова не больше полпуда, а медь всю<sup>18</sup> переде-

<sup>16</sup> См. «Скаска Владимира Атласова о путешествии на Камчатку» в кн.: Записки русских путешественников XVI—XVII вв. М., 1988. С. 415—428.

<sup>17</sup> У Крашенинникова, повторенного Пушкиным, о них сказано невнятно: «...получил неведомо какие письма» (Атласов приписал взятие острожка себе). На самом деле об этом ему сообщил Морозко.

<sup>18</sup> «Медь» здесь — это едва ли не две медные пушечки, данные Атласову в 1701 году.

лал он в винокуренную посуду, и будто у новокрещеного камчадала вымучил он нападками лисицу чернобурую, которая в казну была приготовлена» (с. 479—480). «...Пожитки его в казну обрали, которые кроме множества мехов собольих и лисьих, состояли в 30 сороках в 34 соболях, в 400 лисицах красных, в 14 сиводущетых, в 75 бобрах морских» (с. 480). Все это было вполне сопоставимо с размерами ясака, отправляемого в Москву.

Перечисляя различных камчатских «приказчиков» и их «дела», Пушкин посвящает каждому из них обычно не более одного-двух параграфов. Исключение составляют события 1707—1712 годов, связанные с казачьим бунтом во главе с Данилой Анцыфириным, которого бунтовщики выбрали атаманом. Свергнув власть официальных приказчиков, казаки тем не менее продолжили завоевание новых камчатских земель и сбор государственного ясака. Однако они попытались установить в своей среде вольное казацкое правление и потому оказались между молотом и наковальней. В феврале 1712 года был убит авачинскими камчадалами «храбрый Анцыфиров», «оставя по себе громкую память и пословицу: „На Камчатке проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь; а семь лет проживет кому Бог велит”» (X, 358). С остальными же «вольными казаками» чуть позже жестоко расправился приказчик Василий Колесов.

Столь же внимательно на протяжении всего повествования Пушкин прослеживает факты постоянного сопротивления камчадалов против рабства, особенно подробно (§ 71—85) описывая бунт в 1731—1732 годах под предводительством еловского тайона Федора Харчина.<sup>19</sup>

Восстание это было подавлено с большим трудом. Впрочем, в результате официального следствия виновные в бунте «Ив(ан) Новгородов, Андр(ей) Штинников и Сапожников были повешены, также и 6 человек камчадалов. Прочие казаки высечены, кто кнутом, кто плетьюми. Камчадалы, бывшие у них в крепостной неволе, отпущены на волю, и впредь запрещено их кабалить» (X, 366).

Заключительный абзац крашенинниковского повествования о тех же событиях звучит так: «С того времени мир, покой и тишина в Камчатке, да и впредь опасаться нечего; ибо по высокоmaterному все милостивейшие государыни нашей императрицы Елисаветы Петровны о подданных своих попечению сделаны такие учреждения, что тамошним жителям лучшего удовольствия желать невозможно. Ясаку они платят токмо по одному зверю с человека, какой где промышляется, то есть по лисице, бобру или соболю, а других зборов уже не знают. Суд и расправа, кроме криминальных дел, поручены тоионам их, а комиссарскому суду они не подвержены. Старых долгов, которые казаки на них почитали, править на них под жестоким истязанием не велено, а что всего паче, все почти они приведены в христианскую веру чрез проповедь слова божия, к чему способствовали отменные щедроты и милосердия всеавгустейшей монархини нашей, что новокрещеным дана от ясаку на 10 лет свобода. Для умножения же их в православии определены учителя, и во всех почти острогах заведены школы, в которых невозбрано

<sup>19</sup> Федор Харчин на допросе от 10 мая 1733 года рассказывал о том, как в 1730 году комиссар Иван Новгородцов «велел с них собирать повторительный ясак», а если «у кого ясаку не прилучилось, то брали жен и детей и били на правеже... пока нога распухнет, а после де того распорют штаны и бьют вторично на правеже по пухлой ноге. А о платеже ясаку отписей не давали». Его самого, Харчина, били «на правеже босого и взяли два ясака на один год». Помимо двойного ясака «Иван Новгородцов брал с каждого человека сладкой травы по пуду, а кипрея по полпуда...» (ЦГАДА. Портф. Миллера 527. Тетр. 13. Л. 9). На допросе от 22 января 1735 года Иван Новгородцов, после того как было «дано ему десять ударов», признал обвинения Харчина, прибавив, что за назначение его комиссаром на Камчатку «якуцкому воеводе Полуектову дал деньгами 700 рублей» (с. 498).

обучаться как детям казачьим, так и камчадальским без всякой платы; и ныне христианская вера в тамошней стороне к северу до коряк, а к югу до третьего Курильского острова распространилась, но можно твердо надеяться, что вскоре и коряки просвещены будут святым крещением, тем наипаче, что многие из них приняли христианскую веру. Сие же между славными и великими делами всепресветлейшей самодержицы нашей почитать должно, что зверской оной народ, из которого до времен щастливого владения ее ни ста человек крещеных не было, в краткое время познав истину, оставил свое заблуждение так, что каждой ныне с сожалением и с смехом вспоминает прежнее житье свое» (с. 499—500).

Благостной официозности такого рассуждения Пушкин явно не верит. Закljučаются пушкинские «Камчатские дела» кратким последним параграфом: «До царствования Елисаветы Петровны не было и ста человек крещеных» (X, 366).

И эта итоговая фраза проясняет во многом пушкинский отбор (в первоначальном конспекте труда Крашенинникова) материала для своей документальной повести. Пушкин отмечал там: «О боге и душе хоть и имеют понятие, но не духовное» (X, 347). Это предполагало, по-видимому, прямые цитации из базового источника:

«О боге, пороках и добродетелях имеют развращенное понятие. За вящшее благополучие почитают объядение, праздность и плотское совокупление; похоть возбуждают пением, пляскою и рассказыванием любовных басен по своему обыкновению. Главной у них грех скука и беспокойство, которого убегают всеми мерами, не щадя иногда и своей жизни» (с. 368);

«Все почти места в свете, небо, воздух, воды, землю, горы и леса населили они различными духами, которых опасаются и больше бога почитают. Жертвы дают при всяком случае, а иных и болваны при себе носят, или имеют в своих жилищах. А бога напротив того не токмо не боятся, но и злословят при трудных и несчастливых случаях» (с. 369);

«О боге рассуждают они, что он ни щастию, ни несчастию их не бывает причиною, но все зависит от человека. Свет почитают вечным, души бессмертными, которые с телом соединившись восстанут, и вечно жить будут в таких же трудах, как и на здешнем свете, токмо с тою выгодою, что будет там во всем вящшее изобилие, и никогда не имеют терпеть голоду» (с. 409).

Все это вместе отражало давно у Пушкина вызревшее убеждение о необходимости цивилизованного приобщения местных народностей к Российской империи, о чем он писал, в частности, в «Путешествии в Арзрум»: «Черкесы нас ненавидят. <...> Что делать с таковым народом. Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедование Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом проповедников Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре.<sup>20</sup> Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для на-

<sup>20</sup> Ошибочное сведение о месте заключения Шейх-Мансура (на самом деле он окончил свои дни в Шлиссельбургской крепости) Пушкин почерпнул в книге С. М. Броневского «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (СПб., 1823) (см.: *Стрежнев И.* «К суровым северным морям...» А. С. Пушкин и Беломорский Север. Литературно-краеведческие очерки. Архангельск, 1989. С. 86—89).



шей лениности в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты» (VIII, 449).

В этой связи особого внимания заслуживает § 77 «Камчатских дел»:

«Новокрещеный Федор Харчин призвал Савина, новокрещеного грамотея, набел на него поповские рясы и велел ему петь молебен, за что и подарил ему 30 лисиц (смотри IV — 229)» (X, 364).<sup>21</sup>

Оказывается, влиятельный местный вождь был готов служить российской власти. При первых попытках подавления бунта недаром Харчин кричал со стен острожка: «Я здесь приказчик. Я сам буду ясак собирать; вы, казаки, здесь не нужны» (X, 364). Но подобная инициатива, как и казацкая вольность при Анцыфирове, для российской монархии была совершенно неприемлема.

Подобно пушкинскому «Джону Теннеру», замысел о покорении Камчатки отражал его давние размышления о гримасах «исторического прогресса». Если в судьбе «белого индейца» выявлялись жестокие методы насаждения американской демократии, то в «Делах Камчатских» прослеживались родовые черты российской политики, также воспринимавшей покоренные народы в качестве «иноземцев», людей второго сорта. Это в исторической перспективе копило внутренние силы сопротивления, грозящие со временем разнести государственное тело империи.

Недаром пушкинские «Дела Камчатские» обрываются на «бунташной теме»,<sup>22</sup> которая сродни концовке стихотворения «Кавказ», не предназначенной для печати:

Так буйную вольность законы теснят,  
Так дикое племя под властью тоскует,  
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,  
Так чуждые силы его тяготят.

(III, 792)

\* \* \*

В собраниях сочинений Пушкина его новаторские произведения, в основу которых положен документ, до сих пор помещаются среди разнородных литературно-критических, исторических и публицистических заметок, по большей части незавершенных. Тем самым рождается впечатление о «вто-

<sup>21</sup> У Крашенинникова это событие было описано так: «...а Федька Харчин, как новокрещеной, призвав новокрещена ж умеющего грамоте, приказал ему петь молебен в священном одеянии, и за тот молебен выдать ему 30 лисиц, записав в книге таким образом: „По приказу комисара Федора Харчина выдано за молебен Савину“, ибо так оной новокрещеной назывался, „30 лисиц красных“, чего ради до самого выезда моего называли его попом поганым» (с. 495). Савин служил «холопом монастырским», который был «грамоте выучен» (с. 763).

<sup>22</sup> Волнения на Камчатке продолжались и после бунта Харчина, пока там не разразились две эпидемии: «Число природных жителей, сколь прежде велико было, столь ныне мало: два большие поветрия тому причиною. *Первое*, уничтожившее большую часть камчадалов, было осеннее, лет за 40 перед сим. С того времени опустел весь восточный берег. <...> *Второе* поветрие было 1800 года, по прибытии Генерал-Маиора Сомова в Петропавловскую гавань, на судне Св. Екатерины. <...> Зараженные люди, вышедши на берег, расставлены были по квартирам, а которые могли, разъехались по острожкам; от чего смертельная горячка, подобно электрической силе, промчалась по всему полуострову. <...> Число всех в поветрие умерших простирается по крайней мере до 2 тысяч, а остающихся ныне природных жителей мужеска и женска полу около 1.500 душ» (О переменах, происшедших на Камчатке со времени описания оной Крашенинниковым // Санктпетербургский вестник, 1824. Кн. 19—20. С. 346—347). По сообщению капитана Тимофея Шмелева, в 1773 году «во всей Камчатке воинских чинов состоит 300 человек», а «ясачных камчадал 706» (с. 499) (после мора от оспы в 1768—1769 годах).

росортности» такого рода замыслов. Между тем они таили откровения, значение которых, может быть, наиболее остро почувствовал Варлам Шаламов. «История русской прозы XIX века, — замечал автор «Колымских рассказов», — мне представляется постепенной утратой пушкинского начала, потерей тех высот литературных, на которых находился Пушкин ... нужно было пройти войнам и революциям, Хиросиме и концлагерям, немецким и советским, чтобы стало ясно, что самая мысль о выдуманных людях раздражает любого читателя. Только правда, ничего кроме правды. Документ становится во главу угла искусства. Даже современного театра нет без документа. Должна быть создана проза, выстраданная как документ. Эта проза — в своей лаконичности, жесткости тона, отбрасывании всех и всяческих побрякушек есть возвращение через сто лет к Пушкинскому знамени. Обогащенная опытом Хиросимы, Освенцима и Колымы, русская проза возвращается к пушкинским заветам, об утрате которых с такой тревогой говорил в своей речи Достоевский. Свою собственную прозу я считаю поисками, попытками именно в этом пушкинском направлении».<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Цит. по: *Михайлов Олег*. В круге последнем // Вехи (субботнее приложение к газете «Российские вести»). 1993. Вып. 25. Октябрь. С. 11.

**«ЧЕЛОВЕК ЖИЗНЕННОЙ РУТИНЫ»  
В ПОЭЗИИ Н. А. НЕКРАСОВА.  
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. ЭТИКА ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬСТВА**

Среди не публиковавшихся при жизни поэта набросков середины 1850-х годов сохранилось одно стихотворение:

О, пошлость и рутина — два [гиганта],  
Единственно бессмертные на свете,  
Которые преодолевают все —  
И молодости честные порывы,  
И опыта обдуманый расчет,  
Насмешливо и нагло выжидая,  
Когда придет их время. И оно  
Приходит непременно.<sup>1</sup>

Стихотворение это имеет вид текста предварительного и будто бы не до конца «отделанного»: <sup>2</sup> оно не «оперено» рифмами (белый стих); выдерживая ритм пятистопного ямба в семи строках, в восьмой оно усекается до трехстопной конструкции; схема клаузул (жжМжМжМж) оставляет впечатление не вполне гармонизированного творческого опыта; интонационно стихотворение напоминает некую сугубо частным образом высказанную «мысль вслух», вовсе не предполагающую не только последующей публикации, но, возможно, и необходимой доработки для достижения выверенной эстетической завершенности. <sup>3</sup>

Однако сквозная идея, последовательно развернутая в этой лирической миниатюре, поражает своей «странностью» на фоне как реализовавшихся прежде творческих установок поэта, так и формируемого Некрасовым именно в эту пору его поэтического манифеста — «Стихотворений» 1856 года. Порождает она и вопросы, донныне остающиеся без ответа: носит ли вылившееся в данном стихотворном фрагменте душевное переживание лишь локальный характер или оно указывает на некие сокровенные глубины самосознания автора? каким жизненным и психологическим побуждением оно порождено и в каком контексте может быть уяснено? в чем, наконец, состоит личностный смысл подобных размышлений поэта?

<sup>1</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 23. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>2</sup> Ср. по форме с фрагментом № 16 из «Отдельных записей творческого характера»: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. СПб., 1997. Т. 13. Кн. 2. С. 71. Далее ссылки на это издание даются сокращенно: ПСС. Том. Страница.

<sup>3</sup> При оценке рассматриваемого текста следует учесть также советы Некрасова, предлагавшего начинающим поэтам — когда форма стихотворения не дается сразу — «записывать мысль стихотворения прозой», а уж затем дорабатывать текст в поэтическом отношении (см. аналогичные примеры у самого поэта: Т. 3. С. 271—273).

Возможность приблизиться к ответу на поставленные вопросы, как нам представляется, существует.

Во-первых, отмеченное нами переживание, конечно же, отнюдь не единично среди раздумий Некрасова середины 1850-х годов. Более того, оно укоренено едва ли не в самом эпицентре мировоззренческих представлений поэта. Серьезным свидетельством тому может служить, например, другое его стихотворение того же времени «Еще скончался честный человек...». Предмет стихотворения — смерть именно *честного*, порядочного, достойного человека. И смерть, случившаяся не от «завалов и простуд», не от мук совести вследствие совершенного злодеяния и даже не от каторжного труда или «разгула жалкого», но от вынужденного бездействия — при желании «служить Добру, для ближнего трудиться» и жажде «дела благородного», от мучительной грусти «в сознании своих напрасных сил», от готовности «себя ломать», «на немногом помириться» — и *невольной* «покорности судьбе», от «внутренней борьбы», страдальческих слез и «тайных угрызений». Ведь в том числе и об этом позднее Некрасов выскажется так:

Вы еще не в могиле, вы живы,  
Но для дела вы мертвы давно,  
Суждены вам благие порывы,  
Но свершить ничего не дано...

(Т. 2. С. 139)

Убивает подобных людей, по убеждению поэта, не собственно «царящее зло», но «вечно ложный звук» жизненной обыденности, не крайность, не поругание гуманных норм, но *самая норма* повседневного и общепринятого человеческого существования, его «пошлость и рутина»!

Сегодня представляется не столь существенным, кому именно могло быть посвящено или к кому было обращено это поэтическое признание, кто из современников Некрасова дал повод поэту высказаться подобным образом. Наоборот, широта трактовки возможного адресата (Т. Н. Грановский, Н. Г. Фролов, идеалисты — «люди сороковых годов»<sup>4</sup> в трактовке И. С. Тургенева или А. Ф. Писемского, «русские скитальцы» в понимании А. И. Герцена или Ф. М. Достоевского и др.) только подчеркивает вероятную универсальность и значительность заявленной концепции как для самого поэта, так и для его аудитории. Более того, есть веские основания предполагать, что еще одним (и едва ли не определяющим) источником проблематики и «адресатом» обоих рассматриваемых стихотворений следует считать самого поэта. Открывающаяся при этом перспектива позволяет многое в динамике ценностного мировидения Некрасова увидеть в не вполне привычном свете.

Во-вторых, следует учесть, что середина 1850-х годов вообще стала серьезнейшим рубежом в жизни Некрасова. Тяжелая горловая язва поставила поэта на грань смерти. Ощущение успеха, кружащий голову новый статус действительного хозяина крупного коммерческого и, что особенно возвышало его в собственных глазах, общественно значимого, на порядочных основаниях воздвигнутого предприятия — лучшего, как оказалось, столичного журнала — вдруг перестали быть жизненным утешением ему как человеку и как деятелю на культурной ниве:

<sup>4</sup> Ср. также стихотворение Некрасова «Человек сороковых годов» и весь замысел его «Iesedrame» «Медвежья охота» (1866—1867), равно как и использование поэтом фрагментов текста и идей стихотворения «Еще скончался честный человек...» в других своих сочинениях: упомянутой «Медвежьей охоте», так называемой «покаянной» лирике, стихотворении «Над чем мы смеемся...» (1874) и т. п.

Душа мрачна, мечты мои унылы,  
Грядущее рисуется темно...

...А рано смерть идет,  
И жизни жаль мучительно. Я молод,  
Теперь поменьше мелочных забот  
И реже в дверь мою стучится голод:  
Теперь бы мог я сделать что-нибудь.  
Но поздно!..

(Т. 1. С. 166)

Жизнелюбивую душу охватила глухая тоска, не проходившая ни от рюмки, ни от карт, ни от исповедальной беседы в тесном дружеском кругу, ни от каждодневных редакторских и издательских забот, да и пора ставшего когда-то спасительным «сердечного обновления» осталась уже позади. А. Я. Панаева вспоминала об этом времени: «Если б кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что все ему опротивело в жизни, а главное — он сам себе противен, то, конечно, не завидовал бы ему...»<sup>5</sup>

Явилось и другое следствие. Вдруг навалившееся и казавшееся (и поэту, и его врачам) неизлечимым нездоровье как-то отодвинуло даже материальные хлопоты по все еще обремененному долгами журналу. Вынужденная сосредоточенность не на одной внешней деятельности, но именно на собственном внутреннем состоянии (вместе с дозволением себе меньшей оглядки на сторонние оценки<sup>6</sup> — уж умирая-то, можно позволить себе желанную творческую свободу!) привела к нараставшему шквалу стихотворчества Некрасова.

Собственно, второй сборник теперь уже зрелой лирики поэта и мыслился им как итоговый, подводящий черту под *всем* его творчеством.<sup>7</sup> Именно поэтому Некрасов так тщательно собирал его, убирал одни стихи, вводил вместо них новые, затягивал издание, закладывал в него основательно продуманную конструкцию (оставшуюся, впрочем, до полного совершенства так и не доведенной) и предварил его стихотворением «Поэт и гражданин» — с особой пагинацией и более крупным шрифтом. Как уходящий под воду фрегат, он открыто давал последний залп из всех орудий главного калибра.<sup>8</sup>

Создававшийся как очевидная «книга финала», сборник «Стихотворений Н. Некрасова» 1856 года и в своем печатном тексте, и в сопутствовав-

<sup>5</sup> Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972. С. 197; ср.: Там же. С. 379—380.

<sup>6</sup> Ср.: «Но прежде всего выговариваю себе право, может быть, иногда на рутинный и даже фальшивый звук, на фразу, то есть буду говорить без оглядки, как только и возможно говорить искренне. Не напишешь, ни за что не напишешь правды, как только начнешь взвешивать слова...» (ПСС. Т. 14. Кн. 2. С. 65 — из письма к Л. Н. Толстому от 31 марта—1 апреля (12—13 апреля) 1857 года. Рим).

<sup>7</sup> См. об этом: Пайков Н. Н. «Здесь всюду я — в черте малейшей...» (художественный автоцентризм в творчестве Н. А. Некрасова) // Карабиха: историко-литературный сб. Ярославль, 1993. Вып. 2. С. 42—67. Ср. также: Евгеньев-Максимов В. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.; Л., 1950. С. 219.

<sup>8</sup> Середина 1850-х годов стала для Некрасова вообще эпохой «подведения итогов» — и не только в указанном сборнике, но и в его романе «Тонкий человек», и в сохранившемся наброске «В тот же день, часов в одиннадцать утра...», остро иронически воссоздающем атмосферу в кружке петербургских литераторов поры последних лет Белинского, и в стремлении написать собственную литературную биографию, и в начатой им работе над поэмой о матери, и в замысле еще одной большой поэмы о герое «времени, скупого на героя», частью реализованном в римском «эпиллоге ненаписанной поэмы» «Несчастные», фрагментах из поэмы о Валежникове («На Волге» и «Рыцарь на час»), и в «сценах из лирической комедии» «Медвежья охота».

ших работе над ним стихотворениях, оставшихся, в силу большей частью личных причин, «за бортом» издания, развертывает целый веер тем подведения жизненных и творческих итогов. Первый, конструктивный для книги слой ее значений задает вступительная общественно-поэтическая декларация. Этот «ключ» заставляет воспринимать народные характеры и судьбы, характерные социальные ситуации, собранные в первом разделе сборника, как прямую и демонстративную гуманистическую апелляцию к читателю. Еще более очевидным это становится во втором разделе, где современные «нравы» и житейские установки, которые в другом контексте могли бы восприниматься как заурядные проявления обыденной повседневности, подвергнуты безусловному этическому осуждению. А занимающая весь третий раздел книги поэма «Саша», предлагая к обсуждению типы истинного и ложного современного «героя», прямо претендует на роль художественно-идеологического кредо автора.

Та же манифестационная установка заметна и в четвертом разделе сборника. Однако характер ее реализации становится здесь более камерным и личностным. Заявление поэтом своих жизненных и творческих убеждений приобретает здесь вид рефлексии по их поводу, комментария и пояснения к ним. Что есть *моя* муза в отличие от облика творчества иных, великих поэтов-предшественников: Державина, Жуковского, Пушкина, Баратынского, Бенедиктова, Лермонтова и многих других («Муза», «Блажен незлобивый поэт...»)? Кто мой читатель, *ради кого* я писал («Чуть-чуть не говоря: „Ты суцая ничтожность!..“»)? Оставлю ли что после себя, будет ли мне что *завещать*, заслужу ли хоть какую-то известность («Безвестен я. Я вами не стяжал...»)? Какую ценой достался мне мой дар и что он значит («Праздник жизни — молодости годы...»)? Как мне уйти, как *попрощаться* с читателем-другом, на какой ноте остановить перо («Замолкни, муза мести и печали...»)? Что надлежит вспомнить напоследок: юношеские клятвы — свои («На родине») и чужие («Самодовольных болтунов...»), а может быть, те лица, которые когда-то так много значили для меня («Памяти приятеля», «Воспоминание (Памяти Асенковой)»), или до сих пор терзающие душу впечатления («Петербургское утро», «Перед дождем», «За городом», «Свадьба», «Еду ли ночью...», «14 июня 1854 года»)? Как напоследок *самому понять* и другим *объяснить себя*: тяжелой ли историей своей любви, грязным ли омутом собственного детства, полученными ли от жизни уроками? Или нужно набраться мужества и просто признать бесплодность прожитой жизни?

Последний вопрос (поднимаемый в стихотворениях «Я сегодня так грустно настроен...», «Несжатая полоса», «Последние элегии») вновь отсылает к причинам кажущейся бесплодности иссякающей жизни поэта. В своей книге Некрасов последовательно проводит одну фундаментальную, с его точки зрения, мысль: весь миропорядок, лежащий в основе российской (а может быть, и не только российской?) действительности, *ложен и нечеловечен*.<sup>9</sup> Это *им* порождается извечная драма народного существования, нравственная искаженность отношений людей в обществе, душевная вялость и бесхребетность русских «умников», беспочвенность и безрезультатность усилий тех, кто хотел бы внести хоть какую-то осмысленность и оправданность в существующее состояние. И все это, в конечном счете, — из-за всевластия окружающей «пошлости и рутины». Мрак ситуации в том и состо-

<sup>9</sup> Ср. в письме Некрасова к Тургеневу из Рима от 9(21)—17(29) октября 1856 года о молодых людях, для которых Рим мог бы стать «единственной школой» «душевного изящества», спасительного от жизненной «пошлости»: «...это человеку понужней *цинизма* и *растления*, которыми дарит нас щедро родная наша обстановка» (ПСС. Т. 14. Кн. 2. С. 37). Здесь и далее курсив в цитатах мой. — Н. П.

ит, что ни чувственное упоение праздником жизненных радостей («Не знаю, как созданы люди другие...»), ни «враждебное слово отрицания» не открывают человеку возможности одоления этих безличных его врагов. И даже «труп его увидя», кто на самом деле сможет понять, «как любил он, ненавидя»?..

В-третьих, во всех этих столь же личных, сколь и общечеловеческих признаниях поэта есть некие глубоко запрятанные мысль и переживание, которые представляют собой сугубо интимную сторону личности поэта, остро волнующую именно его проблему, к которой он раз за разом настойчиво возвращается.

В своих «Последних элегиях» Некрасов упорно варьирует уже не мотив *несостоявшейся*, но *обманувшей* его жизни. В чем же, однако, заключался этот «обман»? И что это был за непосильный труд, который отнял у поэта его последние силы?

Не раз, упав лицом в сырую землю,  
С отчаяньем, голодный, я твердил:  
«По силам ли, о боже! труд подъемлю?» —  
И снова шел, собрав остаток сил.

(Т. 1. С. 167)

Ближайшим биографическим комментарием к приведенной цитате, казалось бы, могут служить автобиографические воспоминания поэта последних лет жизни и его предсмертные «диктанты» о первых годах своей литературной деятельности,<sup>10</sup> а также рассказы А. Я. Панаевой о разразившейся весной 1848 года «цензурной буре» и о тех исключительных усилиях Некрасова, благодаря которым «Современник» не погиб уже на второй год своего существования под новой редакцией.<sup>11</sup> То есть вся беда, как можно было бы думать, в том именно и состояла, что провинциальный отрок слишком на большое дело замахнулся — на литературную карьеру в столице, а затем и на «свой» журнал, многотысячное предприятие, — без собственных средств, с не самым серьезным редакторско-издательским опытом, с надеждами на сотрудничество авторов, которые, однако, вскоре от него отступились, и лишь с поразительным литературным чутьем, оборотливостью, способностью работать, не щадя ни себя, ни других, страстным упорством и неистребимой жадностью успеха. Он «слишком многое» захотел взять от жизни, слишком высоко поднял планку, «не соразмерив сил с дорогой трудной», и надорвался на этом пути.

Однако стихи поэта содержали и иной, менее очевидный смысл. Для его выявления необходим специальный историко-биографический экскурс. В уже цитировавшихся воспоминаниях Некрасова поэт, обращаясь ко времени издания им первого юношеского сборника своих стихов, указывает: «Я роздал на комиссию экземпляры (первого поэтического сборника «Мечты и звуки». — Н. П.), ни одного не продалось, это был лучший урок. Я перестал писать *серьезные* стихи и стал писать *эгоистические*».<sup>12</sup> В другом месте ту же реакцию на полученный жизненный урок поэт описал так: «Отказался писать *лирические* и вообще *нежные произведения в стихах*».<sup>13</sup>

То, почему юный Некрасов считал «нежные произведения в стихах» «серьезными», а произведения «не лирические» (и чаще прозу) «эгоистическими», позволяет понять чудом дошедшее до нас единственное письмо по-

<sup>10</sup> ПСС. Т. 13. Кн. 2. С. 48, 59, 357; Лит. наследство. 1949. Т. 49—50. С. 203—204, 207.

<sup>11</sup> Панаева (Головачева) А. Я. Указ. соч. С. 174—179.

<sup>12</sup> ПСС. Т. 13. Кн. 2. С. 58.

<sup>13</sup> Там же. С. 47.

эта того самого времени (от 9 ноября 1840 года) к рано умершей старшей сестре Елизавете. Написано оно как раз после многое в его жизни и творчестве предопределившего решения не писать произведения «лирические», а писать «эгоистические». Решение было очень не легким, но решительно вытекавшим из формировавшихся у литературного «пролетария» его новых житейских и литературных убеждений:

...Порой возьму, — по струнам пробегу,  
Но уж ни петь, ни плакать не могу...

И я от лиры прочь бегу!  
Бегу... Куда? В торг суетности шумной,  
Чтоб заглушить тоску души безумной...  
Бегу туда, где плачет нищета,  
Где светел лик богатого шута...  
Бегу затем, чтоб дать душе уроки  
Пренебрегать правдивые упреки,  
Когда желает быть сыта!..<sup>14</sup>

«...Я день и ночь тружусь для суеты,  
И ни часа для мысли, для мечты...  
Зачем? На что? Без цели. Без охоты!..  
Лишь боль в костях от суетной работы  
Да в сердце бездна пустоты!

Но что нужды! Зато я не буду иметь права жаловаться на жизнь, не буду глупцом в глазах других».<sup>15</sup>

В этом контексте вполне понятными станут и некоторые позднейшие стихи Некрасова:

Я за то глубоко презираю себя,  
Что живу — день за днем бесполезно губя...  
Что, доживши кой-как до тридцатой весны,  
Не скопил я себе хоть богатой казны,  
Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,  
Да и умник подчас позавидовать мог!..  
(Т. 1. С. 42)

И то, что с жизни взято раз,  
Не в силах рок отнять у нас!  
(Т. 1. С. 96)

Зачем не иду по дороге большой  
За благами жизни, за пестрой толпой?  
(Т. 2. С. 16)

Жить для себя возможно только в мире...  
(Т. 3. С. 154)

Обретут ясность и комментарии поэта к первым из только что процитированных строк: «Написано во время гощения у Герцена (в 1846 году. —

<sup>14</sup> Там же. Т. 14. Кн. 1. С. 29—30.

<sup>15</sup> Там же. С. 30.



Н. П.). Может быть, навеяно тогдашними разговорами. В то время... Москва шла более *реально*, нежели Петербург...»<sup>16</sup> В этих словах Некрасов, по нашему мнению, не столько «хотел косвенно указать, что стихи написаны под впечатлением *политической проповеди* Герцена, прозвучавшей в его спорах с Грановским»,<sup>17</sup> сколько прямо характеризовал позицию «москвичей» (В. П. Боткина, Н. Х. Кетчера, К. Д. Кавелина, Е. Ф. Корша и др.) как более реальную (практическую), чем позиция «петербуржцев», ориентированных именно на идеологический (т. е. «идеальный»), а не на «материальный» (он же «утилитарный») результат, отстаивавшийся «москвичами».<sup>18</sup>

Позже, вспоминая этот перелом в убеждениях, пережитый им в юности, Некрасов, по свидетельству А. С. Суворина, признавался: «Идеализма было у меня пропасть, того идеализма, который шел вразрез с жизнью. И я *стал убивать его в себе* и стараться развить в себе *практическую сметку*. Идеалисты сердили меня, жизнь мимо них проходила, они в ней ровно ничего не смыслили, они все были в мечтах, и все их эксплуатировали. Я редко говорил в их обществе, но когда напивался вместе с ними — на это все мастера были, я начинал говорить против идеализма со страшным цинизмом... Я все отрицал... и проповедовал жестокий эгоизм и древнее правило: око за око и зуб за зуб».<sup>19</sup> «Я дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, думал я, будет и тех, которые погибли прежде меня, — я пробьюсь во что бы то ни стало. Лучше по Владимирке пойти, чем околевать беспомощным, забитым и забытым всеми. И днем и ночью эта мысль меня преследовала, от нервного волнения я подпрыгивал на своей кровати, и голова горела, как в горячке. Я *мучился той внутренней борьбой*, которая во мне происходила: душа говорила одно, а жизнь совсем другое».<sup>20</sup>

И юноша убежденно бросил все свои дарования на жертвенник жизненного самоутверждения. Низовой читатель жаждал «иметь свое удовольствие» от авантюрных «сказок», сработанных под «Бову Королевича», «Конька-Горбунка» и пересыпанных «кучерявыми» присказками вроде «Русских сказок» Казака Луганского, Некрасов сотнями стихов выдавал востребованное поляковскими и ивановскими изданиями чтиво. Лавочник-грамотей любопытствовал «шутеющими» суждениями о «славном Питембурхе» и рашскими куплетами лавочного зазывалы — молодой поэт с успехом «потрафлял» вкусам этой публики. Завсегдатай «Александринки» и трактиров «со всегда свежими номерами столичных газет и журналов»<sup>21</sup> заказывал литературному рынку комментарий «с подковыркой» насчет текущей драматической и беллетристической халтуры — Некрасов гнал один за другим свои театральные и литературные разборы. «Почтеннейшая публика» желала «воскресного фельетона» и «обозрения петербургских дач» — нацепив «передник» бойкого фельетониста, бывший лирик поставлял и это блюдо ей на стол. А когда вдруг «шутка с „Нашими“»<sup>22</sup> пошла и удалась, когда жур-

<sup>16</sup> Там же. Т. 1. С. 583.

<sup>17</sup> Там же. С. 584.

<sup>18</sup> Ср. также общий «труженнический» и «меркантильный» пафос в романе Некрасова и Н. Станицкого (А. Панаевой) «Три страны света» (1848—1849).

<sup>19</sup> Цит. по: Лит. наследство. Т. 49—50. С. 203.

<sup>20</sup> Там же. С. 202.

<sup>21</sup> Ср.: *Тургенев И. С.* Воспоминания о Белинском // *Тургенев И. С.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 10. С. 275; *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988. С. 155—161, 173—174. См. также фельетоны Н. А. Некрасова первой половины 1840-х годов.

<sup>22</sup> Имеется в виду серия бытописательных очерков А. П. Башудского «Наши, списанные с натуры русскими», начатая изданием в 1841 году и желавшая повторить успех предшествующего парижского «серийного» альманаха Л. Кюрмера «Французы в их собственном изображении».

нальные «расследования» в духе новейшей французской «физиологии» оказались «занятыми», то пострел-ярославец и тут не замедлил предложить новехонький товар «с наилучшими политипажами»!

Прямым плодом «победы» поэта над собственным «идеализмом» стали и многочисленные в первой половине 1840-х годов «шуточные» драматические (свои и переводные) водевили, травестийные рассказы и повести («Двадцать пять рублей», «Капитан Кук», «Несчастливец в любви...», «Помещик двадцати трех душ» и др.), иронические поэтические произведения (пародии, современные перелицовки авторитетных жанров и стилей предшествующих эпох, иронические «обыкновенные истории», язвительные «повести в стихах», сатирические обозрения). Да, «Музы, ласково поющей и прекрасной», недавний романтический «гений» уже не помнил над собою «песни сладкогласной», зато очень хорошо почувствовал, как рано над ним «отяготели узы другой, неласковой и нелюбимой Музы» («Муза», 1852).

Поразительно живучий российский «провинциал в столице»<sup>23</sup> пробивался, не щадя живота своего и упорно стремясь к избранной им для себя цели.<sup>24</sup> Вообще «хозяйственный расчет» (способы ведения альманахов и обоих журналов, редакторская и издательская политика, «приемы прикармливания» нужных людей — от авторов до цензоров и министров, общественная деятельность и реноме в кругах государственной элиты, тем более вопросы владения и оплаты труда) всегда будет входить в прожекты и достижения Некрасова на правах неумолимой и необходимой составляющей.

В передаче Панаевой, жестоко хандря «с тех пор, как сделался капиталистом», Некрасов тем не менее заявлял: «Я не так глуп, чтобы не видеть перемены в отношении к себе людей, начиная с невежд, кончая образованными».<sup>25</sup> Уже имея в руках достаточные средства, поэт не считал нужным лицемерно отказывать себе в том, что было «добыто» им *честным* трудом, и играть пошлую в его глазах роль то ли идеалиста, филантропа-бессребренника, то ли юродивого — исключительно «из убеждений».

К середине 1850-х годов Некрасовым-журналистом был достигнут настоящий успех. У «Современника» сложился наконец свой авторский (и в том числе писательский) круг. Надежно и ритмично заработала издательская машина, был подобран постоянный штат добросовестных технических служащих. Отлаженный вид приобрели механизмы подписки и сети сбыта. Журнал стал постепенно выбираться из долгов. Упрочилось материальное положение его издателей.

Кем был Некрасов пятнадцать лет назад? Нищим поденщиком. И кем стал теперь! Он редактор столичного журнала, «поощритель талантов», член аристократического Английского клуба. Нынче ему действительно любой «умник позавидовать может». Отчего же, однако, не чувствует он в себе полного и законного удовлетворения успешностью своей жизненной карьеры? Отчего его душит тоска и ощущение «обманувшей» жизни?

<sup>23</sup> См. об этом нашу статью: *Пайков Н. Н. Провинциал в столице, или Н. А. Некрасов как феномен отечественного и европейского культурного провинциализма // Русская провинция и мировая культура. Ярославль, 1998. С. 60—67.*

<sup>24</sup> Трудно не заметить, что сквозной темой всей ранней прозы Некрасова было стремление (порой комическое или, наоборот, драматическое, но чаще всего неуспешное) его автобиографически маркированного молодого героя, «из образованных», но бедного, выбиться из своего униженного, нищенского, провинциального положения. Таковы его «Макар Осипович Случайный», «Без вести пропавший пиита», «Двадцать пять рублей», «Карета», «Несчастливец в любви...», «Опытная женщина», «Повесть о бедном Климе», «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Психологическая задача», «Три страны света», «Мертвое озеро», отчасти и другие прозаические и драматические произведения той же поры.

<sup>25</sup> *Панаева (Головачева) А. Я. Указ. соч. С. 196.*

Есть тому по крайней мере три причины, в эту пору особо значимые для Некрасова. Одна из них прямо вытекает из особенным образом организованной системы его социально-этических воззрений и представлений.

Счастлив, кому мила дорога  
Стяжанья, кто ей верен был  
И в жизни ни однажды бога  
В пустой груди не ощутил.

(Т. 4. С. 33)

А как быть тому, кому эта дорога не «мила», хотя бы он и *убежденно* следовал по ней? — Тогда зачем бы нужно было ее избирать? Но припомним:

...чтоб дать душе уроки  
Пренебрегать правдивые упреки,  
Когда желает быть сыта!

Вступив некогда в союз с «неласковой и нелюбимой Музой», признав справедливость и интересов «стяжания», Некрасов, однако, никогда не отождествлял императивов жизненной практики с исповедуемыми им духовными устремлениями. Но то, что мыслилось некогда — пусть даже не как ложная дорога «всеобщей корысти», а только как *не бесчестное* и *временное* «средство», доставляющее возможность обеспечить жизненную и творческую свободу *в дальнейшем*, — взяло и обмануло. Именно «дальнейшего»-то, как полагал тяжко больной поэт, ему и не было отпущено. Чем стоящий на пороге кончины честный человек сможет оправдать теперь свою былую повседневную «суетность», свои расчеты и выигрыши в жестоких житейских и общественных «играх» (по правилам, им в душе не оправдываемым, и раз за разом убеждаясь в том, какую мучительную цену ему приходится платить за свой будущий успех<sup>26</sup>)? Как объяснить людям, гордящимся собственной порядочностью, свое «целесообразное» следование рутинному порядку вещей и непрменный учет *пошлых* норм и убеждений людей, эту пошлость оберегающих и утверждающих? Чего стоит *этой* ценою достигнутый им жизненный успех? Ради какого итога, свершения, исполнения чьего завета были приносимы им эти постоянные нравственные и личные жертвы? Неужели же только ради приобретения и самоутверждения? «Неоправданность» собственной жизни в высшем, ценностном отношении — вот что особенно мучило Некрасова во время его болезни середины 50-х годов и даже позже, в пору подведения им окончательных жизненных итогов.

Другая причина душевных терзаний «на редкость удачливого» журналиста и литератора заключалась в поразительно «дружных» и многократно

<sup>26</sup> Сошлемся, во-первых, на незавершенный роман Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843—1845, 1846—1848), основным содержанием которого, особенно в его начальном варианте, был показ того, что делает с порядочным юношей подлая жизнь и какую нравственную цену она предлагает ему заплатить за «успешное» выживание. Другим примером той же логики может стать биографический эпизод с отказом (сколь бы ни был обоснован этот отказ) начинающего редактора Некрасова своему умирающему «учителю» Белинскому в предоставлении тому доли в капитале «Современника». См. об этом: *Евгеньев-Максимов В.* 1) Некрасов и его современники. М., 1930. С. 70—92; 2) «Современник» в 40—50 гг. от Белинского до Чернышевского. Л., 1934. С. 79—92; Лит. наследство. Т. 49—50. С. 154—158; *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 15. Кн. 1. С. 263—265.

высказываемых в его адрес самых нелюбимых суждениях о нем как о личности и как о художнике не только его явных недоброжелателей,<sup>27</sup> но и его приятелей<sup>28</sup> (а в дальнейшем и грубо прямолинейных соратников<sup>29</sup>). Идеалисты 1840-х годов<sup>30</sup> (да и последующих десятилетий,<sup>31</sup> вплоть до современности<sup>32</sup>) с поразительной готовностью, а то и самомнением вставали в позу непреклонных судей (а то и прямых палачей<sup>33</sup>) поэта. Оправдание же принятой ими на себя роли, как и однозначное признание безусловной вины Некрасова, «со всей очевидностью» они выводили из «воплей» и «пароксизмов» «большой совести»<sup>34</sup> в лирике самого поэта.

Правда, позднейшие почитатели и интерпретаторы некрасовской жизни и творчества щедро «простили» ему его «грехи», «искупленные» всем последующим «служением» его гражданской музы.<sup>35</sup> Однако, думается, справедливее полагать, что сама парадигма «греха» и «искупления», имеющая несомненное отношение к биографически мотивированной самооценке поэта, куда в большей мере должна быть отнесена к контекстуальной обусловленности этико-идеологических установок читающей публики, прижизненной и посмертной литературной критики, трактующих феномен Некрасова, нежели к действительной личности поэта и исторической истинности моральной оценки его житейских и общественных поступков.

Стал ли Некрасов в итоге своей головокружительной литературно-издательской карьеры «утратившим» не только «иллюзии», но и нравственные принципы убежденным Растиньяком, беззащитным литературным дельцом вроде Ф. В. Булгарина, О. И. Сенковского, А. А. Краевского, даже

<sup>27</sup> Отошлем читателя к суждениям на этот счет Б. Н. Алмазова, А. А. Григорьева, Аксаковых, А. И. Герцена, Н. П. Огарева и, позже, И. С. Тургенева, А. А. Фета, Ф. М. Достоевского, Д. Д. Минаева, В. Г. Авсеенко, В. П. Буренина, Н. С. Лескова, Н. И. Успенского и др.

<sup>28</sup> См., например, суждения упоминавшихся выше «москвичей», а также И. С. Тургенева, Д. С. Григоровича в передаче А. Я. Панаевой: *Панаева (Головачева) А. Я.* Указ. соч. С. 280—283, 309—316.

<sup>29</sup> См.: *Елисеев Г. З.* Из воспоминаний // Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 223—227.

<sup>30</sup> В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, А. И. Герцен, В. П. Боткин, Н. Х. Кетчер, Т. Н. Грановский и др.

<sup>31</sup> См. соответствующие материалы в кн.: *Зелинский Ф. Ф.* Сборник критических статей о Некрасове. 3-е изд. М., 1906, 1914. Ч. 2 и 3.

<sup>32</sup> См. об этом феномене: *Скатов Н. Н.* За что мы не любим Некрасова // Скатов Н. Н. Соч.: В 4 т. СПб., 2001. Т. 4. С. 561—576; ср. *Вайль П., Генис А.* Любовный треугольник: Некрасов // Вайль П., Генис А. Русская речь. М., 1991. С. 133—142. См. также целый ряд публикаций в центральной и региональной российской прессе начиная с 1996 года и проект художественного фильма «Совесть Некрасова» (режиссер Г. Ершов).

<sup>33</sup> См.: *Антонович М. А., Жуковский Ю. Г.* Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым: Материалы для характеристики современной русской литературы. СПб., 1869.

<sup>34</sup> См. характерные суждения на этот счет И. А. Худякова и П. Л. Лаврова: Лит. наследство. 1949. Т. 53—54. С. 204—208. Ср. также реакцию Г. И. Успенского на «покаянные» стихи Некрасова: Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. С. 373.

<sup>35</sup> См., например, «Дневник писателя» за 1877 год Ф. М. Достоевского (Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973. С. 349), а также факты, сообщенные А. Г. Штанге, П. А. Гайдебуровым, П. В. Засодимским и другими (Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. С. 450—451, 470, 478). В том же духе выразился в вырезанном цензурой из «Отечественных записок» (1878. № 1) некрологе Некрасову Г. З. Елисеев (см. там же, с. 220, а также отвергнутое П. Л. Лавровым «примечание» Елисеева к бесцензурному изданию книги И. А. Худякова «Опыт автобиографии» (Женева, 1882): *Елисеев Г. З.* О личности Некрасова // Шестидесятые годы. М.; Л., 1933). См. также: *Антонович М. А.* Из воспоминаний о Николае Алексеевиче Некрасове // Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. С. 179. В аналогичном смысле не раз высказывалась и литературная публицистика начала XX века (см., например, подборку таких мнений: *Максимов В.* Литературные дебюты Некрасова. СПб., 1908. С. 115). Даже в советские годы эта потребность нечто обязательно «простить» поэту давала о себе знать (см., например: *Козлов П.* Прощение Некрасова // Ярославский альманах. Ярославль, 1943. С. 242—245).

Г. Е. Благовестлова или идейным ренегатом, подобным А. С. Суворину, столь близко к сердцу принявшему «цинизм» юного Некрасова? Увы, к глубоко-му сожалению господ, так полагающих, на этот вопрос невозможно дать утвердительного ответа.

Тем-то, собственно, и поражал своих современников (как ближних,<sup>36</sup> так и дальних<sup>37</sup>) Некрасов, что он ни в своем журналистском облике, ни в качестве завсегда аристократического Английского клуба, ни в амплуа «охотника-спортсмена» или владельца бывшей губернаторской усадьбы не укладывался в прокрустово ложе привычных социальных и культурных ролей.<sup>38</sup> И «виной» всему была его жизненная позиция человека особого личного склада.

Так, к социальному статусу дворянина Некрасов в пору своей позднейшей жизни и деятельности относился как к принятому по «правилам» современного ему общества «инструменту», позволявшему решать те или иные практические задачи: адресоваться в официальные инстанции, юридически оформлять и охранять права собственности, обеспечивать возможность разнообразных контактов в среде общественной элиты. Но даже субъективно-психологически ощущая себя потомком исторически несправедливою «игрою счастья *обиженного* рода»,<sup>39</sup> он никогда по отношению к кому бы то ни было из своего литературного или приватного окружения, включая подруг, слуг, крестьян-охотников, вообще людей из народной среды, не позволял себе даже намеком подчеркнуть свое «дворянское превосходство». Он склонен был скорее к ироническому восприятию себя как «барина».

Свою позднейшую материальную обеспеченность Некрасов понимал как личную социальную ответственность перед журнальными авторами, бедствующими литераторами или знакомцами из мужицкой среды. Сталкиваясь в жизни с самым широким кругом людей — от членов императорского семейства до крестьянской детворы, — Некрасов умел встать с ними в отношения не только официальной субординации или деловой необходимости в одном случае или «отеческой заботы» в других обстоятельствах, но и личной (поверх любых социальных различий) короткости, дружеской доверительности, психологического равенства, взаимоуважения. И на охоте, в карточной игре, редакционных встречах он никогда не хлопотал о дистанции в общении, наоборот, придавал последнему характер естественного дружельюбия, взаимного уважения и порядочности в обязательствах. Это не было ни благородной попой, ни умственным следствием его убеждений, а лишь органическим проявлением его натуры. Таким Некрасов был в семейственном кругу, таким же он являл себя в дружбе и даже в «приятельской» окрашенности официальных контактов.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> См. об этом в воспоминаниях А. А. Буткевич, И. А. Панаева, П. М. Ковалевского, Г. З. Елисеева, М. А. Антоновича, А. М. Скабичевского и др.

<sup>37</sup> Ф. М. Достоевский об искусстве. С. 345. См. также воспоминания П. Д. Боборыкина, Вас. Ив. Немировича-Данченко, Е. М. Феоктистова и др.

<sup>38</sup> Впрочем, подобные утверждения уместны в отношении «идеологических» и «художнических» ролей Некрасова. См. посвященную данной проблематике новейшую монографию швейцарской исследовательницы Аннет Люизье: *Luisier A. Nikolaj Nekrasov: Ein Schriftsteller zwischen Kunst, Kommerz und Revolution*. Zürich, 2005. 302 s.

<sup>39</sup> См. об этом подробнее: *Пайков Н.* Корни и ветви // Некрасов Н. «Да, только здесь могу я быть поэтом...». Ярославль, 1996. С. 571—574.

<sup>40</sup> Ср.: Там же. С. 576—577. См. также деловую переписку Некрасова, в частности очень показательные истории его личных отношений с Ф. А. Кони, А. А. Краевским, В. Г. Белинским, В. П. Боткиным, А. В. Дружининым, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, А. Н. Островским, Ф. М. Достоевским, В. М. Лазаревским, В. П. Гаевским и др.: *Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т.* М., 1987.

В своих коммерческих делах он никогда не был ни романтическим идеалистом, ни социальным филантропом — лишь реально совершаемый труд и качество работы заслуживали в его глазах действительного поощрения. Заказ им самим или принятие им от кого-либо литературных произведений для издания или публикации в журнале в первую очередь мыслились им как *приобретение* пусть и творческого, но именно «товара», ценность которого определялась исключительно его литературными и концептуальными свойствами, но никогда, скажем, приятельскими отношениями. Если же ему — вынужденно — при публикации отдельных материалов приходилось (по редакционным, цензурным или политическим причинам) считаться с иными, посторонними условиями ведения дела, то и в этом случае для Некрасова всегда отчетливо существовала «цена вопроса», «превышение» которой вызывало его жесткое сопротивление. А в отношении собственно художественной «продукции» для него существен был только талант автора.

Бесспорно, для Некрасова-практика весьма значим был и «спрос» на читательском «рынке» на любой предлагаемый им «товар». Но обычная ошибка пишущих о «предпринимательских» аспектах как в деятельности Некрасова-журналиста, так, тем более, и в направлении его поэтического творчества заключается в молчаливом элиминировании авторами высказываемых оценок роли некрасовской журнальной и творческой активности. Сводить понимание «полевения» некрасовской музыки и журнальной политики редактора «Современника» к концу 1850-х годов только к результату «давления» на него изменений в политической ситуации, развития соответствующих общественных настроений, выдвижения разночинской молодежной аудиторией определенных идеологических запросов — значит не видеть в поэте и человеке Некрасове чего-то очень для его характеристики существенного. Ведь те же самые исторические и социально-идеологические факты привели многих его современников, поэтов и критиков, в лагерь «чистого искусства», других сделали творцами «антинигилистической» публицистики и романтики!

Так что «прогрессизм» Некрасова середины 1850-х годов вряд ли стал простым следствием *внешних* социальных и идеологических обстоятельств или определялся именно «ажитажным спросом» на литературном рынке. Куда более убедительной представляется версия, что открыто зазвучавшая в стихах и журнальной политике Некрасова проповедь гражданственности явилась следствием прежде всего *внутреннего* и *этического* выбора поэта и журналиста, более того, реализацией *именно ему органически присущих* (но не находивших себе поддержки в первую половину десятилетия<sup>41</sup>) духовных потенций.<sup>42</sup> Да и само формирование молодежной читательской аудитории

<sup>41</sup> Мемуаристы сохранили об этом многочисленные признания поэта. Об этом же он говорит и в своем стихотворении «Угомонись, моя муза задорная...» (1876).

<sup>42</sup> Стоит вспомнить в этой связи хотя бы историю с написанием Некрасовым стихотворения «Русскому писателю», переработанного поэтом в его знаменитый программный диалог «Поэт и гражданин», отзывы о последнем его литературных приятелей Дружинина, Боткина, Тургенева и реакцию самого Некрасова на их «увещевания». См. об этом: *Евгеньев-Максимов В.* Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. С. 335—336. Вспомним также правку ключевой строки двух стихотворений: «Служи не славе, не искусству, — Для блага ближнего живи» («Русскому писателю»); «Служи не славе, но искусству, Для блага ближнего живи» (вариант, предложенный Тургеневым); «Будь гражданин! служи искусству, Для блага ближнего живи» («Поэт и гражданин») — и слова поэта из письма к Боткину: «...Люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу, послужишь и искусству» (ПСС. Т. 13. Кн. 1. С. 223).

«шестидесятников» во многом было связано именно с практикой некрасовского журнала и голосом его «музы мести и печали». <sup>43</sup>

Третья причина переживаний Некрасова, связанных с «обманувшей» его жизнью, коренится в его творческом самосознании. Когда за его плечами как будто уже встала «костлявая с косою», что он мог предъявить миру как художник? Юношескую беллетристическую, водевильную, сказочную, фельетонную да и позднейшую романную «халтуру»? <sup>44</sup> Увы, по пристальном рассмотрении умирающий с горечью констатировал: едва ли не все его творческие силы были потрачены главным образом «на содержание своей особы». <sup>45</sup> «Теперь бы мог я сделать что-нибудь» (Т. 1. С. 166) — рожденное именно творческим талантом, ему отпущенным. <sup>46</sup> «Но — поздно!..» Жизни на грядущее исполнение заветных стремлений, увы, не осталось! Да осталось ли и творческих сил, не иссяк ли талант, употребленный «по потребности», а не по призванию? <sup>47</sup> Не одолела ли окончательно рутинная «трудо- и

<sup>43</sup> Ср.: Лунин Б. В. (сопровод. текст) // Живые страницы: Н. А. Некрасов в воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах. М., 1974. С. 183.

<sup>44</sup> Вспомним: «Прозы моей надо касаться осторожно. Я писал из хлеба много дряни, особенно повести мои, даже поздние, очень плохи...» (ПСС. Т. 13. Кн. 2. С. 60).

<sup>45</sup> Из письма Некрасова к Ф. А. Кони от 25 ноября 1841 года (Там же. Т. 14. Кн. 1. С. 41).

<sup>46</sup> Еще при начале «нового» «Современника» Некрасов признавался Тургеневу: «...похвалы, которыми обременили Вы мои последние стихи... нагнали на меня страшную тоску — я с каждым днем одуреваю более, реже и реже вспоминаю о том, что мне следует писать стихи...» (ПСС. Т. 14. Кн. 1. С. 92). Закономерно, что именно в годы своей болезни (1853—1856) поэт предпринимает максимальные усилия по созданию произведений высокой художественной ценности во всех интересующих его литературных формах: драматургии (ранний замысел об обманутой актрисе, легший затем в основу лирической комедии «Медвежья охота»), прозе (роман «Тонкий человек»), поэме («Саша», замыслы поэмы «Мать» и лирического романа о «герое времени», поэм «Несчастные», «Тишина», «На Волге», «Рыцарь на час», «Крестьянские дети»), лирике (книга «Стихотворения Н. Некрасова»), критике («Заметки о журналах»).

<sup>47</sup> В указанной нами выше монографии А. Люизье проводится интересная идея не только о внешнеконфликтном (отношения писателя с «вызовами» социальной и творческой среды и времени), но и о внутреннеконфликтном (взаимодействие в составе единой творческой личности разнонаправленных художественных импульсов) позиционировании в творчестве поэта различных социокультурных «ролей» («Interrollenkonflikt» и «Intrarollenkonflikt» в интерпретации Ральфа Дарендорфа: *Dahrendorf R. Homo sociologicus*. Opladen, 1977). Имелось в виду столкновение во внутреннем сознании личности «художника» («служителя муз»), «предпринимателя» (человека, живущего по правилам достижения практической выгоды от своей деятельности) и «революционера» (носителя радикальных идеологических убеждений). Одним из частных аспектов этой концепции оказывается мысль о сохранявшемся у Некрасова в течение всего его творческого пути представлении об эстетической безусловности «высокого» (в терминологии времени — «пушкинского») идеала «художника *par excellence*», которому, по убеждению поэта, не удовлетворяло («нет, ты не Пушкин») его собственное (пусть даже идейно значимое) творчество, хотя именно к этой роли в искусстве Некрасов активно стремился. См.: *Luisier A. Op. cit.* S. 11—17 und 5—7 Kapitels. Представляется, однако, что данные положения могут быть определенным образом уточнены. Некрасов уже к середине 1850-х годов ясно различал в собственном творчестве то, что было «писано из хлеба», и то, что создавалось не столько ради «высокой художественности» самой по себе, сколько для «совершенного» выражения «честных мыслей». Кроме того, в эту пору для Некрасова стало очевидным, что в современной русской словесности этот уровень «высокой художественности» демонстрировало, например, искусство прозы Герцена, Гончарова, Григоровича, и в особенности любимых им Тургенева и Толстого. Рядом с этими писателями ему *нечаянно* стало продолжать *собственные* прозаические опыты. В поэзии же он в то время осознал себя литературным лидером, т. е. художником того же литературного уровня качества, а тем самым уже не соискателем роли художника в культуре (не «предпринимателя» и не «революционера»), а преобразователем ее качества. Отношение поэта к данному вопросу во многом проясняется параллельными и в активном диалоге с ним самим оформившимися переживаниями Тургенева: «Я ничем не могу быть как только литератором, — но я до сих пор был больше *дилетантом*. Этого вперед не будет» (*Тургенев И. С. Собр. соч.*: В 12 т. Т. 12. С. 282). Тем самым представляется, что самого Некрасова в большей степени, чем оппозиция «художник / практик», волновала оппозиция «мастер / дилетант». Иное дело взгляд исследователя, который вправе рассматривать творческое поведение художника в *любой* интересующей его плоскости.

дней» «и молодости честные порывы, и опыта обдуманый расчет»? И не настало ли то «непременное время», когда, «насмешливо и нагло выждав» своего часа, к человеку, поэту, труженику приходит *Пошлость* — беспощадно удостоверит, что и он наконец стал одним из тех, «каких много», кто ста- дом «ходит по земли, не видя неба ввек»?! Тут есть от чего содрогнуться! Жа- жда пробиться «любой ценой» обернулась для Некрасова еще и несомнен- ным *обманом* — не столько других людей, сколько собственных упований, идеальных устремлений, поэтического дара. А вся его жизнь стала как буд- то лишь сверхдорогой «залоговой ценой» неисполнимых обещаний.

Впрочем, осознание и этих аспектов «обманутости» Некрасова — чело- века и поэта — есть лишь констатация проблемы, но еще не раскрытие ее сущности. Антитезы «нравственно состоятельное / пошрое» или «халтура / высокое искусство» и даже «приобретательство / творчество», по-видимому, слишком спрямляют глубинный характер внутренних терзаний нашего по- эта. В глазах Некрасова, пережившего угрозу ежедневной возможности умереть от «банального» отсутствия пищи, одежды или ночлега, сама возмож- ность *оставаться в живых* стала одной из *абсолютных* человеческих цен- ностей.<sup>48</sup> Так же как и труд — основа любого довольства и материальной обеспеченности.<sup>49</sup> Поэтому и не совестился поэт ни своих редакторских зара- ботков и доходов от издания своих и чужих сочинений, даже от карточных удач и счастливых охот, ни производимых им на личные нужды трат. Все это было достойно заработано и оплачено его умением, умом, талантом, си- лой характера.<sup>50</sup>

В том-то, однако, все и дело, что столь же несомненной была для Некра- сова и другая, находящаяся в кричащем противоречии с первой, ценность социального, нравственного, духовного, эстетического идеала. Еще в 1840 го- ду убежденно приняв брошенный ему жизнью вызов, Некрасов тем не менее на протяжении всей своей жизни мучительно переживал свое раннее «отре- чение» от высоких романтических идеалов:

Грустно... совсем в суете утонул я,  
Бедному *сердцу простора* я не дал...  
Тяжко... за что *сам себя обманул* я...  
*Сам себя мрачным терзаниям* предал?

«...Отчего такая *пустота* в моей душе?.. Отчего я так *холодно* встре- чаю и успех и неуспех?.. Оттого, отвечаю я сам себе, что все это мне кажется *мелким, ничтожным*... А стремясь за ним, я вмешался в пеструю толпу лю- дей, у которых *не моя цель*. Я увлекся *общим потоком* и *не отстаю от дру- гих*, хлопочу, *торгуюсь* на рынке света...»<sup>51</sup>

Тем самым уже в начале своего пути, еще эмоциональной «ощупью», Некрасов пришел к непростому сущностному различению двух «идеализ-

<sup>48</sup> Совершенно очевидно, что позднейшее онтологическое (с большой буквы!) понимание Некрасовым житейского «довольства» в генезисе имеет именно этот испытанный и метафизиче- ски пережитый им в ранней юности ужас близкой смерти. Ср.: «В мире есть царь, этот царь бес- пощаден — Голод названье ему!»; «Сквозь бездны темные Насилия и Зла, Труда и Голода она (Муза. — Н. П.) меня вела».

<sup>49</sup> См. у Некрасова: «Где же ты, тайна довольства народного?»; «Кому вольготно, весело живет на Руси?»; «Надо, чтоб были здоровы Овцы и лошади их, Надо, чтоб были коровы Тол- ще московских купчих»; «Сыты там кони-то, сыты, Каждый там сыто живет»; «Высокорослы, красивы Жители, бодры всегда». Ср. также, в связи с поэмой «Мороз, Красный нос», наблюде- ния М. Н. Зубкова в его статье «Поэтика труда, поэтика прекрасного» (в кн.: Карабиха: истори- ко-литературный сб. Ярославль, 1991. Вып. 1).

<sup>50</sup> Ср.: Пайков Н. Корни и ветви. С. 575—576.

<sup>51</sup> ПСС. Т. 14. Кн. 1. С. 29.



мов». «Идеализм» как потакание собственному самолюбию, пустопорожнее мечтательство, «псевдоученное» теоретизирование, философия «сытых» им категорически изживался в себе и отрицался в других. Но «идеализм» как абсолютная человеческая потребность в осмыслении и оправдании собственного бытия духовными нормами, идейными принципами, идеалами всеобщей и личностной гармонии им бережно сохранялся и пестовался в своей душе в течение *всей* его жизни.

Поэт, чуть не утаивая от себя самого тягу к идеалу, к жизни иной, подлинной, достойной, освященной людским благородством, — в противовес прежде заявленной им «магистральной» творчества и ее малому «знамени» («Стишки! Стишки! давно ль и я был гений?..», 1845) — словно бы подспудно, пунктирно, то едва заметно, то вдруг зримо и ярко, но с какой-то нарастающей настойчивостью стал в своих стихах позволять проявления иной, *идеальной* и, надо полагать, «любимой» им Музы. То это оказывался вставной музыкальный номер из некрасовской мелодрамы «Материнское благословение» (1842), ставший отдельным и популярным его стихотворением («Песнь Марии»). То это был очередной горький набросок «для себя», как бы «не отосланное письмо» к сестре Анненьке по поводу ее, по-видимому «из разумных соображений», замужества («И так за годом год...», 1844). То «стильная» вещь в духе эстетики пушкинской эпохи («Пускай мечтатели осмеяны давно...», 1845). А то вдруг светлый аккорд среди дисгармонических звуков некрасовской любовной лирики («Ты всегда хороша несравненно...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой bestолоковые люди...», 1847—1851; «Бьется сердце беспокойное...», 1855, 1874) или задушевное воспоминание («Памяти Асенковой», 1855).

Именно в середине 1850-х для Некрасова впервые с такой резкой определенностью выдвинулись вперед вопросы ценностной оправданности своего жизненного пути и черт собственной личности. Со временем эти вопросы станут только усугубляться, превращаясь в публичный самосуд поэта. Открывшись «Последними элегиями», признаниями «Еще скончался честный человек...», «Не знаю, как созданы...», «Наследством», этот ряд стихотворений вберет в себя и «Поэта и гражданина», и «Рыцаря на час», и так называемую «покаянную» лирику, и поэму «Уныние».

Поэт возводит в ранг субстанциональной антиномии вопрос о том, что сущностнее: жизнь со всей ее рутиной, ложью, пошлостью... и чувственными радостями или принесение самой этой жизни на не сулящий никаких действительных результатов (кроме славного ореола мученика) жертвенный алтарь служения социальным, моральным, метафизическим идеалам:

Я не продам за деньги мненья,  
Без крайней нужды не солгу,  
Но *гибнуть жертвой убежденья*  
Я не хочу — и не смогу!..

(Т. 3. С. 279)

Но, повторимся, мука Некрасова в том и состояла, что для него *обе правды* — и «правда» физического существования, и «правда» духовного оправдания бытия — были великими и безусловными Истинами. Поэт склонял голову перед подвижничеством героев:

...Не хуже нас он видит *невозможность*  
*Служить добру, не жертвуя собой.*  
Но любит он возвышенной и шире...

...Его послал Бог Гнева и Печали  
*Рабам* земли напомнить о *Христе*.  
 (Т. 3. С. 154)

Иди и гибни безупречно.  
*Умрешь не даром*: дело прочно,  
 Когда под ним струится кровь...  
 (Т. 2. С. 9)

Природа-мать! когда б *таких* людей  
 Ты иногда не посылала миру,  
 Заглохла б нива жизни...  
 (Т. 2. С. 173)

Но он же с не меньшей страстью отстаивал *право* человека на жизнь, неотменимое никакой нуждой — даже в самой высокой жертве:

Бог на помощь! бросайся прямо в пламя  
 И погибай...  
 Но, кто твое держал когда-то знамя,  
 Тех не пятнай!  
 (Т. 3. С. 18)

...глупо умирать,  
 Чтоб им яснее доказать,  
 Что прочен только путь неправый;  
 Глупей трагедией кровавой  
 Без всякой пользы тешить их!  
 Когда являлся сумасшедший,  
 Навстречу смерти гордо шедший,  
 Что было в помыслах твоих,  
 О родина! Одну идею  
 Твоя вмещала голова:  
 «Посмотрим, как он сломит шею!»  
 Но жизнь не так же дешева!

...Я жить в позоре не хочу,  
 Но умереть за что — не знаю.  
 (Т. 3. С. 44—45)

Согласить друг с другом эти «правды» поэт не смог до конца своей жизни:

Мне борьба мешала быть поэтом,  
 Песни мне мешали быть бойцом.  
 (Т. 3. С. 175)

## «ПИКОВАЯ ДАМА» П. И. ЧАЙКОВСКОГО — «ПЕСНЯ СУДЬБЫ» А. А. БЛОКА

В исследованиях, посвященных тому, что принято называть «образно-идейными связями» драмы А. А. Блока «Песня Судьбы», одним из общих мест являются параллели между ней и повестью А. С. Пушкина «Пиковая дама». Их видят в созвучии имен главных героев этих произведений, в некоторых вытекающих из него особенностях их поступков, а отчасти и в концепциях этих произведений. Как пишет автор одного из наиболее обстоятельных исследований общей проблематики блоковской пьесы Т. М. Родина, имя героя в ней «имеет такое же значение, как имеющиеся в „Песне Судьбы“ сюжетно-образные цитаты из Достоевского, Некрасова, Чехова и собственной лирики». По ее мнению, «Блок таким образом не только подчеркивает национально-историческое значение проблемы, лежащей в основе его драмы, но и достигает как бы „удлинения“ действия драмы за счет уже пережитых русским художественным сознанием этапов и поворотов этой проблемы (в «Пиковой даме» Пушкина или «Идиоте» Достоевского)».<sup>1</sup>

Не подвергая сомнению сам факт подобных связей и параллелей, обратим внимание лишь на то, как они аргументируются и интерпретируются. Дело в том, что прямое и однозначное их прочтение, и в особенности распознавание имени героя «драматической поэмы» Блока через повесть Пушкина, вызывает ряд возражений.

Во-первых, эти параллели в прямом своем толковании каким-то странным образом зависают и выпадают из сюжета и образного строя «Песни Судьбы» в традиционном ее прочтении. В лучшем случае можно говорить, что они оказываются в ней сугубо факультативными и просматриваются где-то на периферии, далеко от основного ее смысла.

Во-вторых, стоит все-таки обратить особое внимание на то, что пушкинский герой именуется по-немецки Германн, и это скорее всего его фамилия; согласно авторскому указанию и всем его характеристикам он — типичный петербургский немец.<sup>2</sup> Блоковский же персонаж — русский интеллигент, отождествляемый с автором пьесы,<sup>3</sup> и зовут его традиционным русским именем Герман, хорошо известным по святцам и достаточно характерным в русской культуре второй половины XIX и еще более всего XX века.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Родина Т. М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972. С. 178.

<sup>2</sup> Поэтому именно к пушкинскому Германну приложимы все толкования нерусского смысла его имени, которыми нередко оснащают и блоковского героя (см., например: Родина Т. М. Указ. соч. С. 178—179; *Приходько И. С.* Мифопоэтика А. Блока. Историко-культурный и мифологический комментарий к драмам и поэмам: Монография. Владимир, 1994. С. 40).

<sup>3</sup> Об этом, вероятно, заговорили еще при жизни Блока (см., например: *Бекетова М. А.* 1) Александр Блок. Биографический очерк. Пб., 1922. С. 101—102; 2) Воспоминания об Александре Блоке (Шахматово. Семейная хроника). М., 1990. С. 553—554).

<sup>4</sup> Так зовут, например, приятеля П. И. Чайковского, известного музыкального критика Г. А. Лароша; псевдонимом «Товарищ Герман» подписывается З. Н. Гишпиус, в том числе и в статье «Трихина» (Весы. 1907. № 5), где речь идет, кстати, о пьесе Блока «Балаганчик» и о кри-

В-третьих, попытка найти доказательства прямой увязки пьесы с повестью на основании записи, сделанной Блоком «на последнем листе черновика драмы... в июне 1921 г.»,<sup>5</sup> не выдерживает критики. Блок писал там: «Кроме того, были наброски *талантливой* сцены между Еленой, другом, Фаиной и Германом в игорном доме. Она мною уничтожена, как и всякие другие наброски».<sup>6</sup> Однако у Пушкина нет «игорного дома». Его персонажи в России собираются играть в карты «у конногвардейца Нарумова» или у державшего в Москве «открытый дом» Чекалинского, к которому после его переезда в Петербург «нахлынула» молодежь, «забывая балы для карт и предпочитая соблазнам фараона обольщениям волокитства». В Париже в молодости старая графиня играла «при дворе». Впрочем, у Пушкина все же есть упоминание «домов», в которых играют в карты, но оно имеет несколько иную стилевую окраску и иной смысл. Пушкинский Герман лишь мечтал «в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очаровательной фортуны». Поэтому блоковский «игорный дом» следует искать в другом исходном произведении. Таковым, судя по всему, является опера П. И. Чайковского «Пиковая дама». Именно там дважды упоминается «игорный дом»: сначала в 6-й картине теряющий рассудок Герман зовет туда Лизу, а затем все действие 7-й картины сопровождается ремаркой: «Игорный дом». И именно там, почти так же как и в уничтоженной сцене у Блока, но только в видениях безумного и умирающего Германа появляются вполне отождествляемые с женскими персонажами Блока Лиза, Графиня и соперник Германа. Но еще важнее то, что в этой же опере герой именуется абсолютно идентично, как и у Блока, — Герман.<sup>7</sup>

Очевидный приоритет оперы Чайковского в качестве одного из первоисточков образно-поэтического строя «Песни Судьбы» отнюдь не случаен. Эта опера была своего рода культовым явлением в русской интеллектуально-художественной жизни конца XIX—начала XX века.<sup>8</sup> Более того, она фактически вытеснила в сознании людей того времени пушкинскую версию сюжета «Пиковой дамы». Важно, что и для Блока «Пиковая дама» Пушкина и Чайковского не просто «разные по идейно-художественной концепции произведения».<sup>9</sup> Их разнозначимость в его восприятии имеет некоторое подобие

тике на нее Г. И. Чулкова; в 20—40-е годы XX века это одно из модных имен советской России — вспомним хотя бы второго отечественного космонавта Германа Титова. В Святцах (издания 10-х годов XX века) это имя встречается довольно часто и помимо византийских святомучеников упоминается в связи с русскими святыми 17 (30) апреля, 28 июня (11 июля), 27 июля (9 августа) и 11 (24) сентября. Ср. с мнением о том, что это имя для своей драмы «в силу самой своей редкости и неожиданности не могло быть выбрано Блоком без мысли о Германне, герое пушкинской „Пиковой дамы“» (Родина Т. М. Указ. соч. С. 177).

<sup>5</sup> Родина Т. М. Указ. соч. С. 177.

<sup>6</sup> Приводя эту цитату (со ссылкой на ее публикацию: Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 578, где ею ошибочно указан 6-й том этого собр. соч.), Т. М. Родина сопровождает ее следующей сноской: «Этот „игорный дом“ подтверждает связь Германа Блока с Германом Пушкина. Образ „игорного дома“, очевидно, ассоциировался Блоком с темой рока „Песни Судьбы“». Впрочем, далее она несколько смягчает свою позицию: «Связь эта, столь прямо выраженная в первоначальных набросках пьесы, впоследствии приобретает более сложный и опосредованный характер» (Родина Т. М. Указ. соч. С. 177—178).

<sup>7</sup> Об этом изредка упоминается в литературе, и чаще всего в музыковедческой (см., например: Ильин-Томищ А. А. «Пиковая дама означает...» // «Столетия не сотрут...»: Русские классики и их читатели. М., 1988. С. 126; Климовицкий А. И. «Пиковая дама» Чайковского: культурная память и культурные предчувствия // Россия — Европа. Контакты музыкальных культур. СПб., 1994. С. 260 и т. п.).

<sup>8</sup> См. об этом: Ильин-Томищ А. А. Указ. соч. С. 126—140; Фролов С. В. «Пиковая дама» Чайковского: Неучтенная феноменология // «...Он видит Новгород Великой...»: Материалы VII Международной пушкинской конференции «Пушкин и мировая культура». СПб., [2004]. С. 255—268.

<sup>9</sup> Хопрова Т. А. Музыка в жизни и творчестве А. Блока. Л., 1974. С. 37.

смысловой иерархии. В своем пояснении к словам из баллады Томского, процитированным в известном письме к П. Перцову от 31 января 1906 года, Блок писал: «Это — „Пиковая дама“, — и даже почти уж не пушкинская, а *Чайковского*» — и далее определил оттенки различий: «Пушкин „аполлонический“ полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского — *мага и музыканта*». <sup>10</sup>

Сохранились многочисленные свидетельства того, что Блок хорошо знал эту оперу, устойчиво сохранявшуюся в репертуаре Мариинского театра со времени своей премьеры в 1890 году, неоднократно и регулярно бывал на ее спектаклях. <sup>11</sup> Отчасти шлейф образного мира этой оперы обнаруживается помимо «Песни Судьбы» и в некоторых других текстах Блока, а в определенном смысле может быть прослежен и в его биографии. В частности, в опере последовательность ситуаций в сцене объяснения в любви Германа к Лизе, с известной долей условности, может быть сопоставлена с подобной же последовательностью в любовных обращениях Блока к Любови Дмитриевне в его письмах 1902 года. В обоих случаях, начиная с извинений за нарушения покоя, «лирический герой» ставит свою жизнь или смерть в зависимость от разрешения высказаться. <sup>12</sup> Затем, объясняясь в любви, он в гимнических формах восхваляет и обожествляет даму своего сердца <sup>13</sup> и в заключение ставит свою жизнь в зависимость от ответного чувства своей избранницы. <sup>14</sup> Словесные и музыкальные цитаты из этой оперы были в ходу в компании, собиравшейся у Блоков в Шахматове летом 1904 года. А Белый вспоминает: «...были тут смехи; порою С. М. ...изображал громовые пародии „Пиковой Дамы“; ...он пел „деритоном“, в себе совмещая контральто, сопрано, и тенор, и бас; великолепно вырывал он лейт-мотивы трех карт; и гусарил под Томского песню „Однажды в Версале au jeu de la reine“; но

<sup>10</sup> Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 150.

<sup>11</sup> Хопрова Т. А. Музыка в жизни и творчестве А. Блока. С. 24, 37—40.

<sup>12</sup> В опере Герман дважды обращается с просьбой выслушать его и каждый раз увязывает это с условиями своей возможной смерти. Первый раз он поет, обращаясь на «вы»: «Остановитесь, умоляю вас!.. Не уходите же! Оставайтесь! Я сам уйду сейчас и более сюда не возвращусь... Одну минуту!.. Что вам стоит? К вам умирающий взывает». Во второй раз позволяет обращение на «ты»: «Прости небесное создание, что я нарушил твой покой, прости! Но страстно не отвергай признанья, не отвергай с тоской! О, пожалей, я, умирая, несу к тебе мою мольбу...» В письме от 29 января Блок обращается к Л. Д. Менделеевой: «Я должен (мистически или по повелению своего ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению» (Блок Александр. Письма к жене // Лит. наследство. 1978. Т. 89. С. 39). Далее в письмах вплоть до конца октября он на «вы» со своей возлюбленной, но уже в письме от 10 ноября переходит на «ты» (Там же. С. 53—54).

<sup>13</sup> После разрешения высказаться Герман поет своего рода гимн: «Красавица, богиня! Ангел!» Но и Блок завершает свое признанье возгласами гимнического свойства: «...Вы мой Бог, при нем же одним мне и все здешние храмы священны... Вы спасенье и последнее утверждение... Вы — Любовь» (Там же. С. 40). Далее Блок после решительного объяснения с Л. Д. Менделеевой, происшедшего в ночь с 7 на 8 ноября, в письме от 10 ноября начинает свое обращение к ней с высказываний повышенного, гимнического тонуса: «Ты — мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без тебя жить ни здесь, ни там. Ты, Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятия принадлежит тебе...» и т. д. (Там же. С. 53).

<sup>14</sup> Ср.: «Так значит смерти приговор ты произносишь!.. Скажи тогда: умри!.. Прощай! (Герман делает движение, чтобы уйти) — Л и з а: Нет! Живи! — Г е р м а н: Красавица! Богиня! Ангел! Тебя люблю!» Как вспоминает Л. Д. (тогда еще Менделеева), Блок в ночь на 8 ноября, объяснившись в любви, расставаясь, дал ей в руки записку, говоря, что, если бы не ее ответ, «утром бы его уже не было бы в живых» (Там же. С. 55—56). Отнюдь не настаивая на упрощенном понимании намеченного сходства как некоего заимствования или следования образцу, приводим эти примеры главным образом как свидетельства общности моделей поведения обоих лирических героев, их метапсихики.

особенно удавалась роль Германа—Фигнера».<sup>15</sup> Упомянутые выше строки баллады Томского из этой оперы цитируются Блоком в стихотворении «Потеха! Рокочет труба...», которое появилось как следствие весьма знаменательного эпизода в жизни поэта летом 1905 года. Тогда, после взволновавшего всех поступка С. М. Соловьева (странное ночное исчезновение из Шахматова), между ним и Блоком, а отчасти и А. Белым, начался разлад, приведший к утрате всеми троими существовавших прежде братских отношений. А. Белый так описывает эти события: «Я — понимал: меж С. М. и А. А. образовалась роковая преграда, которую воспринимал я „душевною драмой“; я понял еще, что С. М. остается, чтоб точки над ‘i’ были твердо поставлены:

„ — Знай, что отныне — враги мы!”

Впоследствии мне С. М. рассказал, что, когда я уехал, два дня еще оставался он с Блоками; ничего не сказали друг другу они; с остервенением (нестественным) просражались за картами; и С. М. распевал все:

„Три карты, три карты, три карты...”

В А. А. преломились нелепые, сумасшедшие дни пребывания нашего в Шахматове и трехдневное сражение в карты с С. М. Соловьевым строками стихотворения «Потеха! Рокочет труба...», написанного в эти дни; или вскоре же после...»

Далее А. Белый, комментируя отдельные строки из блоковского стихотворения «Потеха! Рокочет труба...», включающие, в частности, цитату из баллады Томского: «Слова, слаще звуков Моцарта», — резюмирует: «Стихотворение живописует судьбу: „Потеха! Рокочет труба, кривляются белые рожи, и видит на флаге прохожий огромную надпись: «Судьба...»».<sup>16</sup>

В этом рассказе А. Белого и в цитируемом стихотворении существенно все: подбор действующих лиц и разлад между ними, приведший к вражде; карточная игра под мотив из оперы Чайковского; разбросанные карты, гадалка (цыганка!) и ее презрительный жест; цитата из той же оперы в отразившем эпизод стихотворении; «ярмарки гул», двойничество и «на флаге» огромная «надпись: „Судьба...»». Дело в том, что, принимая во внимание традиционный комментарий к этому стихотворению, сообщаящий, что оно «тематически и стилистически (романтическая ирония) предвосхищает драму „Балаганчик”»,<sup>17</sup> можно говорить и о том, что весь набор перечисленных элементов в еще более полной мере соотносим и с «Песней Судьбы». Более того, в свете сказанного делается ясным, что события лета 1905 года могли стать своего рода завязкой того образно-психологического узла, который будет раскрыт в этой «драматической поэме». Немного забегаая вперед, ибо все это требует самостоятельного исследования, отметим, что в таком случае в «Песне Судьбы» будет прочитываться то, как сам Блок, С. М. Соловьев и А. Белый, который чуть позже попадет в сложнейшую ситуацию в своих отношениях с Блоком и Любовью Дмитриевной, выводятся в ней под соответствующими именами Германа, Монаха и Друга, за спиной Германа домогающегося Елены.<sup>18</sup> При этом «ярмарка» найдет отражение во «всемирной

<sup>15</sup> Андрей Белый. Воспоминания о Блоке // Андрей Белый. О Блоке / Вступ. статья, сост., подг. текста и комм. А. В. Лаврова. М., 1997. С. 101. В постановке «Пиковой дамы» в Мариинском театре на протяжении многих лет, начиная с премьеры оперы в 1890 году, Н. Н. Фигнер исполнял партию Германа.

<sup>16</sup> Там же. С. 183—184.

<sup>17</sup> Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 632.

<sup>18</sup> Последняя идентификация отнюдь не отменяет традиционного раскрытия прототипа «друга» в облике Г. И. Чулкова (см., например: Пайман А. Ангел и камень: жизнь Александра Блока / Пер. с англ. А. Пайман. М., 2005. С. 226). Она лишь усложняет и без того перенасыщенную многими параллелями многоуровневую структуру смысловых аллюзий пьесы.

ной выставке»; надписи на флаге «Судьба» будет соответствовать афиша «с огромной надписью: Фаина. Песня Судьбы»; все связанное с оперой Чайковского получит там свое особое преломление; и даже намеченное в стихотворении «двойничество» найдет в пьесе свое воплощение.

Последним важнейшим звеном в освоении творческим сознанием Блока мира «Пиковой дамы», вероятно, стало его знакомство с эссе Е. П. Иванова «Всадник. Нечто о городе Петербурге», опубликованным в 1907 году в «Альманахе» («Белые ночи. Петербургский альманах»).<sup>19</sup> Представленная здесь фантастическая цепь ассоциаций включает «Великую Блудницу»<sup>20</sup> и приравненную к ней «красавицу-столицу, Блудницу» — Петербург, «Красавицу Всаднику, сидящую на звере — водах многих» и «Всадника, по-прежнему стоящего с конем своим на вершине, над водами многими» — Медного всадника, в результате чего рождается образ — «Город наш — Великая Дама, Блудница, сидящая на водах многих реки Невы». И завершается все это сначала неожиданным пассажем — «усмехнулась Блудница (город наш), как „Пиковая Дама” Германну», а затем и закрепляющим его смысл риторическим вопросом: «И спрашивая о тайне Великую Блудницу нашу, я боюсь, как бы не произошло бы то же, что мне причудилось в летнюю белую ночь. Как бы Блудница Великая красавица не оказалась бы „Пиковой Дамой”. На игральной-то карте Пиковая Дама — красавица, но вдруг „Пиковая Дама прищурилась и усмехнулась”».<sup>21</sup> И хотя, говоря о «Пиковой Даме», Е. П. Иванов подразумевает пушкинскую повесть и цитирует именно ее, общий контекст повышенного маркирования здесь «петербургской мифологии» явно происходит из одноименной оперы Чайковского.

Таковы, условно говоря, наиболее явные исторические корни связей между «Песней Судьбы» Блока и оперой Чайковского «Пиковая дама». Не менее значительны и существенны взаимодействия между этими произведениями в их структурах и в некоторых оттенках их образно-поэтического строя.<sup>22</sup> Они чрезвычайно разнообразны и прослеживаются на многих уровнях.<sup>23</sup>

Начнем с того, что блоковская пьеса, как и «Пиковая дама» Чайковского, структурирована в семь картин,<sup>24</sup> тогда как другие пьесы Блока либо од-

<sup>19</sup> Блок не мог не воспринимать всерьез это эссе не только по причине того, что Е. П. Иванов был его ближайшим другом и собеседником в это время, но главным образом еще и потому, что сам принимал участие в этом «Альманахе» в качестве автора публикуемых там стихов и как сотворец общей философской концепции «Альманаха», отраженной в этих стихах.

<sup>20</sup> Имеется в виду «Вавилонская Блудница» из Апокалипсиса.

<sup>21</sup> Иванов Е. Всадник. Нечто о городе Петербурге // Белые ночи. Петербургский альманах. СПб., 1907. С. 80—90.

<sup>22</sup> Ограничимся здесь только этими параметрами, так как более широкий ракурс исследования явно выходит за пределы возможностей журнальной публикации. Ср. с условиями, которые были оговорены в свое время при анализе содержания «Балаганчика» Блока Т. М. Родиной, отмечавшей: «Блок хотел сказать „Балаганчиком” только то, что он выразил в самой структуре пьесы, в ее образно-поэтическом строе» (Родина Т. М. Указ. соч. С. 127).

<sup>23</sup> Частично о структурных и образно-смысловых связях «Пиковой дамы» Чайковского и «Песни Судьбы» Блока см.: Фролов С. В. «Пиковая дама» Чайковского: Неучтенная феноменология. С. 260—261.

<sup>24</sup> Возможно, в числе картин 7, как и в числе 77, — числе «дней открытия всемирной выставки», числе выходов «знаменитой Фаины» и числе произнесения Старичком слова «о торжестве человеческого прогресса» — постоянно все «числящим» Блоком заложен какой-то тайный смысл. Возможно также, что этот смысл прояснится, если учесть еще и тройку, упоминаемую в начале и в конце Пятой картины, и тот факт, что числа 77 фигурируют именно в Третьей картине пьесы. Тогда для полного соответствия нумерологии «Пиковой дамы» здесь пока недостает «числений» Туза и Дамы (о значении «числений» в жизни и творчестве Блока см., например: Быстров В. Н. Раннее творчество А. Блока и античная философия // Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 1998. С.10—11).

ноактны, либо делятся на действия, «видения» и сцены. Все семь картин у Чайковского и у Блока перекликаются между собой какими-либо реалиями или условиями, в которых разворачивается действие. В Первой картине оперы действие происходит весной на пленере в Летнем саду — у Блока в ремарке сообщается: «Северный апрель — Вербная Суббота. На холме — белый дом Германа, окруженный молодым садом... Дорожка спускается от калитки и вьется под холмом, среди кустов и молодых березок... На ступенях крыльца, перед большим цветником, над раскрытой книгой с картинками, дремлет Герман...»

События Второй картины оперы проходят вечером и ночью в комнате Лизы («...Дверь на балкон, выходящий в сад») — у Блока обозначена «глухая ночь и тишина», Елена и Монах разговаривают в комнате, в которой открыто большое окно.

Третья картина у Чайковского — празднество в доме богатого вельможи, где в центре внимания любовная «песнь» Князя, представление Интермедии «Искренность пастушки» и впервые один на один столкновение Германа с Графиней. У Блока это тоже праздник — «Семьдесят седьмой день всемирной промышленной выставки. Главное здание выставки — гигантский зал», где «На всех стенах, столбах и машинах красуются разноцветные афиши с огромной надписью: *Фаина. Песня Судьбы*». Кульминацией здесь также служит представление, в котором Фаина исполняет свою «песню»; все завершается первым столкновением Германа с Фаиной.

Как и в опере, в блоковском драматическом «семилистнике» центральной оказывается Четвертая картина. Более того, и в этой картине у Блока просматривается ситуация, сходная с тем, что происходит в Четвертой картине «Пиковой дамы». У Чайковского Герман, которому издевавшиеся прежде над ним друзья предлагали вступить в любовную связь со старухой Графиней, оказывается у нее в спальне и прячется при ее появлении; Графиня, придя со своими приживалками, садится в кресло и, прогнав их, произносит: «Ах, постыл мне белый свет... И не глядела бы...», а затем поет арию из оперы XVIII века; обнаруживающий себя Герман пугает ее. У Блока в артистической уборной Фаины ее ожидают «писатели, художники, музыканты и поэты» — своего рода приживалы; пришедшая Фаина прогоняет их, «садится в кресло» и, оставшись с появляющейся чуть позже Старухой, произносит: «...Ох, устала я, старуха... Так устала... Не глядеть бы глазам моим...»; Старуха ей рассказывает сказку, а Фаина пытается рассказать ей свою сказку; внезапно в момент гадания по зеркалу «на жениха» появляющийся в зеркале влюбленный в Фаину Герман пугает ее.

Пятая картина у Чайковского помечена ремаркой: «...Поздний вечер. Лунный свет то озаряет через окно комнату, то исчезает. Вой ветра»; появляется Призрак Графини, обращающийся к Герману. У Блока тоже: «Широкий пустырь озарен осенней луной... набегают ветер, клонит колючий бурьян, шуршит в крапиве...»; появляется Фаина, вызывающая к Герману.

И только в Шестой и Седьмой картинах параллели между оперой и пьесой несколько размываются. Однако и здесь они все-таки могут быть частично установлены. Так, уход Елены в Шестой картине блоковской «драматической поэмы» лишь с некоторой долей условности может быть соотнесен с «уходом»-самоубийством Лизы. А в Седьмой картине можно обнаружить соотнесение сцен, в которых пребывающий «в бреду» Герман у Блока, прощаясь с Фаиной, обещает ее «найти» и тем самым напоминает ситуацию в опере, где Герман сначала «находит» в карточной пиковой даме Старуху, а затем, умирая, видит, т. е. опять же «находит», Лизу.



Перечень выявленных переключек можно усложнить, углубляя его в деталях<sup>25</sup> и присоединяя к нему дополнительные параллельные линии ассоциаций. Особого внимания среди них в «Песне Судьбы» заслуживают выделяющие ее из всех других пьес Блока многочисленные аллюзии музыкального порядка. Некоторые из них прочитываются в «ансамбле» с «Пиковой дамой» Чайковского. Например, это несколько раз упоминаемое в ремарках Пятой картины звучание «мировых скрипок» — «мирового оркестра», которое знаменует своего рода преобразование Фаины. И хотя прямых ассоциаций с «Пиковой дамой» Чайковского в этих ремарках мы, пожалуй, и не найдем, однако их своеобразная именно «оперная» аллюзивность несомненна.<sup>26</sup> Еще большее значение в этом смысле имеют песни, которые исполняются в пьесе и занимают столь важную роль в ее драматургии, что одна из них — «Песня Судьбы» Фаины — оказалась выведенной в ее заглавие.<sup>27</sup>

Как нам представляется, эта ключевая песня драматической поэмы — «общедоступные куплеты» (авторская ремарка в Третьей картине) или «бесстыжая песня» (по выражению Фаины в Пятой картине) — в определенном смысле по своему содержанию, а в еще большей степени и по конструкции может рассматриваться как своего рода квазицитата. Дело в том, что в указанных свойствах она очень близка «бриндизи» Германа у Чайковского<sup>28</sup> —

<sup>25</sup> См. о некоторых из них: *Фролов С. В.* «Бывают странные сближения»: Чайковский — Блок («Песня Судьбы») // *Поэтика заглавия*. М.; Тверь, 2005. С. 120—127.

<sup>26</sup> В статье Д. М. Магомедовой образ «мирового оркестра» расшифровывается как отражение символа и функции оркестра в «Кольце Нибелунга» Вагнера, где «благодаря своеобразной „космической“ роли оркестра внутренний мир героев, частные явления и события («микрокосмы») при всей их видимой автономности постоянно соотносены со всем мировым целым, со всеми глубинами бытия — с „макрокосмом“...» (*Магомедова Д. М.* О генезисе и значении символа «мирового оркестра» в творчестве А. Блока // *Вестн. Моск. ун-та. Сер. X. Филология*. 1974. № 5. С. 14). В принципе не возражая против подобного прочтения этого образа, позволим себе все же отметить, что параллельно к нему может существовать еще одно его толкование. Речь идет о том, что образный строй и последовательность развертываемой звуковой картины с большой долей уверенности можно соотносить со звучанием знаменитого симфонического вступления к опере М. П. Мусоргского «Хованщина», известного под названием «Рассвет на Москве-реке». В наибольшей степени это заметно в первых двух ремарках, упоминающих «мировой оркестр»: 1) «...Луна бледнеет. Заря. Петухи начинают переключку — все дальше, все дальше. Утренник налетает, шелестя все смелей и вдохновенней. — И медленно возрастая и ширясь, поднимается первая торжественная волна мирового оркестра. Как будто за дирижерским пультом уже встал кто-то, сдерживая до времени страстное волнение мировых скрипок»; 2) «Весь мировой оркестр подхватывает страстные призывы Фаины. Со всех концов земли набегают волны утренних звонов. Разбивая все оковы, прорывая все плотины, торжествует победу страсти все море мировых скрипок...» Особенно важно в сопоставлении нашей трактовки образа «мирового оркестра» с трактовкой Д. М. Магомедовой то, что в музыке Мусоргского действительно изображены упомянутые Блоком крики петухов и утренние колокольные звоны, тогда как у Вагнера ни того, ни другого нет. Отчасти аллюзиями на «Хованщину» можно считать городской пейзаж (сопоставление Кремлевских построек у Мусоргского с руинами у Блока имеет свой смысл) в момент рассвета и пожара (далее сопоставления ведут к параллелям: Спутник—Досифей, Фаина—Марфа и т. д.).

<sup>27</sup> Кстати сказать, пьеса Блока, будучи пронизана пением и песнями, и в этом плане пересекается с «Пиковой дамой» Чайковского, где также несколько преувеличена роль различного рода песенных форм. В Первой картине оперы свои песенки поют дети, и первая из них — с этого начинается опера — традиционная игровая припевка «Гори, гори ясно...», а затем звучит «баллада» Томского; во Второй картине Полина исполняет Романс («Подруги милые...»), девушки поют русскую песню («Ну-ка, светик Машенька...»); в Четвертой — графиня поет «песенку», заимствованную из оперы Гретри; в Пятой картине звучит квазицитата церковного пения; в Седьмой картине Томский поэт (цитирует фривольный текст Державина) свои куплеты («Если б милые девицы...»), картежники исполняют «Игрещкую» песню на слова Пушкина («Так в ненастные дни...») и, наконец, звучит застольная песня («бриндизи») Германа — «Что наша жизнь?..».

<sup>28</sup> Ср. с гипотезой относительно параллелей между «Песней Судьбы» Фаины и «Хабанерой» Кармен из одноименной оперы Бизе (*Хопрова Т. А.* А. Блок и музыка // *Блок и музыка*. Хроника. Нотография. Библиография / Составители Т. Хопрова и М. Дунаевский. Л., 1980. С. 25, 71—72).

застольной песне, которую герой распевает со стаканом вина в конце оперы и в которой также произносит жутковатые, на грани банальности, откровения. В тексте двух куплетов оперной песни иносказательно или напрямую говорится о «судьбе»: в начале каждого куплета обозначены такие символы, как «жизнь» и «смерть», а в общем для них припеве упоминаются «удача», «неудача» и, наконец, собственно «судьба».

Показательна и структура куплетов в обеих песнях. У Блока они записаны в три пары четверостиший. Однако если положить его стихи на мотив «бриндизи» Чайковского,<sup>29</sup> то песня Фаины в условиях нотной записи, как и оперная песня, может быть организована в три семистихья.<sup>30</sup> При этом параллели с «бриндизи» из оперы Чайковского просматриваются не только в структуре «Песни», но даже в отдельных выражениях и на уровне рифм некоторых сопоставимых стихов в обеих песнях, что наиболее очевидно в их первом куплете. Все это позволяет предположить, что если и не прямо по смыслу (о чем, вероятно, еще стоит подумать), то хотя бы по структуре, по мотиву, на который она могла бы петься, «Песня Судьбы» Фаины писалась по модели «бриндизи» Германа.

Для сравнения приведем ниже выписанные параллельно первые куплеты обеих песен, в которых выделены «совпадения»:

**«Бриндизи» Германа**

Что наша жизнь? Игра!  
Добро и зло одни *мечты!*  
Труд, честность, сказки для *бабья!*  
Кто прав, кто счастлив здесь *друзья?*

Сегодня ты, а *завтра!* я!  
Так *бросьте* же борьбу,  
Ловите миг *удачи!*  
Пусть неудачник *плачет,*  
Кляня свою *судьбу!*

**«Песня Судьбы» Фаины**

Когда гляжу в глаза твои  
Глазами узкими *змеи*  
И руку жму, *любя,*  
Эй, берегись! Я вся — *змея!*

Смотри: я миг была *твоя,*  
И *бросила* тебя!  
Ты мне постыл!  
Иди же *прочь!*  
С другим я буду эту *ночь!*

Думается, что рассмотренные выше структурные и смысловые пересечения между «Пиковой дамой» Чайковского и «Песней Судьбы» Блока могут служить важнейшими знаками, указывающими на глубинные образно-смысловые — «мифопоэтические» — связи между двумя этими произведениями. Более того, думается, что выявленные благодаря этому новые смысловые подтексты заставляют пересмотреть некоторые общие места в оценке «Песни Судьбы» и в понимании ее содержания и значения.

Рассмотрим прежде всего главные мотивы поведения героев и содержательные узлы в этой песне, главным образом в контексте положения, высказанного Блоком в известном письме К. С. Станиславскому. Блок писал в декабре 1908 года: «...стоит передо мной моя *тема о России* (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно *посвящаю жизнь*. Все ярче сознаю, что это первейший вопрос, самый жизненный, самый *реальный*».<sup>31</sup> Согласно этой установке, принято считать, что «действие драмы основано на том, что интеллигент Герман слышит голос „стихий“, песню судьбы, которая зовет его бросить дом, оставить прежнюю

<sup>29</sup> А это с небольшой корректировкой сделать вполне возможно, и свою «Песню Судьбы» Фаина вполне могла спеть и на этот мотив из «Пиковой дамы» Чайковского.

<sup>30</sup> Не скрыт ли в этой «семерке» опять же некий тайный смысл блоковского «числения», спрятанного от «постороннего», профанного взгляда?

<sup>31</sup> Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 265.

любовь, прежние „культурные” занятия и отправиться в долгий путь на поиски России (Фаины)».<sup>32</sup> Общий смысл пьесы сводится к формуле: «Непосредственно связанная с кругом размышлений Блока о России и ее исторических судьбах, драма рассматривала тему русской революции, выделяя из множества ее граней один, но крайне существенный конфликт: между народом и интеллигенцией (революция и культура)».<sup>33</sup>

Подобная точка зрения, очевидно, начала складываться еще в начальный период работы Блока над этой его «драматической поэмой». Подтверждение этому можно увидеть в том, что писал по ее поводу С. М. Городецкий в 1908 году. Он также переносил на «Песню Судьбы» идею осмысления темы «Россия и интеллигенция»,<sup>34</sup> которую Блок обозначил не только в цитированном письме Станиславскому, но и в своем докладе, прочитанном 13 ноября 1908 года в Религиозно-философском обществе. С. М. Городецкий определял цель автора пьесы как установление в ней равенств: «Фаина=Россия. Спутник=Самодержавие. Герман=Современный герой». Однако подобная схема не совсем соответствовала тому, что происходило на самом деле у Блока, и Городецкий, давая пьесе отрицательную оценку, добавлял: «Если бы автору удавалось всегда на одной высоте держать достоверность этих знаков равенства, мы, действительно, имели бы национальное произведение, гордость народа...»<sup>35</sup> Осознавая, что содержание блоковской драмы никак не сводится к установлению искомым им равенств, Городецкий вынужден был резюмировать в неподписанной хроникальной заметке о 9-й книге альманаха «Шиповник» (Золотое руно. 1909. № 7—9): «...смысл, предлагаемый автором пьесы, не дается непосредственно ее содержанием. Пьеса возбуждает недоумение».<sup>36</sup>

Несмотря на всю парадоксальность подобного суждения, оно и по сей день прилагается к ситуации с пониманием содержания блоковской «Песни Судьбы»: «смысл», который в ней ищут, «не дается... ее содержанием». Следствием всего этого стали многие негативные оценки этой пьесы, преобладающие в литературе о ней,<sup>37</sup> и некоторая ее недооценка.

Думается, что, принимая во внимание иные точки зрения,<sup>38</sup> стоит несколько изменить подход к этой пьесе; не искать в ней того, что «не дается...

<sup>32</sup> Родина Т. М. Указ. соч. С. 177.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> См. об этом в письмах и в комментариях к публикации переписки А. А. Блока с А. А. и С. М. Городецкими (Лит. наследство. 1981. Т. 2. Кн. 2. С. 36—39).

<sup>35</sup> Городецкий С. М. Первопутек // Лебедь. 1908. № 3. С. 36.

<sup>36</sup> Цит. по: Переписка с А. А. и С. М. Городецкими // Лит. наследство. Т. 2. Кн. 2. С. 39.

<sup>37</sup> См., например, следующие «приговоры»: «...Итогом работы над драмой был столь сокрушительный художественный провал, какого Блок не испытывал, вероятно, за всю свою творческую жизнь» (Громов П. Блок, его предшественники и современники. Л., 1966. С. 312); «...„Песня Судьбы”, драма, обращенная к современности, оказалась внутренне противоречивым произведением, лишенным художественной цельности» (Федоров А. В. Ал. Блок — драматург. Л., 1980. С. 163); «...Потерпев творческую неудачу в попытке соединить биографический и национальный миф в драме («Песня Судьбы»). — С. Ф.), Блок сумел осуществить этот синтез в лирике, в цикле „На поле Куликовом” (1908)» (Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. С. 36) и т. д.

<sup>38</sup> О. Ю. Неволлина в своей статье «Драматургия А. А. Блока и традиции русской классической литературы» пишет: «...существеннейшие этапы духовной эволюции Блока отмечены особой интенсивностью и напряженностью именно театральных исканий, как бы находят в них особую яркость выражения. Более того, как предполагает Ю. К. Герасимов, драмы Блока являются своего рода узлами, стягивающими сквозные нити его лирики. Драмы суть завершающие фазы в поэтическом движении Блока и представляют собой, по мнению исследователя, неотъемлемую часть его „трилогии вочеловечения”. Театр Блока — это проблема „крайне запутанная”, которую, по словам П. Громова, „требуется прояснить”» (Александр Блок и мировая культура: Материалы научной конференции 14—17 марта 2000 г. Великий Новгород, 2000. С. 217).

ее содержанием», а постараться подобрать к ней ключ, «непосредственно» соответствующий ее смыслу. В поисках подобного ключа обратимся к высказываниям того человека, которого сам Блок назвал в записных книжках в числе четырех людей, обозначенных им как «близь души», — А. Белого.<sup>39</sup>

А. Белый писал о ситуации 1908 года в жизни Блока: «Помню: последнее письмо от А. А. — получил в марте я; письмо было проникнуто грустью; А. А. проживал совершенно один, потому что жена его уехала с Мейерхольдом в провинцию — в труппе; А. А. писал мне: он — один; и работает над „Песнью Судьбы“. Мне думалось: тема *Судьбы* была тем, с чем несчастно столкнулся он». <sup>40</sup> Вот здесь, как нам представляется, как раз и лежит ключ к этой пьесе Блока. Ее смысл надо прежде всего искать в осмыслении Блоком своей собственной судьбы. В таком случае содержательные мотивы, восходящие к «Пиковой даме» как Чайковского, так и Пушкина, по отдельности ли или в сложном синтезе образно-смысловых элементов этих столь разных произведений, станут одним из важнейших контекстных условий к прочтению многих основных коллизий в характерах и поступках ее персонажей, к раскрытию содержательности ее целостной драматургии. Вместе с тем такое прочтение поведет за собой все новые и новые ассоциативные связи, выявляя в этом более чем непростом сочинении удивительные глубины структурной, смысловой и психологической сопряженности едва ли не со всей русской культурой XIX—начала XX века.

В качестве примера попробуем рассмотреть схему намечающегося движения в раскрытии образных мифопоэтических связей в персонах Германа и Фаины в «Песне Судьбы». Чайковско-пушкинские аллюзии здесь обнаруживают невероятно сложную и многоуровневую образно-психологическую амальгаму, в которой особенно показательны условия двойничества. Так, например, во внешности блоковского Германа — «статный, русый, дивные серые очи!», <sup>41</sup> — несомненно, должен бы угадываться сам Блок со всеми его «аполлиническими» чертами: «высокий или выше среднего рост» с позой и маской античной статуарности, с «медальной профильностью» и т. д. и т. п. <sup>42</sup> В какой-то мере этой внешности соответствует облик оперного Германа в трактовке первого своего исполнителя и тогдашнего кумира публики — Н. Фигнера. И очень кстати оказываются упомянутые выше воспоминания А. Белого о том, что в 1904 году С. М. Соловьеву, певшему своим «деритонном» в Шахматове фрагменты из оперы Чайковского, «особенно удавалась роль Германа—Фигнера».

Вместе с тем, следуя найденному «ключу», мы должны ощутить беспокойное стремление проверить облик блоковского героя и через характеристику его пушкинского прототипа. Тогда нужно будет вспомнить, что его Германн имел внешнее сходство с Наполеоном. И тут приходят на память слова А. Белого о том, каким он представлял себе Блока до личной встречи с ним. Это должен был быть человек «с фигурой малого роста, с болезненным, белым, тяжелым лицом, — коренастою, с небольшими ногами, в одежде, не сшитой отлично, с зажатыми тонкими, небольшими губами и с фарфоровым взглядом». <sup>43</sup> Вот почти дубликат наполеоновского облика. Доба-

<sup>39</sup> См. запись от 28 июня 1916 года (Блок А. А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 309).

<sup>40</sup> Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. С. 319.

<sup>41</sup> Такими словами характеризует Германа Фаина, призывая его как своего «жениха» в Пятой картине.

<sup>42</sup> См. об этом подробнее в кн.: Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы // Избр. труды. СПб., 2003. С. 130—132.

<sup>43</sup> Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. С. 58—59.

вим, что, согласно шутливому описанию Томского, у пушкинского Германа «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля» и «на его совести по крайней мере три злодея». К тому же оба образа — «Аполлона» и наполеоноподобного злодея — неожиданно сливаются в характеристике оперного Германа, произнесенной Лизой: «Ангел падший». В каком-то смысле в своем соединении все эти черты вызывают в памяти еще одного героя, выходящего уже за пределы затрагиваемых произведений, но весьма актуального в общей блоковской мифопоэтике, — Н. В. Ставрогина.

«Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца... Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многие говорили, между прочим, и о его чрезвычайной телесной силе. Росту он был почти выскокого».<sup>44</sup>

Эти «странные сближения» со Ставрогиным могут быть продолжены в интерпретации взаимоотношений между Германом и Фаиной: удар бича по лицу становится аналогом полученной Ставрогиным пощечины; призыв Фаины к Герману с обращением: «Князь!», затем опознание ею в Германе «иного» героя: «Нет, ты — не тот...» — почти цитата из сцены Ставрогина с Марьей Тимофеевной (хромоножкой).<sup>45</sup>

Таким образом, обнаруживается еще один план и в образе Фаины, расширяя известную ее способность к многомирию<sup>46</sup> и продолжая, вероятно, бесконечную череду предначертанных Блоком возможностей специфических превращений ее облика (в сознании читателя, зрителя, актрисы), из которых в заключение упомянем лишь одно. Речь идет о пересечении увиденного пушкинским Германом в спальне Графини с тем, что происходило в «уборной» Фаины в Четвертой картине. Сначала пушкинский Герман видит изображение графини на портрете — «молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах». Затем она — «ужасна и безобразна» — является сама, и он делается «свидетелем отвратительных таинств ее туалета». Перед блоковским Германом в «уборной» также предстает некое двойничество Фаины, только оно персонафицировано в две личности: красавице Фаине противопоставлена служащая ей «старая старуха». Столь явные параллели между Фаиной и Графиней в Четвертой картине имеют системный характер, намеченный еще в Первой картине пьесы вестью о Фаине и о исполняемой ею «песне самой судьбы» — аналогом появления Графини и рассказа о ней и трех картах в Первой картине оперы — и венчаемый упомянутыми выше аналогичными сценами их явлений в Пятой картине обеих пьес.<sup>47</sup>

Наметив этими примерами путь к исследованию мифопоэтического словаря «Песни Судьбы», подчеркнем, что подобное прочтение несколько не умаляет всего прежде наработанного комплекса представлений относительно ее образного мира. Выявленные пласты содержательности лишь добавляют особый план, выводящий на новую проблематику раскрытия в пьесе характеров главных действующих лиц и трагической судьбы ее автора, предпола-

<sup>44</sup> Достоевский Ф. М. Бесы // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 37.

<sup>45</sup> Там же. С. 215—219. Возможно, что именно этот удивительный сплав образности Германа пушкинской повести, оперного Германа, Ставрогина и представлений о внешности самого Блока будет прочитываться далее в описании героя романа А. Белого «Петербург».

<sup>46</sup> Сложный генетически код образа Фаины подробно раскрыт в ряде исследований. См., например: Приходько И. С. Указ. соч. С. 42—43; Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. С. 33—39; Любимова О. Е. Блок и сектанство: «Песня Судьбы», «Роза и Крест» // Александр Блок: Исследования и материалы. С. 71—75 и т. п.

<sup>47</sup> Вот где откликнулась развернутая когда-то Е. П. Ивановым цепь аллюзий: «Великая Блудница», «Красавица Всадница», «Великая Дама», «Пиковая Дама».

гающий усилить автобиографическую линию в толковании этого незаслуженно игнорируемого в отечественном театральном мире произведения.<sup>48</sup> Усложняя за счет привлечения внимания к образному миру оперы Чайковского и сопутствующих ей аллюзий систему смысловых переключек блоковской пьесы с пушкинской повестью и создавая тем самым особый содержательный сплав пушкинско-чайковских ассоциаций, мы предполагаем тем самым, с одной стороны, наиболее полно выявить и обосновать очевидные связи и параллели между «Пиковой дамой» и «Песней Судьбы», а с другой — приблизиться к пониманию всей сложности художественно-этического мира Блока. К тому же сам факт постоянного наличия в каждой картине «Песни Судьбы» образно-смысловых параллелей с «Пиковой дамой» Чайковского—Пушкина позволяет сделать предположение о ее роли как особой скрытой сюжетной линии — своего рода потаенной «скрепы» в драматургии блоковской пьесы, — того важнейшего звена, которое в принципе снимает с нее стандартные обвинения в том, что она оказалась внутренне противоречивым произведением, лишенным художественной цельности.

---

<sup>48</sup> Чрезвычайно важным, ярким и научно доказательным, а потому и принципиально актуальным в нашем контексте образцом подобного рода подхода к изучению творчества Блока может служить исследование: *Пайман А. Указ. соч.*

## ПУТЬ ИНДРЫ. ВОПЛОЩЕНИЕ МИФА В РОМАНЕ НАБОКОВА «ПОДВИГ»

Мифологическая основа романа «Подвиг» не раз являлась предметом исследования в набоковедении. Автор книги «Эшафот в хрустальном дворце: о русских романах В. Набокова» Н. Букс находит, что скрытый смысл романа раскрывается «на перекрестке» биографической и мифологической литературных форм, что соотносимо с многозначностью слова «подвиг», послужившего названием произведения. Тема героического развивается в сюжете биографического повествования, тема путешествия воплощается в «мифологической поэме». Н. Букс обозначает особенности мифологического героя, мифологического пространства, мифологического сюжета и убедительно развивает гипотезу о том, что текст Набокова моделируется по образцам «Одиссеи» и «Энеиды» — двух канонических произведений о странствующем герое.<sup>1</sup>

Однако не менее убедительны доводы и предположения О. Дарка; он считает, что среди мифологических параллелей «Подвига» наиболее очевидны средневековые легенды, поэмы и повести: «Мартын соотносится не только с Тристаном... но и с Парцифалем, центральным героем сюжета о поисках святой чаши Грааля (Мартын — «искатель», этим исчерпывается его образ: избавитель, героического деяния, России, освобождения от власти рока)».<sup>2</sup>

Можно согласиться и с концепцией А. Долинина, в которой среди наиболее существенных для романа названы «русские тематические аналоги: прежде всего фольклор (волшебные сказки, былины, духовные стихи) и его отражения в поэзии Пушкина... а также лирика и биографические легенды Лермонтова, Баратынского, Блока, Гумилева...».<sup>3</sup>

О связи романа «Подвиг» с русской волшебной сказкой писала еще в 1977 году и Эдит Хэйбер. Повествование Набокова о том, как Мартын пытается заслужить Сонину любовь, по ее наблюдениям, отсылает к известной русской сказке «Волшебное кольцо».<sup>4</sup>

А. Долинин видит в основе организации романа принцип множественного тематического параллелизма, «когда повествование отсылает нас к целому ряду мифологических и литературных претекстов, которые связаны с ним (и между собой) общей темой (пути. — О. Д.)».<sup>5</sup>

Тематическая связанность и «однонаправленность» претекстов — адресатов и уподоблений — позволяет увидеть в композиционной и семантиче-

<sup>1</sup> Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце: о русских романах В. Набокова. М., 1998. С. 57—87.

<sup>2</sup> Дарк О. Примечания // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 441. Далее ссылки на этот том в тексте.

<sup>3</sup> Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина: от «Соглядатая» к «Отчаянию» // Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 3. С. 26.

<sup>4</sup> Haber E. Nabokov's Glory and Fairy Tale // Slavic and East European Journal. 21, 2 (1977). P. 214—224.

<sup>5</sup> Долинин А. Указ. соч. С. 26.

ской основе романа Набокова единую морфологическую структуру, свойственную архаическим мифам о странствии-поиске, посвятительских испытаниях и «претворении» героя.

Рассматривая сходства и различия мифа и волшебной сказки, мифа и героического эпоса, мифа и литературной формы, ориентированной на мифопоэтическую модель мира, исследователи философии и поэтики мифа пришли к утверждению: эпическое сказание, баллада, волшебная сказка, роман-биография или «роман воспитания» могут сохранять и структуру, и значение мифа,<sup>6</sup> но «путь» героя-неофита, проходящего ряд инициаций, прежде чем добиться своей цели, пролегает уже не на прежнем (свойственном лишь мифу) «уровне посвящения».<sup>7</sup>

Рассказывая в письме к Глебу Струве о своей работе над романом «Подвиг», Набоков писал, что, по его замыслу, это должен быть «грандиозный по своим размерам и оптимизму роман (...) Он протекает в России, Греции, Швейцарии, Англии, Франции и Германии, не говоря уже о Терра Инкогнита».<sup>8</sup> Представляется, что «грандиозность размеров» и «оптимизм» романа Набокова связаны с определенным внутренним замыслом «Подвига». От десакрализации — «вырождения» мифа, типологически характерного для любой из упомянутых художественных форм, — повествование восходит к реальности мифа — его воплощению. «Воплощение» — один из первоначальных вариантов названия романа Набокова.

В родословной героя «Подвига» скрещиваются два рода: Эдельвейсов и Индриковых. Выбирая предкам Мартына такие фамилии, Набоков метафорически актуализирует известный фольклорно-этнографический мотив и наделяет героя «чудесным происхождением», что возлагает на него соответствующую миссию. В архаических мифах и генеалогически связанных с ними волшебных сказках герой может иметь чудесное происхождение, если ведет свой род от мифического прапредка животного-тотема или растения-тотема. Чудесные силы рода помогают ему в достижении значимой для родового сообщества цели, на пути к которой он совершает подвиги.

Однако род Эдельвейсов, представленный дедом и отцом, уже в начале романа «дискредитирован». Эдельвейс (от нем. *edel* — «благородный» и *weiß* — «белый», как атрибут духовного целомудрия и чистоты, второе значение *weiß* — «знаю») — белый альпийский цветок, обычно символизировавший стойкости, храбрости и чистоту. Родовая «стойкость» буквализируется в «крепости храбрых дедушкиных поз» (с. 155) на фотографиях; «храбрость» травестирована в детали «кинжал с ноготок» (с. 155), один из жилетных брелоков деда, и явлена как дистантное, а не внутреннее качество отца в «великолепной коллекции оружия» (с. 155) — дань воинскому духу предков. «Чистота» иронически «переведена» во внешнюю характеристику: и дед, и отец в воспоминании сына — «белы» и «в белом». Тот факт, что отец «врачевал кожные болезни» (с. 156) и, следовательно, благородство и чистота помыслов ему были не чужды, не акцентирован в тексте романа. Также вскользь в речи повествователя упоминается о достоинстве и силе воли Сергея Эдельвейса: внутренний запрет на чрезмерное выражение чувств нарушен им лишь однажды (удар по клавишам рояля во время последнего разговора о разезде). Таким образом, «ослабив» род Эдельвейсов, Набоков исключает возможность влияния и наследования героем «чудесного» родового

<sup>6</sup> Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 262; Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 118—130.

<sup>7</sup> Элиаде М. Трактат по истории религии: В 2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 359.

<sup>8</sup> Набоков В. Письмо Г. П. Струве. 12 сентября 1930 // Долинин А. Указ. соч. С. 19.



знания, ибо оно утрачено. Тем сильнее определяет сущность Мартына материнская линия рода Индриковых.

По сравнению с пассивным, духовно ленивым отцом, представленным в романе статуарно, лишенным движения, мать Мартына полна энергии. Ее поведенческий портрет максимально активен: она «ловко играла в теннис», «отмахивала пешком... любимый путь», «осенью много каталась на... велосипеде», «слыла англоманкой» (с. 156) и активно поддерживала эту славу, и самое главное, Софья Дмитриевна «ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты» (с. 159) любила сына.

Она воспитывала в нем защитника, героя: возвела в культ отвагу и храбрость. Дух рыцарства питал существование Мартына в детстве и юности. Нелюбовь к уменьшительным сюсюкающим словам и нравоучениям, внутренний запрет на чрезмерное выражение чувств, благородство и жажда славы, чрезвычайно развитое самолюбие, не позволяющее поступать недостойно, — все это было связано с «образцами», ожившими в первых книгах на английском и обретшими имя в странствиях Артуровых рыцарей, поединках сэра Тристрама и приключениях Синдбада. Но ревностная любовь к сыну неосознанно побуждала Софью Дмитриевну утаивать всякое знание, каким-либо образом связанное с «волшебным происхождением» (с. 158) фамилии бабки — Индриковой. Русские сказки, песни, загадки, сохранившие архетипы древних мифов, были способны стать источником всего субстанционального, определяющего призвание и судьбу Мартына. Поэтому русский фольклор под внешним предлогом был табуирован матерью.

Стремление уберечь сына явлено и в размышлениях и доводах, с помощью которых Софья Дмитриевна убеждает себя не отправлять Мартына на гражданскую войну: «Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет... если бы гимназию ты уже кончил и если б меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан...» (с. 161). Желание любой ценой оградить, спасти сына от предназначенного ему пути лишь подчеркивает неотвратимость и перспективу подвига героя.

Мать последовательно и настойчиво задавала «направление» пути сына: Мартын вступает на путь «иностранной складки» (с. 295) — это путь Эдельвейса, почти без учета «волшебного происхождения» фамилии бабки. И он осуществляет этот путь, пока не осознает необходимость вырваться из области становления, лишнего смысла. Отсутствие смысла подобного рода становления подтверждает история жизни Дарвина. Воин, творец, идеальный влюбленный, рыцарь-наставник, «посвятивший» Мартына в кембриджское братство, превращается в одного из многих самодовольных, живущих «твердой, основательной жизнью» европейцев, разучившихся «волноваться». После тревог и поисков молодости он «вышел на гладко мощеную дорогу» (с. 294), т. е. утратил свой путь — «витую тропинку» — и, следовательно, самого себя. «Все как по писаному» (с. 284), — говорит об этом Соня.

Существование Мартына совмещает две параллельные сферы: сферу времени, становления, иллюзии и уровень вечности, реальности, подлинности. Ибо в детстве (без ведома матери) ему открылся другой путь. Она не заметила «соблазнительной тропинки» над кроватью сына в акварельной картине бабушки и не предположила, что чувство «волнения», которое она в нем развивала, напитывая очарованием сказок и легенд, и «нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения» (с. 157), связаны не только с ежевечерним ритуалом чтения.

На первый взгляд кажется, что эта картина — лишь иллюстрация одной из сказок, дающая возможность продолжить ее в воображении, предста-

вив героем себя. Однако Набоков подчеркивает, что авторство акварели принадлежит бабушке, «рожденной Индриковой» (с. 158).

Бабушкина акварель представляется знаком магической эманации мифического прошлого, того времени, когда «дивные звери (подразумеваются индрики. — О. Д.) рыскали... по нашей земле» (с. 157).

Этнографы, психологи, историки религии, занимающиеся исследованиями архаической мифологии, подчеркивая сходство детского мышления с мышлением мифологическим, выделили в числе их общих свойств диффузность и пространственно-временной синкретизм, которые проявляются в неотчетливом разделении материального и идеального, т. е. предмета и знака, вещи и слова, вещи и ее атрибутов, существа и его имени, пространственно-временных отношений. Диффузность и пространственно-временной синкретизм рождают особое представление о мире: окружающий мир изоморфен, «текуч», и в нем ничего нельзя объявить невозможным. Возможно и то, что в детстве Мартын «однажды прыгнул в картину» и оказался в зеленых сумерках густого леса на излучах витой тропинки бабушкиной акварели. Интересно, что «лес» воспринимается героем как «родное» пространство: он «босиком бежал», вдыхая «странный темный воздух, полный сказочных возможностей» (с. 158). Так, художественным образом, устанавливается связь, которая в научной этнографической терминологии называется «законом партиципации».<sup>9</sup>

И бабушка, и внук, и мать (несмотря на англоманию и нелюбовь к русскому фольклору) причастны друг другу в имени — Индриковы. С именем связано «чудесное» родовое знание, обрести которое предстоит Мартыну как потомку мифического прапредка. В этом пути у героя нет помощников и наставников, ибо в мифах и архаическом фольклоре, морфологическая структура которых «возрождается» в тексте, представительницы женской линии рода «не посвящены» и потому не обладают полнотой знания.

Но Набоков последователен: метафорически наделив Мартына «чудесным происхождением», также метафорически он наделяет его «магическими способностями», обязательными для героя. Одна из них — открытость сакральному: способность видеть, чувствовать, воспринимать сакральное в профанном (предмете, пейзаже, поступке, существе или игре) и выходить за пределы профанного, не разрывая с ним связи окончательно.

От рождения эта способность присуща Мартыну и потому не может быть отрефлексирована и осознана им. Однако в таинство совпадения сакрального и профанного, бытия и небытия, абсолютного и относительного Набоков «посвящает» читателя. «Посвящение» происходит на разных текстовых уровнях. Например, в иерофании пейзажа.

М. Элиаде определяет иерофанию в широком смысле данного термина как «нечто, являющее нам сакральное». Предмет, явление становятся священными в той мере, в какой они заключают в себе, обнаруживают нечто иное, не то, что есть они сами, или превращаются в иерофании в тот момент, когда перестают быть обыкновенными предметами и входят в новое сакральное «измерение».<sup>10</sup>

После известия о смерти отца Мартын «долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе, — и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, — что отец его рядом, спереди, позади, вот за этим кедром, вон на том покато лугу, близко, далеко, повсюду» (с. 160).

<sup>9</sup> Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937. С. 74.

<sup>10</sup> Элиаде М. Указ. соч. Т. 2. С. 21.

Далее Набоков вводит читателя в пейзаж, живописность, пластика и неповторимость конкретных предметов в котором убеждают в их безусловном онтологическом статусе и невозможности истолкования в качестве «знаков». Даже «бабочка-парусник» как символ не имманентна тексту — знание и страсть к энтомологии не свойственны герою. Тем не менее пейзаж иерофаничен.

«Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушкетерской жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводья пунцовым, словно покрашенным клювом. С миндальных деревьев облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в пряниках. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна-единственная березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух, тени кипарисов, — старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, — зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвоей, зубчатый Ай-Петри, — все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец» (с. 160).

Каким образом пейзаж обретает «сакральное измерение» и становится иерофанией?

Любовь Мартына, обращенная к отцу, в полной мере не отданная, и печаль утраты заставляют утраченное вновь и вновь возвращаться. Кажется, что погруженный в печаль Мартын ограничен своим уединением и замкнут в нем. Но он не «один». Он ощущает живое присутствие отца во всем, что его окружает. Ответная любовь отца иерофанически явлена в особом ритме теней и блеска, взаимопроникновенности земного и небесного, в поэтической образности и композиции пейзажа. Она не утоляет печали, но претворяет ее в чувство «мучительного блаженства». Исчезает «граница между вечностью и веществом».<sup>11</sup> Герою и читателю открывается сосуществование двух противоположных сущностей: сакрального и профанного, духа и материи, вечного и тленного.

Этот прорыв в онтологическом уровне оказывается возможен не только благодаря устремленности и силе любви Мартына. Но и потому, что он наделен особым даром открытости сакральному.

Понять природу этого дара помогает «поэтизирующее» философствование М. Хайдеггера. В цикле статей, посвященных толкованию стихотворений Гельдерлина, он пишет: «То, что человек что-то осуществляет и эксплуатирует, добыто и заслужено его собственными усилиями. „И все ж“ ... все это не затрагивает сущности проживания его на этой земле, все это не достигает до основы человеческого пребывания. А оно в основе своей — „поэтическое“. (...) „Проживать поэтически“ — значит пребывать в присутствии богов и быть затронутым близостью сути вещей. Пребывание в основе своей — „поэтическое“; это означает, что оно как учрежденное (основанное) — не заслуга, а дар».<sup>12</sup> Но редко этот дар востребован человеком. Открытость сакральному — «поэтическое проживание» — в реальности оказывается уделом избранных, сохранивших «чистое сердце».

<sup>11</sup> Набоков В. Стихотворения и поэмы. М., 1991. С. 270.

<sup>12</sup> Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность поэзии // Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб., 2003. С. 83.

Хайдеггер замечает: «„Чистое сердце“ понимается здесь не в „нравственном“ смысле. Это выражение именуется характер отношения к „всеприсутствующей“ природе, способ соответствия ей».<sup>13</sup>

Герой Набокова и есть избранник с «чистым сердцем». Его отношение к природе определяет то особое «ощущение Бога», которое сумела передать ему мать: «Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божиим... Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, также бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе» (с. 161—162).

Далекое и близкое, тронутое величием и ничтожное, прекрасное и безобразное в природе явлено восприятию Мартына вне иерархии, уравнено во взгляде как формы бытия, открывающегося в своей множественности в виде отдельных сущих. Поэтому пейзаж не имеет никакого центра, вещи абсолютно равноценны. Изначальным является бытие, пронизанное «ощущением Бога». И сам Мартын — особая форма бытия, родственная всем остальным. Его понимание окружающей природы, «вписанность» в пейзаж, в терминологии Хайдеггера, предстают как разновидности «встречи различных равноправных и в этом смысле независимых друг от друга форм бытия».<sup>14</sup>

Это понимание осуществляется постепенно. Стадийный характер подчеркивается Набоковым поэтически: вначале ритмически повторяются однородные синтаксические конструкции — предложения с деепричастными и сравнительными оборотами, — но далее внутри предложений организуются метрические фрагменты — ритм становится тотальным. Набоков доводит «прозрачность прозы до ямба и затем преодолевает его»<sup>15</sup> — таким образом отменяется «граница между вечностью и веществом»<sup>16</sup> на уровне литературного языка.

Отдельные вещи — составляющие пейзажа — воспринимаются Мартыном в поэтических образах: «миндальные деревца» ассоциируются с образами детства — «миндали в пряниках», в одной-единственной березке, застывшей среди «ливанских кедров», явлено сестринское славянское начало. Южные вечнозеленые кипарисы аллюзивно связаны с античностью. Однако в пейзаже Воронцовского парка «тени кипарисов, — старых, с рыжинкой, с мелкими шипками, спрятанными за пазухой», — делают похожим этот образ на персонажей русского сказочного фольклора особого типа — леших или другую «лесную нечистую силу».

«Поэтизировать — значит находить»,<sup>17</sup> — утверждает Хайдеггер. Герой и читатель обнаруживают родственность отдельных вещей и явлений в плане земного, становящегося. Но «чистое сердце» Мартына, его открытость сакральному позволяют пережить опыт мистического единения: когда открывается родственность всего сущего. Сакральное являет себя иерофантически. И Мартын как особая форма бытия становится его проводником — тем экстатическим местом «встречи», где трансценденция проявляется во всей чистоте и незамутненности, где «бытие выступает из потаенности в своей тайне».<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Там же. С. 149.

<sup>14</sup> Мартин Хайдеггер: Сб. статей / Сост. Д. Ю. Дорофеев. СПб., 2004. С. 112.

<sup>15</sup> Набоков В. Дар. М., 1990. С. 87.

<sup>16</sup> Набоков В. Стихотворения и поэмы. С. 270.

<sup>17</sup> Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. С. 29.

<sup>18</sup> Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. С. 62.

Пейзаж Воронцовского парка, как и другие «пронзительные» пейзажи — иерофании Набокова, — это попытка явить таинство соединения человека и Бога, «образ чуда воплощения».<sup>19</sup> Типологически они близки и хайдеггеровскому «просвету бытия», и откровениям средневековых мистиков, в проповедях которых указан путь к трансценденции: любовь и отрешенность от суеты мира. Любовь влечет человека к Богу, отрешенность «спасает Бога, позволяя ему проявить себя»<sup>20</sup> через человека.

Однако мистическое единение связано и с «готовностью» человека: он должен научиться «оставлять себя», «снимать одежды всякой самости».<sup>21</sup>

В романе «Подвиг» не так много иерофаничных пейзажей. Несмотря на открытость героя сакральному, он не всегда «готов» к мистическому единению. Ребенком Мартын не раз ощущал «невynosимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить» (с. 168), в отрочестве это ощущение еще живет в нем, но в юности оно ослабевает.

Интуиция о некоей призванности — еще одно свойство, присущее Мартыну с детства, так же как «магические способности» героя, имеющего «чудесное происхождение». Призвание потомка Индриковых связано с образом витой тропинки в зеленых сумерках густого леса бабушкиной акварели. Этот образ, интерпретированный как знак магической эманации мифического прошлого, в поэтической проекции совпадает с другим образом детства: «в коляске, темной лесной дорогой, совсем маленькой... готовый вот-вот уснуть Мартын откидывал голову, смотря на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл» (с. 188). Если в детстве мифическое родовое прошлое эманационно является, приглашает, «заманивает», то в отрочестве оно призывает, пророчит, велит: «Мартын... подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней — как будто близкое, как будто приподнятое, море с цареградской стезей посередине, лунной стезей, суживающейся к горизонту» (с. 167—168). По В. В. Далю, одно из значений слова «стезя» — «след, признаки прошедшего: *Идти стезею отцов, стезею правды*»;<sup>22</sup> литературные ассоциации связывают значение слова с образом пушкинского Вещего Олега, его деяниями и подвигами: «Победой прославлено имя твое, // Твой щит на вратах Цареграда».<sup>23</sup> В пейзаже Набокова лунный свет, соединяя земное и небесное, указывает путь, который уже освоен мифическим прапредком Мартына — чудесным зверем Индриком.

В «Голубиной книге» Индрик объявлен главой всех зверей. В разных вариантах этого духовного стиха он назван по-разному: Индрик, Вындрих, Белояндрих, Авандрий, Андруг, Единорог, Единор. Исходным является корень «индра». Историки считают, что обозначение царя зверей в качестве единорога является результатом проникновения на Русь представлений об этом мифическом существе. Большинство вариантов русского духовного стиха рисуют Индрика как подземного зверя, тесно связанного с водами и живущего «во святой горе»:

Ходит он по подземелью,  
Пропускает реки, кладези студёные.

<sup>19</sup> Элиаде М. Указ. соч. Т. 2. С. 79.

<sup>20</sup> Дорофеев Д. Ю. Хайдеггер и философская антропология // Мартин Хайдеггер: Сб. статей / Сост. Д. Ю. Дорофеев. С. 384.

<sup>21</sup> Таулер И. Проповеди. СПб., 2000. С. 30.

<sup>22</sup> Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1998. Т. 4. С. 320.

<sup>23</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.,] 1947. Т. 2. С. 244.

Живет он во святой горе,  
 Пьет и ест во святой горе.  
 Куды хочет идет по подземелью,  
 Как солнышко по поднебесью.  
 Потому же у нас Индрик зверь всем зверям отец.<sup>24</sup>

В некоторых случаях Индрик выступает как спаситель людей от засухи, благодаря которому в реках и озерах появляется вода:

Авандрий — зверь всим зверям аец:  
 Ион хадзил па всяму свету беламу,  
 Была на сем свеци засушейца (засуха),  
 Ня была добрым людзям воспитанийца,  
 Воспитанийца, абмыванийца;  
 Ион капал рогом сыру маць зямлю,  
 Выкапал ключи все глыбокии,  
 Даставал воды все кипучи,  
 Ион аускал па быстрым рякам,  
 И па маленькам ручьявиначкам,  
 Па глыбокам бальшим азярам,  
 И он давал людзям воспитанийца,  
 Воспитанийца, абмыванийца:  
 Патаму ж Авандрий зверь всим звярям аец!<sup>25</sup>

В ряде вариантов он предстает как могущественное существо, способное сотрясать землю:

Потому Вындрих зверь всем зверям зверь,  
 Когда он возъиграется,  
 Весь белый свет воскачается...<sup>26</sup>

В «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Н. Афанасьева представлен вариант, совмещающий основные характеристики зверя:

Куда хочет (зверь) — идет по подземелью,  
 Аки солнце по поднебесью,  
 Он происходит все горы белокаменныя,  
 Прочищает ручьи и проточины,  
 Пропускает реки, кладези студеныя:  
 Куда зверь пройдет — тута ключ кипит.  
 Когда этот зверь возыграется,  
 Словно облацы по поднебесью,  
 Вся вселенная (мать-земля под ним) всколыбается.<sup>27</sup>

Еще одной чертой, встречаемой достаточно редко, является то, что Индрик «Богу молится за святую гору».<sup>28</sup>

Особый интерес представляет корень «индра», варьирующийся в имени зверя. В Индии имя Индры носил бог-громовержец, центральный персонаж «Ригведы», чей подвиг — убийство гигантского змея Вритры и освобождение удерживаемых им рек — был воспет в священном сборнике гимнов.

<sup>24</sup> Русские народные песни, собранные П. Киреевским. М., 1848. С. 46.

<sup>25</sup> Сборник духовных стихов, составленный В. Варенцовым. СПб., 1860. С. 233.

<sup>26</sup> Безсонов П. Калики переходже. М., 1861. Вып. 2. С. 296.

<sup>27</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1868. Т. 2. С. 553.

<sup>28</sup> Федотов Г. Стихи духовные. М., 1991. С. 69.

Опираясь на сходство имени и основной совершаемой ими функции — освобождение скрытых мировых вод, исследователь индуизма Н. Р. Гусева<sup>29</sup> предположила возможность генетической связи русского и индийского образов. Благодаря факту полного издания «Ригведы» на русском языке и новому этапу в изучении ведийской мифологии гипотеза Н. Р. Гусевой обрела убедительное доказательство в труде М. Л. Серякова «„Голубиная книга“. Священное сказание русского народа». Одна из глав этой книги посвящена сопоставительному анализу образов Индры-бога и Индры-зверя.<sup>30</sup> Автор пишет о том, что колдовские силы Индры предполагают возможность изменить облик по своему желанию. Самый распространенный животный образ, принимаемый Индрой в «Ригведе», — это бык. Следующий зооморфный образ Индры — баран. В одном из мифов «Ригведы» повествуется о том, что Индра принял образ муравья, дабы пробраться в крепость враждебного демона. Индра в виде лебедя стал восприниматься как спутник освобожденных им божественных вод. В послеведийских мифах Индра принимает образы сокола, змеи, обезьяны. «Последний образ Индры, зафиксированный „Ригведой“ в гимне, авторство которого приписывают Джае, самому сыну бога-громовержца: „Страшный, как зверь, бродящий (неизвестно) где, живущий в горах...“ (X. 180. 2). Так бог, имеющий самый антропоморфный облик по сравнению со всеми богами ведийского пантеона, внезапно оказывается страшным зверем, живущим в горах, что предельно сближает эту его ипостась с Индрой — зверем из „Голубиной книги“. Один из гимнов „Ригведы“ также указывает на причастность Индры в равной степени как небесному, так и подземному миру:

Землю Индра прикрыл себя как оградой.

Самосуций, он несет небо, словно корону (I. 173. 6).<sup>31</sup>

Тождество имени, основной функции, внешнего облика и места обитания не снимает вопроса об отсутствии у зверя Индрика змеевидного противника в русском духовном стихе. Однако Ф. Б. Я. Кейпер в «Трудах по ведийской мифологии»<sup>32</sup> проанализировал различные варианты мифов о возникновении мира в индийской традиции и пришел к выводу, что изначально никакого дракона или змея в качестве противника Индры вообще не существовало. В реконструкции Ф. Б. Я. Кейпера первоначальный миф выглядит так: «Вначале был только маленький холмик, дрейфовавший на поверхности вод. Из него земля стала расширяться во все стороны. Пронзив эту „гору“, заключавшую в себе зачатки всей жизни, Индра одновременно прочно приковал ее ко дну вод. Так как гора находилась в центре космоса, в центральной точке земли, вся земля тем самым стала крепкой и устойчивой. <...> Холм, который все еще плавает на изначальных водах, должен быть расколот до основания и вскрыт. Однако в нем заключена значительная сила сопротивления, и героическая борьба Индры, хотя она описывается как направленная против холма, чаще направлена против той силы, обозначаемой словом „vrtra“ — препятствие, сопротивление. В мифе сила сопротивления олицетворяется драконом или змеем Вритрой, и Индра должен, подобно святому Георгию и другим мифологическим персонажам, убить дракона».<sup>33</sup> Традиция обозначать противостоящую силу в образе змея, а пре-

<sup>29</sup> Гусева Н. Р. Индуизм. М., 1977. С. 81.

<sup>30</sup> Серяков М. Л. «Голубиная книга». Священное сказание русского народа. М., 2001. С. 273—290.

<sup>31</sup> Там же. С. 280.

<sup>32</sup> Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 125.

<sup>33</sup> Там же. С. 29—30.

одоление сопротивления как борьбу с живым и опасным противником существовала не только в Индии. В «Беседе Иерусалимской», дающей прозаический пересказ многих мотивов «Голубиной книги», также представлены образы единорога и противостоящего ему змея: «А зверь зверям мать единорохъ, коли на земли была засуха и в те поры дождя на землю не было, тогда в реках и озерах воды не было толко во едином озере вода была, и лежал великий змий, и не давал людям воды пить, и никакому потечучему зверю, ни птице полетучей, а коли побежит единорохъ воды пить, и змии люты слышит и побежит от зверя того за три дни, и в ту пору запасаются водой люди». <sup>34</sup> Самой битвы между двумя противниками здесь нет, но сила сопротивления горы уже персонифицирована в образе змея, стерегущего мировые воды.

Наблюдение Ф. Б. Я. Кейпера, показывающее первоначальное отсутствие у Индры одушевленного противника, устраняет последнее противоречие и позволяет автору сопоставительного исследования образов Индры отождествить Индру — бога «Ригведы» и Индру (Индрика) — зверя «Голубиной книги».

Двуипостасная природа мифического прапредка Мартына — Индрикова по линии бабушки — не вызывает сомнения. Подвиг, совершенный им *in illo tempore*, призван повторить герой.

Обретение Мартыном подлинного пути в определенной степени сходно с платоновским анамнезисом, «когда вдруг сонная действительность начинает казаться ему иллюзией и неопределенный анамнезис об иной действительности, которой он был причастен в иной жизни, начинает разрушать „единство сознания” и, вопреки всем очевидностям, властно требовать не укрепления сна, а пробуждения». <sup>35</sup>

Вначале Мартын под руководством матери вступает на путь «Эдельвейсов». Жизнь героя с весны девятнадцатого года, когда он с матерью покинул Крым, до окончания Кембриджа и возвращения к матери в дом дяди Генриха в Швейцарии представляет собой цепь ложных инициаций. (Ложных по отношению к призванию, которого он еще не осознал.) В этнологической литературе ей соответствуют два типа обрядов общепринятого в истории религий подразделения: «ритуалы половой зрелости», «племенные инициации» или «инициации возрастных групп», осуществляющих переход от детства или юности; и все виды обрядов посвящения в секретные общества, братства, союзы. Классифицируются эти обряды по принципу: кем был до инициации — кем стал после. Так Мартын становится мужчиной, студентом — членом «кембриджского братства», победителем теннисных турниров, голкипером футбольной команды. Однако М. Элиаде, рассматривая обряды инициации по принципу: что происходит во время ее, — объединяет оба обряда в «возрастные... благодаря которым подростки получают доступ к сакральному знанию, к сексуальности, становятся человеческими существами». Противоположны «возрастным» «„специализированные инициации”, которым подвергаются определенные личности в связи с трансформацией их человеческого состояния. В данном случае происходит творение не человека, а некоего сверхчеловеческого существа, способного общаться с Божествами, Предками или Духами». <sup>36</sup> Такого рода инициация предстоит Мартыну как избраннику — потому Индрикову.

Изображая период взросления героя, Набоков прибегает к известным приемам поэтики мифологизирования: он повторяет и варьирует сюжетные

<sup>34</sup> Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2000. С. 99.

<sup>35</sup> Шестов Л. *Potestas clavium* (власть ключей) // Аверин Б. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб., 2003. С. 67.

<sup>36</sup> Стrogанова Е. Мирча Элиаде // Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 11—12.



фрагменты, пародирующие античные мифологические, средневековые литературные и фольклорные параллели. Так, например, Н. Букс пишет о «пародийной бесконфликтности» любовных треугольников, несколько раз возникающих в романе: «Любовная связь Мартына с Аллой Черносвитовой в Греции — аллюзия на роман Энея с Дидоной, карфагенской царицей».<sup>37</sup> Но их отношения дедрамматизированы: муж Аллы не замечает измены, а Мартын очень быстро забывает ее, увлекшись сначала горничной Марией в Швейцарии, затем официанткой Розой в Англии.

Популярный средневековый сюжет о любви Тристана к Изольде Белорукой пародийно развивается в истории отношений Мартына с Розой, в которой он пытается найти «замену» Соне (об этом не раз писали). В кулачном бою Мартына с Дарвином также явлена пародийная параллель с первым подвигом Тристана. Их братание после поединка — аллюзия на эпизод русской сказки о Еруслане Лазаревиче: его победа над богатырем Иваном и последующая помощь в «добывании» невесты. О. Дарк замечает: «Мартын также попытается отстоять интересы Дарвина-жениха перед Соней, но все произойдет как бы с „обратным“ знаком по отношению к фольклорному сюжету: в поединке побеждает противник, девушка отказывает, заступником выступает соперник» (с. 441).

Несколько раз повторяется сюжет о спортивных соревнованиях, которые являются аллюзиями воинских состязаний средневековых рыцарей или фольклорных богатырей. В личном первенстве в теннис Мартын сначала проигрывал профессионалам, но затем победил одного из лучших швейцарских теннисистов; и как голкипер футбольной «дружины» выстоял, продемонстрировав высокий класс игры в чемпионате Кембриджа.

Герой бессознательно ориентирован на разыгрывание традиционных ролей. Но это путь многих, и уже потому он неподлин. Не случайно его жизнь периода «Крым—Кембридж» сравнивается с экспрессом: «ему [Мартыну] показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой, и в одном были молодые англичане, Дарвин... в другом — Алла с мужем, а не то — крымские друзья, или храпящий дядя Генрих, или Зилановы, Михаил Платонович, с газетой, Соня, тусклым взглядом уставившаяся в окно» (с. 262).

Чтобы обрести свой единственный путь, надо для начала «выйти на станции». Метафора «жизнь—экспресс» преодолевается реализацией: Мартын «едва не упал, спрыгнув на скользящую платформу» (с. 263). Он, наконец, откликнулся на зов «волшебства» — так воспринимается им игра далеких ночных огней на холмах из окна экспресса. Этот поэтический образ трижды повторяется в тексте и жизни Мартына: первоначальное детское впечатление воспоминанием воскресает в Ялте и совпадает с эманационными «заманивающими» образами-знаками — «витой тропинкой», «небесной рекой», «искристой стезей». На пути из Марселя в Швейцарию «волшебство» вновь напоминает о себе. Таким образом «кто-то» или «что-то» стремится нарушить движение «жизни—экспресса». Эта же сила оказывает влияние на выбор науки при поступлении в Кембридж: что-то шептало ему, «что выбор его несвободен, что есть одно, чем он занимается обязан» (с. 198). Интересно, что герой Набокова ищет в науке «волшебный источник живой воды» (с. 196) — такова же цель и мифического зверя Индрика. Создается метафорическая параллель: «волшебным источником» становится для Мартына русская словесность и история.

<sup>37</sup> Букс Н. Указ. соч. С. 78—79.

С образом Индрика связан дважды повторяющийся сюжетный фрагмент восхождения Мартына на гору. Некоторые исследователи находят здесь «испытание смелости героя». <sup>38</sup> Но первый раз он оказался на склоне горы случайно. В последнее каникулярное лето в Швейцарии, во время одной из традиционных утренних прогулок с матерью «Мартын вдруг переменял направление и, покинув тропу, пошел по вереску вверх» (с. 212). Символично, что он покинул тропу (путь), которую указала ему мать.

Герой неосознанно вступает на «тотемический маршрут». Гора в Швейцарии — профанное пространство для непосвященных, в первое восхождение к ним относится и Мартын. Но оно обладает иерофанической структурой сакрального пространства. Набоков придает ему значение «локального тотемического центра», <sup>39</sup> если воспользоваться терминологией Леви-Брюля. «Святая гора» — т. е. священное пространство — место обитания мифического прапредка Индрика. Между горой и чудесным зверем существует связь — партиципация. Леви-Брюль поясняет, что эта интимная связь между тотемическим животным, мифическим предком, от которого все это произошло, и потомками не является географической или случайной. Это жизненная, духовная и священная связь, имеющая огромное значение для первобытного мифологического сознания. «Локальный тотемический центр» — это одновременно и символ, и средство общения по отношению к невидимому и могущественному миру предков и сил, от которых исходит жизнь людей и природы.

На тотемический маршрут первобытные племена вступали, чувствуя необходимость восстановить, обновить свою витальную энергию. Они всякий раз приходили к тому месту, которое считалось колыбелью их предков, и совершали тотемические церемонии как рецитацию изначальной иерофании, освятившей некогда данное пространство, преобразившей его, отделив от окружающего профанного мира. Таким образом, данное место становится неиссякаемым источником силы и сакральности. И если удастся в него проникнуть, то человек сможет воспользоваться этой силой и приобщиться к этой сакральности. Но для непосвященного, не совершившего предварительных действий, которых требует любой религиозный акт, сакральное пространство таит угрозу.

Исследования Леви-Брюля и открытые им закономерности связаны с особенностями первобытного мифологического мышления, некоторые черты которого свойственны герою Набокова. Его «магическая способность», определенная как «открытость сакральному», в научной системе координат Леви-Брюля может иметь следующее истолкование: Мартын относится к такой породе людей, которые сохранили привилегию, «заключающуюся в способности сопричастоваться в большей степени, чем другие, сверхъестественному миру. Небольшая доля „текучести“ последнего и теперь еще проявляется в этих... людях». <sup>40</sup>

Набоков вполне мог использовать представленные в трудах Леви-Брюля сведения из истории религии и этнографии как источник: в 1922 году в Париже была опубликована работа «*La mentalite primitive. Par Lusien Levy-Bruhle*»; в 1931 — книга: L. Levy-Bruhle. «*Le surnaturel et la nature dans la mentalite primitive. — La mythologie primitive*», вышедшая в переводе на русский язык в 1937 году. Набоков в переводе не нуждался.

Помимо значения «локального тотемического центра», гора имеет множество религиозных и символических значений. В ней видят точку сопри-

<sup>38</sup> Там же. С. 78.

<sup>39</sup> Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 303.

<sup>40</sup> Там же. С. 325.

косновения неба и земли, «центр», через который проходит Мировая Ось. Это сакрально насыщенная область. Сложность и опасность восхождения неизбежны, потому что всякое «восхождение» в мифологическом сознании связано с разломом прежнего уровня бытия, выходом вовне, за пределы профанного пространства и собственно человеческого состояния. Совершая восхождение на гору, человек попадает в непосредственную близость к «небесному» и возвышается над человеческим уделом.

Обо всем этом не задумывается герой Набокова. Однако автор устраивает ему испытания, создает условия для «специализированной» инициации, особым образом организуя путь к вершине. Мартын испытывает и преодолевает боль, страх, слабость, головокружение и тошноту, взбираясь по скалам вверх, он оказывается на грани жизни и смерти, может сорваться и погибнуть: «Он уже почти достиг вершины, когда вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов, не удержался, почувствовал жгучую боль оттого, что коленом поскреб по скале... и вдруг что-то спасительное толкнуло его под подошвы. Он оказался на выступе скалы, на каменном карнизе, который справа суживался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся саженей на пять, заворачивал за угол, и что с ним было дальше — неизвестно» (с. 212).

С одной стороны, «каменный карниз» дает опору и спасение, но он же выполняет и ритуальную функцию порога. Ограду, круг камней, стену, «каменный карниз», замыкающие сакральное пространство, историки религии относят к самым древним архитектурным моделям святилища. «Ограда не только указывает на постоянное действие иерофании внутри огороженного места; цель ее в том, чтобы отвести от непосвященного опасность, которой он может подвергнуться».<sup>41</sup>

Набоков детализирует эпизод передвижения по каменному карнизу, демонстрируя читателю степень опасности и силу сопротивления «горы»: «Скала как будто надвигалась на него, оттесняя в бездну, нетерпеливо дышащую ему в спину. (...) Иногда приходилось останавливаться, и он слышал, как самому себе жалуется, — не могу больше, не могу, — и тогда, поймав себя на этом, он начинал издавать губами зачаточный мотив, — фокстрот или марсельезу, — после чего... продолжал продвигаться вбок. Оставалось полсажени до заворота, когда что-то посыпалось из-под подошвы, и, вцепившись в скалу, он невольно повернул голову... Мартын закрыл глаза и замер, но, справившись с тошнотой, опять задвигался» (с. 213).

Восхождение на вершину — т. е. проникновение в насыщенное сакральное пространство, которое у Набокова совпадает в значении с «местным тотемическим центром», — возможно при исполнении специальных ритуальных предписаний. Представляется, что таковым можно признать обращение—просьбу Мартына к «кому-то» или «чему-то»: «У поворота он быстро сказал: „Пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста“, — и просьба его была тотчас уважена: за поворотом полка расширялась, переходила в площадку, а там уже был знакомый желоб и вересковый скат» (с. 213).

Таким образом, в первом сюжетном фрагменте «Восхождение на гору» Мартын проходит через особое «героическое» и «мистическое» посвящение, сам того не желая и не осознавая подлинного смысла и важности произошедшего.

В его жизни, на первый взгляд, ничего не меняется. В разговоре с Соней он хвастает, что чуть не погиб высоко в горах, и всерьез не воспринимает ее слова о долге: «...самое главное в жизни — это исполнять свой долг и ни о

<sup>41</sup> Элиаде М. Указ. соч. Т. 2. С. 257.

чем прочем не думать. (...) Не просто дело, не работу или там службу, а такое, ну, такое, — внутреннее» (с. 218).

И все же изменения происходят. В последний кембриджский год Мартын меняет отношение к преподавателям русской словесности, истории и самому предмету изучения: «...впервые Мартын почувствовал нечто для себя оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету роскоши. (...) И Муну он стал предпочитать другого профессора, — Стивенса, благообразного старика, который преподавал Россию честно, тяжело, обстоятельно... Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России. В конце концов Мартын от него совсем отделался, взяв кое-что, но претворив это в собственность, и уже в полной чистоте зазвучали русские музы» (с. 221).

В это же время рождается мечта «о тайной, беззаконной экспедиции» (с. 229). Уверенность в том, что мечта окрепнет, наполнится жизнью и воплотится, связана не только с новой особенностью жизни Мартына — свойством мечты «незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон» (с. 229). Набоков вводит в текст (глава XXIV) внутренние монологи Софьи Дмитриевны, которая так и не смогла уберечь сына. Эти монологи разрушают хронологию романа: ведутся из будущего — «несколько лет спустя», обращены одновременно и к прошлому — воспоминаниям, которые являются романным настоящим, и к еще более будущему, в которое не перестает верить мать, — возвращению из-за границы пропавшего без вести сына.

Но прежде чем перейти границу и совершить подвиг, Мартын должен завершить ряд предварительных инициаций, обрести «чудесное» родовое знание как средство, благодаря которому этот подвиг оказывается возможен.

Спрыгнув с экспресса на станции, Мартын оказывается в Молиньяке, маленькой деревне, ночью видной с поезда «соблазнительной пригоршней огней» (с. 267). Здесь и происходят необходимые «чудесные» обречения.

Мартын нанимается в батраки к фермеру. Собирая плоды, обрабатывая землю, он вновь проникает в сферу, насыщенную сакральным содержанием. Его труд связан с плодородием земли, с жизненными силами, скрытыми в молодых растениях, в пашне, в воде, и определяется космическими ритмами — круговоротом времен года. Для мифологического сознания труд земледельца — это ритуал, непосредственно обеспечивающий жизнь и находящийся под покровительством умерших предков.

Исследуя аграрную мистику и сотериологию, М. Элиаде приходит к утверждению: мирозерцание человека, открывшего для себя искусство земледелия, изменяется; у него открываются глаза на глубинное единство органической жизни. Смерть предстает как временное изменение способа существования — жизнь осознается как ритм. Отсюда сотериологический оптимизм: «подобно таящемуся под землей семени, умерший может уповать на возвращение к жизни в новом облике».<sup>42</sup> Идея периодического возрождения всего живого порождает и укрепляет надежду на духовное возрождение через обряд инициации. Эта надежда с самого начала ориентирована на поступок, деяние. Возродиться, обрести новую жизнь можно лишь через усилие, действуя в согласии с определенным образцом, повторяя исконные архетипические акты.

<sup>42</sup> Там же. С. 238.

Для Мартына образец не анонимен, но определен деяниями Индрика. На земле Молиньяка он не метафорически воспроизводит архетипический поступок, совершенный его мифическим прапредком *in illo tempore*: «Прочищает ручьи и проточины, / Пропускает реки, кладези студеные». <sup>43</sup> Обычные банальные действия садовода и земледельца обретают «бытийный» смысл, совпадая со своим архетипом. Поступок превращается в ритуал, тем самым ему сообщается духовная ценность: «...блистая на солнце, растекалась по всему питомнику напущенная вода, пробиралась, как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая пути, и Мартын... чавкал по щиколотки в жирной, лиловой грязи, — тут втыкал с размаху железный щит в виде преграды, — и, хлюпая, шел к чашке вокруг дерева: чашка наполнялась пузырящей, коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омывала корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения, счастлив, что случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметливость свою, и выносливость» (с. 267).

Интересно, что места на юге Франции, где батрачил Мартын, Набоков называет «духодельными» (с. 272). Это определение вкладывается в уста Грузинова — ложного кумира, человека, не раз участвовавшего в переходах через границу и «таинственных восстаниях» в России. Грузинов имеет в виду «парфюмерный» смысл. Таким образом, автор иронически подчеркивает его ограниченность и «непосвященность».

М. Элиаде замечает, что в речитации ритуала и его совпадении со своим архетипом упраздняется профанное время: соприсутствуя тому же действию, совершаемому на заре творения, человек «выходит за пределы», прорывает границы времени и проникает в сферу вечности. Поэтому батрачество героя в Молиньяке можно квалифицировать как предварительную «специализированную» инициацию, в результате которой начинается «творение» Мартына.

Свидетельством того, что необходимый этап на пути становления героя успешно завершён, является сюжетный фрагмент повторного восхождения на гору по возвращении в Швейцарию. На этот раз он уверенно и неторопливо поднимается по склону, передвигается по узкой «каменной полке», проверяя свою выдержку и будто следуя привычным маршрутом. «Благополучно добравшись до площадки, Мартын крикнул от радости и опять деловито, со строгим сознанием выполненного долга, пошел вниз по склону и, найдя нужную тропинку, спустился к белой гостинице» (с. 271). Как «посвященный», теперь он осознает, что гора — сакральное пространство, которое более не опасно для него: «было жаль так скоро растрасти то драгоценное, что принес он с вершины» (с. 271).

Сюжетный фрагмент завершается существенным для инициации моментом — «наречением имени». Грузинов и его жена, сидящие в саду гостиницы, обращаясь к герою, называют его полным именем: «Мартын Сергеевич» (с. 272). В эпической биографии героя богатырской сказки или рыцарского романа «наречение имени» играет важную роль — это «магическое благословение и предсказание его будущего героического пути». <sup>44</sup>

Образ Грузинова, составленный по рассказам друзей и знакомых «о страсти его к опасности, о переходах через границу» (с. 272), побуждает Мартына видеть в нем своеобразного посредника в совершении «тайной, беззаконной» экспедиции — виртуального проводника в Россию. В эпизоде

<sup>43</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 553.

<sup>44</sup> Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. С. 233.

разговора с Грузиновым, их совместной ориентации по карте и выборе маршрута «вычитывается» еще один мифологический образ и связанное с ним испытание — лабиринт. М. Элиаде, описывая структуру сакрального пространства, замечает, что лабиринт можно рассматривать как «модель» для церемоний инициации. Цель прохождения лабиринта — научить неопита тому, как уже в этой жизни можно, не сбившись с пути, проникнуть в область смерти. «Испытание сводится... к проникновению в труднодоступное и хорошо защищенное пространство, в котором находится... очевидное воплощение, символ могущества, сакральной силы и бессмертия».<sup>45</sup> И для Мартына, и для Грузинова это Россия.

Грузинов сознательно запутывает и запугивает Мартына: он «в одну минуту наметил полдюжины маршрутов, и все сыпал названиями деревень, призывал к жизни невидимые тропы» (с. 276); звучат слова: «Режица», «Пыталово» — все это должно остановить героя, заставить его отказаться от бессмысленной, по мнению Грузинова, затеи. Мартын считает, что его кумир издевается над ним, не признает его достойным и способным. Это справедливо лишь отчасти. Существование Грузинова ограничено социально-исторической сферой — он просто не знает пути к той России, к которой стремится Мартын.

Набоковские аллюзии позволяют метафорически определить тип отношений героя-избранника и России как жениха и невесты. «Любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных» (с. 261) руководят им в стремлении соединиться с Россией. Хотя в романе и явлена Соня Зиланова как возлюбленная Мартына, предстающая в мечтах невестой и женой, в определенной степени она персонифицирует Россию, Родину, ради которой необходимо совершить подвиг. Набоков «открытым приемом» отождествляет Соню и Россию в последнем разговоре Мартына с матерью перед отъездом. Софья Дмитриевна передает поклон предполагаемой невесте, к которой отправляется сын: «„Поклонись ей от меня“, — шепнула она с многозначительной улыбкой, — и Мартын кивнул» (с. 279). Думая, что это Соня, и не зная подлинно го маршрута сына, она невольно обращается к России.

Набоков следует традициям средневекового рыцарского романа, которые возродили символисты, сближая кургуазный культ Прекрасной Дамы и религиозный культ Девы Марии. Любовь земная и небесная, к женщине и к Богу, божественному (в суфийском понимании) становятся различной степенью одного и того же. Любовь Мартына к Соне — одна из граней, предвкусение любви к Родине.

Персонификация России в образе Сони имеет и фольклорно-мифологический генезис: герой волшебной сказки (непосредственно связанной с мифом), преодолевший все препятствия и завершивший цепь инициаций, которые могут быть представлены как испытания жениха, в финале вступает в священный брак с царевной (богиней), олицетворяющей страну и корону — эпонимом царства.

В системе взаимоотношений Сони с претендентами на ее руку и сердце — Дарвином, Бубновым, Мартыном — также прослеживается архаический фольклорно-мифологический мотив инициативы невесты, свойственный свадебным обрядам. Невеста сама выбирает («узнает») жениха, задает «брачные задачи», ищет суженого среди «мнимых» женихов. Опасность ошибиться в выборе-«узнавании» объясняет Сонино требовательное ожидание поступка, деяния, обращенное к Мартыну в течение всего романа, ее разговоры о долге и так называемое «предательство», которое для героя ока-

<sup>45</sup> Элиаде М. Указ. соч. Т. 2. С. 274.

зывается еще одним испытанием. В волшебных сказках, хранящих метаструктуру архаического мифа, существует испытание на идентификацию героя. Выясняется, кто в действительности совершил подвиг, после чего происходит посрамление соперников и самозванцев.

Соня все-таки ошибается, она склонна предпочесть Мартыну писателя Бубнова: «„У него есть по крайней мере талант“, — сказала она [Мартыну], — а ты — ничто, просто путешествующий барчук» (с. 254). Но талант Бубнова представлен в романе как социальный успех, обеспечивающий место на литературном олимпе, ревностно оберегаемое им. И он оказывается «совместным» со злодейством: воровством идей, чужих претворенных замыслов, не предназначенных для «широкой общечеловечности», ибо с ними связано самое дорогое и личное. Для Мартына это Зоорландия — страна, созданная вместе с Соней силой его воображения, слова и любви. И если Соня в определенной степени персонифицирует Россию, то Зоорландия ее мифологизирует, превращает в «тридцатое царство», поработенное Злом, куда вход простым смертным запрещен.

Некоторые исследователи Набокова находят в Зоорландии черты средневекового бестиария.<sup>46</sup> В истолковании названия акцент делается на «zoo» — зоологическое, темное начало. В рассказе «Истребление тиранов» понятия «зоологический» и «зоорландский» являются синонимичными. Другие видят в вымышленной стране дистоническую Россию.<sup>47</sup> Действительно, создавая Зоорландию, Соня и Мартын используют свифтовские тона. Фантастический мир и реальная большевистская Россия, выдуманные подробности жизни и важные социально-исторические и политические детали соединены в описании Зоорландии. М. Д. Шраер обращает внимание на серию «ключевых подтекстов»,<sup>48</sup> связанных с возможностью иного прочтения названия страны: не «(Зоо)рландия», а «(За)орландия». Однако это наблюдение приводит исследователя к образу знаменитого паладина Орlando средневековых рыцарских романов и позволяет интерпретировать финал романа Набокова как «рыцарского».<sup>49</sup> Представляется, что прочтение названия страны «(За)орландия», а также ассоциативно-звуковая основа слова «Зоорландия» отсылают не столько к герою Орlando, сколько к образу орла, имеющему ряд символических значений.

«Орел — символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия; одно из наиболее распространенных обожествляемых животных — символов богов и их посланец в мифологиях разных народов мира».<sup>50</sup> В мифологиях Евразии и Северной Америки орел олицетворял культурного героя, одним из главных подвигов которого является похищение света или помощь, оказанная им людям в добывании огня. У хеттских и древнехеттских народностей, а также в некоторых ведийских гимнах орел оказывается героем мифов о добывании воды.

Образ орла, соотношенный с космогоническими представлениями и мифом о культурном герое, распространен в символике древнего мира, в искусстве Возрождения и последующих эпох. Идущая еще из древнего мира традиция совмещения в единой композиции противоположных символов — орла и змеи — в средние века обретает значение борьбы Христа с сатаной, а затем переходит в политическую геральдику. Геральдическое значение орла

<sup>46</sup> Шраер М. Д. Набоков: темы и вариации. СПб., 2000. С. 120.

<sup>47</sup> Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира Набокова // Russian Literature. 28. 1 (1990). P. 45—124.

<sup>48</sup> Шраер М. Д. Указ. соч. С. 122.

<sup>49</sup> Там же. С. 125.

<sup>50</sup> Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 258—260.

характерно еще для Шумера. Двуглавый орел — важнейшая составляющая часть герба царской России.

В библейской метафористике орел служит воплощением божественной любви, силы и мощи, юности и бодрости духа, но также и гордыни. В средние века орел является символом крещения и воскресения. В христианской иконографии орел известен как символ евангелиста Иоанна; как атрибут вознесшегося на небо пророка Илии и воскресшего Христа.

Этот неполный ряд символических значений слова «орел», безусловно, был известен Набокову, хотя его герой и придумывает название страны, ссылаясь на упоминание о ней норманнов.

В описании Зоорландии преобладают два тона: сатирический окрашивает зоорландский быт, законы и заглушает, делает почти незаметным лиризм Сони и Мартына, рожденный грустью, любовью и болью, связанный не с временным — жизнью «честных невежд» зоорландцев, но с вечным: «Там холодные зимы и сосулищи с крыш, — целая система, как... органные трубы, — а потом все тает и все очень водянисто, и на снегу — точки вроде копти...» (с. 256). Читатель может только догадываться об истории и культуре этой страны по тому, как «звучно лопались струны сжигаемых скрипок» (с. 256) в кострах. Зоорландия, «скалистая, ветренная» страна, по всем приметам была Орландией — «родиной орлов» — пока «бритоголовые, в бурных рясах» (с. 256) не установили свои законы.

Зоорландия рождена совместным мифотворчеством Сони и Мартына. Таким образом они осваивают собственный психологический опыт посредством архетипических символов. В то же время Набоков художественно варьирует и метафорически развивает архаический миф творения, для которого характерно порождение предметов путем их словесного называния — номинации. Известен ряд примеров творения силой мысли и слова в развитых мифологиях. Соня и Мартын, подобно египетскому богу Птаху, творят мир Зоорландии «сердцем и языком»,<sup>51</sup> просто называя предметы. Исследователь поэтики мифа Е. М. Мелетинский замечает, что номинация не есть чистое творение из ничего, а скорее некая духовная эманация божества, основанная на отождествлении предмета и имени.

Помимо словесно-магического существует и другой тип порождения отдельных вещей, который также обнаруживается в сюжете романа «Подвиг»: акт творения может иметь характер добывания мифологическим героем природных или культурных объектов в ином мире. Мелетинский пишет: мифическое «творение» как некий «сюжетный предикат предполагает наличие по крайней мере трех „ролей” — творимого объекта, источника или материала и творящего субъекта. (...) Однако в ряде случаев источник или материал оказывается во владении второго субъекта (демон, захвативший воду или небесные светила и т.п.), который часто приобретает черты антагониста, которого нужно победить, подчинить, прежде чем получить доступ к объекту или его источнику. Введение этой четвертой „роли” создает почву для борьбы двух мифологических персонажей и тем самым предпосылку для развития сюжета. (...) К добыванию объекта мифическим героем добавляется рассказ о первоначальном приобретении объекта демоническим существом (лягушка проглотила воду!), и добывание иногда становится возвращением утерянного».<sup>52</sup>

Набоков нейтрализует мифологический фон, сохраняя архетипическую основу: хтонические демоны в Зоорландии превращаются в шайку «брито-

<sup>51</sup> Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 205.

<sup>52</sup> Там же. С. 196—198.



головых, в бурных рясах», под предводительством вожakov с «говорящими» именами, одно из них — «Саван-на-рыло». И Мартын, подобно «творящему субъекту» и мифологическому культурному герою, должен отправиться в иной мир — Зоорландию — победить демонов и вернуть утерянную «Орландию».

В архаических мифах «творения» в образах различных демонических существ могут представлять силы хаоса, победа над которыми осмысливается как процесс космогенеза. Превращение хаоса в космос, таким образом, есть результат борьбы с хтоническими чудовищами мифологических героев, «образы которых еще не дифференцировались полностью от первопредков».<sup>53</sup> Наиболее популярна космогоническая борьба со змеем (драконом), который в большинстве мифологий связан с водой, часто как ее похититель.

Освобождение скрытых мировых вод — миссия чудесного зверя Индрика. Метафорически «волшебным источником живой воды» для каждого главного или второстепенного русского героя в романе остается Россия.

Таким образом, в финале Мартын осознанно вступает на путь своего «чудесного» мифического первопредка, обладающего двуйпостасной природой Индры (Индрика) — зверя и бога. Он должен победить дракона, олицетворяющего хаос, спасти от «засухи» свой род и вновь совершить акт «творения» мира, который начинается «из центра»<sup>54</sup> — России, ибо там находится источник всякой реальности, самой энергии жизни и бытийной силы.

Реактуализация архетипического деяния отменяет профанное время, и Мартын проникает в аисторическое, мифическое время богов и предков.

Слезы Сони и восхищение Зиланова, произнесшего слово «подвиг», подчеркивают этиологизм, формализующийся в финале романа Набокова, неизменно определяющий мифические концовки и отличающий миф от не-мифа. Даже в глазах «непосвященных» Мартын не просто совершает опасный переход государственной границы. Это прорыв к «центру», равнозначный освящению, инициации. Это переход от профанного к сакральному, от иллюзорного и преходящего к вечному и истинному, от человеческого к божественному. И то, что «Мартын словно растворился в воздухе» (с. 294), и финальный образ «витой тропинки» в зарослях густого леса в Швейцарии, совпадающий с бабушкиной акварелью, свидетельствуют об этом последнем претворении героя и его бессмертии.

<sup>53</sup> Там же. С. 208.

<sup>54</sup> *Элиаде М.* Указ. соч. Т. 2. С. 262.

# К 100-летию СО ДНЯ СМЕРТИ АКАДЕМИКА А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО

## ИЗ НЕИЗДАННОЙ КНИГИ Ф. Д. БАТЮШКОВА «ОКОЛО ТАЛАНТОВ»: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ВЕСЕЛОВСКИЙ (ПУБЛИКАЦИЯ © П. Р. ЗАБОРОВА)

Публикуемый очерк Федора Дмитриевича Батюшкова (1857—1920), видного филолога, педагога, литературно-театрального критика и общественного деятеля, — единственный фрагмент его оставшейся неизданной книги «Около талантов»,<sup>1</sup> который был отдан им самим в печать и на появление которого он надеялся, хотя, как оказалось, тщетно. Давно задуманный и скорее всего уже отчасти написанный, очерк этот был завершен и приведен в пригодный для издания вид в связи с подготовкой сборника, посвященного памяти академика А. Н. Веселовского «по случаю десятилетия со дня его смерти», исполнявшегося 10 октября ст. ст. 1916 года. Однако сборник этот вышел лишь в 1921 году, и притом без раздела воспоминаний, для которого очерк предназначался; напечатать же его где-либо полностью или в сокращении попыток, кажется, не делалось ни в последующие годы, ни в наши дни, хотя он и был упомянут К. Д. Муратовой в ее обзоре архива Ф. Д. Батюшкова, хранящегося в Пушкинском Доме.<sup>2</sup>

Старейший ученик великого ученого, на протяжении многих лет один из самых верных его последователей и преданных друзей, Батюшков счел своим долгом принять участие в этом сборнике, предложив редакционной коллегии «опыт характеристики» своего учителя, основанной главным образом на письмах к нему Веселовского, которые он бережно хранил. В этом и состоит главная ценность этого очерка, вполне ощутимая и сейчас, несмотря на то что некоторые из этих писем сравнительно недавно увидели свет.<sup>3</sup> К тому же помимо писем и комментария к ним в очерке содержится немало личных впечатлений и наблюдений, любопытных бытовых подробностей и разного рода фактических сведений, почерпнуть которые из другого источника было бы просто невозможно.

Сохранился очерк в двух вариантах — в виде рукописи (ИРЛИ. № 15711) и машинописной копии с обильной авторской правкой (ИРЛИ. № 15612). Эта последняя и положена в основу данной публикации. При этом все приведенные в очерке фрагменты писем Веселовского сверены с автографами, что позволило устранить ряд вкравшихся в них неточностей (почерк Веселовского — необычайно труден)<sup>4</sup> и привести их текст в соответствие с оригиналом, от которого Батюшков подчас сознательно отступал, исправляя его, поясняя и даже переиначивая для удобства повествования или по иным причинам. Намеренные пропуски в тексте писем заменены многоточиями в угловых скобках, а при их восстановлении отсутствующий у Батюшкова текст дан курсивом; сокращенные слова, как правило, дополнены, что

<sup>1</sup> См.: Русская литература. 2000. № 3. С. 177—193; 2002. № 2. С. 185—197; 2003. № 1. С. 142—147; 2004. № 2. С. 169—174.

<sup>2</sup> См.: *Муратова К. Д.* Архив Ф. Д. Батюшкова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1972. Л., 1974. С. 34.

<sup>3</sup> См.: Письма (А. Н. Веселовского к) Ф. Д. Батюшкову / Публикация П. Р. Заборова // Веселовский Александр. Избранные труды и письма. СПб., 1999. С. 285—330.

<sup>4</sup> Следует отметить, что и в указанной выше публикации писем Веселовского к Батюшкову допущен ряд погрешностей, подчас весьма досадных.

обозначено с помощью опять-таки угловых скобок. Орфография модернизирована за исключением тех случаев, когда в ней отражаются индивидуальная речевая или эпистолярная манера и стилистика эпохи.

## АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ВЕСЕЛОВСКИЙ. ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВАНИИ ПИСЕМ И ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

(к 10-летию его смерти)

В деятельности ученого на первом плане, конечно, стоят результаты его трудов на избранном поприще. Оценка личности, индивидуальных свойств и качеств и обстоятельств жизни, играет несравненно меньшую роль для ученого, чем при изучении созданного художником слова, поэтом, писателем, проясняя нам процессы творчества и источники вдохновения. Но ведь и научное творчество может заинтересовать нас с точки зрения его процессов, и в оценке ученого известную роль играет знакомство с его взглядами, приемами мышления, последовательностью в работе, отношением к вопросам, как непосредственно входящим в круг его научных интересов, так и стоящим вне его специальности, но так или иначе проясняющим его работу в своей области.

Александр Николаевич Веселовский несомненно принадлежит к выдающимся исследователям литературы, в весьма широком ее понимании. Значение его трудов, можно сказать, с каждым годом все более проясняется, и общая оценка его заслуг по изучению памятников средневековой литературы, у нас и на Западе, эпохи Возрождения, установлению основ исторической поэтики и т. д., хотя уже неоднократно была предложена,<sup>1</sup> но все еще не может считаться законченной с исчерпывающей полнотой. К ней еще будут возвращаться, а пока я хотел бы подойти к освещению его деятельности и как ученого, и как профессора, с другой стороны — на основании его частных писем и некоторых личных воспоминаний за 14 лет довольно близкого общения с ним — с 1877 по 1891 год. Позже пути наши разошлись, хотя отношения не прерывались, но о последних годах жизни я не имею ничего сказать. Обстоятельств жизни я тоже касаться не буду, ибо знаю о них только из рассказов самого Александра Николаевича, да они, хотя и не вполне безразличны, не играют решающей роли в его деятельности ученого. Количество сохранившихся у меня писем Веселовского довольно значительно: я ограничусь приведением тех из них, которые либо имеют отношение к организации постановки дела преподавания у нас истории всеобщей литературы, бывшей в конце 70-х годов еще новой у нас дисциплиной университетской науки, учреждения школы романо-германской филологии, впервые тогда у нас возникавшей, наконец, пожалуй даже главным образом взглядов и мнений А. Н. Веселовского по разным вопросам, либо сопричастным области научного изучения литературы в широком смысле, либо в прояснение его индивидуальных свойств, насколько они освещают деятельность ученого и руководителя занятиями его младших слушателей и последователей. Впрочем, что касается руководства, то я уверен, что об этом больше и лучше сумеют рассказать представители следующих за мной поколений, по причине, которая выяснится из обстоятельств моих занятий у Александра Николаевича, о чем речь ниже.

### 1

Начну с некоторых индивидуальных свойств. К Веселовскому в особенности применимо известное речение: «Настойчивость создает гения» (*La persévérance fait le génie*). Настойчивость и, пожалуй, некоторая односторонность характера и мыш-

ления, обособленность, скажем, сосредоточенность в следовании по избранному пути. Односторонность, но никоим образом не узость, ибо Веселовский был широк, только по-своему, в пределах определенного мирозерцания. Западным ученым он казался даже слишком широким по чрезмерному захвату слишком разнообразного матерьяла исследования. Высказывались сомнения в возможности тщательной отделки работы при таких условиях. Его упрекали в том, что он слишком разбрасывается. Мы увидим дальше его объяснения и самооправдание такой «разбросанности». Но это касается выбора матерьяла работы, а «сосредоточенность» деятельности выражалась в том, что Александр Николаевич всецело жил книгой и интересами в той именно области изысканий, которая в данное время им владела. Натура у него была по существу чрезвычайной действительной; его пытливый ум как бы требовал себе непременно работы над тем, что способно было возбудить его интерес; в нем был дух исследователя, которому нравилась сама процедура исследования, и только создав себе вопросы, задавая себе уроки, он мог заинтересоваться тем или другим предметом, над которым можно было бы поработать. Чистое созерцание было ему чуждо, и, например, он был довольно холоден к пластическим искусствам, требующим созерцательного проникновения. Непосредственное чувство природы ему также было не свойственно; он не отрицал его, когда надо было проследить его эволюцию в памятниках поэзии у разных народов, в разных странах, но сам не поддавался ему, утверждая, что гораздо целесообразнее — чем любоваться закатом и смотреть виды — штудировать грамматику. За правило он положил себе каждое лето обязательно выучить новый язык и в течение многих лет строго и последовательно выполнял эту задачу, не расставаясь с грамматикой, лексиконом и текстом, где бы ему ни пришлось проводить лето — в горах Швейцарии, на итальянских озерах или среди лесных далей в Новгородской губернии, на холмистых берегах вьющейся змейкой Мсты. Он сам иногда сравнивал свою страсть к разысканиям — в области средневековых легенд, апокрифов, духовных стихов, бродячих сюжетов, романических сказаний и т. п. — со спортом. Физического спорта — охоты, игр, верховой езды и проч. он не выносил, но заверял, что работа над каким-нибудь головоломным построением схемы происхождения сказания, взаимоотношения разных версий, установления первичной редакции — такой же вид спорта, только, конечно, чисто умственного. И он не был в этом утверждении далек от правды.

По общему своему миропониманию А. Н. Веселовский во многом был типичным «шестидесятником», — убежденный позитивист, либерал в старом значении слова, прогрессист, отчасти «западник», сторонник всякого рода «эмансипаций», — но «шестидесятником», отошедшим уже к 80-м годам от интересов живой современности, за которой он почти не следил. Он не отрицал значения и новейшей литературы, но как-то очень своеобразно к ней подходил. Приведу следующий случай. Когда уже возникло Романо-германское общество при Петербургском университете,<sup>2</sup> Александр Николаевич, зная о моей «слабости» или пристрастии к новейшей литературе, русской и западноевропейской, как-то предложил мне сделать доклад в Обществе о Буржэ и его романе «Disciple», который в ту пору произвел и у нас известную сенсацию.<sup>3</sup> Романа он не читал, не прочел его и после доклада,<sup>4</sup> но летом я получил от него следующее, довольно характерное письмо из деревни — как и почему он наконец все же принялся за чтение французских романистов, бывших в то время «модными». Письмо от 20 августа 1889 года:

«...Как это Вы к нам не заехали! Грешно! Я с 29-го июня на Волгине (название усадьбы около Боровичей, которую в течение нескольких лет подряд снимали Веселовские как дачное местопребывание. — Ф. Б.). Из петербуржцев наезжают одни дамы, дамы приятные во всех отношениях и исключенные своим возрастом из границ психологического анализа, вроде Bourget'ского. Я только что кончил его „Disciple“, как вообще перечел довольно много из новейших французских романов ре-

альной школы. Вы, пожалуй, этому не поверите; а прочел, даже с карандашом в руках. Сначала для поэтики (курсив наш. — Ф. Б.), а потом и так. Завлекли меня вопросы психологии — и вопросы стиля. Bourget я вообще люблю, но «Disciple»<sup>5</sup> м, вызвавшим ожесточенные теоретические споры между братьями-разбойниками, то бишь Аничковыми,<sup>5</sup> я, в сущности, не совсем доволен. Старый, физиологическо-психологический тип поставлен на ходули эволюционной нравственности, — и только; так отчасти и в „Docteur Rameau”<sup>6</sup>; кстати там и здесь на сцену являются ученые, упорные мыслители, в конце проливающие слезы над вопросами, которые они думали оголить (sic) мыслью, тогда как это область de L’Inconnaissable (Непознаваемого). Это возвращение вспять. Greslou — это философствующий Дон-Жуан, с тою разницей, что его чувственность, в самом деле страстная, не допустила бы его вести стратегический дневник своей компании соблазна (sic). Во всей постановке много деланного, искусственного; не то ли самое и в „Le Rêve” Zola?<sup>7</sup> Мимоходом много тонких наблюдений и несколько превосходных сцен; сюжет несколько банален. Заметили ли вы особенности эпитетов и метафор у парнасцев и реалистов романа, стремление соединить в слове, характеризующем образ, возможно более впечатлений зрения, слуха и т. д.; сконцентрировать впечатление в одной черте, близкой к абстракции: La gaieté blonde вм(есто) „веселой блондинки”,<sup>8</sup> — ведь это почти аллегория из Roman de la Rose.<sup>9</sup> Тема для сообщения в герм(ано)-романском обществе...»<sup>10</sup>

Итак, импульсом для прочтения современных романистов послужила Веселовскому работа над поэтикой; ближайшая цель чтения — анализ стиля. Но попутно Александр Николаевич высказал меткие и тонкие суждения по существу, что особенно интересно, потому что литературной критики он недолюбливал, даже отрицал ее, как это делал и Гастон Парис,<sup>11</sup> утверждавший, что вся задача критика должна свестись к указанию — прочесть автора: Lisez-le!<sup>12</sup> А затем каждый пусть по-своему его воспринимает. Так отчасти рассуждал и Л. Н. Толстой, уподоблявший критика такой даме, которая знает толк в кружевах и, придя в магазин кружев, может указать — это настоящее, остальное не настоящее и об нем говорить нечего. Такая уже была полоса в 80-х годах отрицания критики, пока в Англии Уайльд, во Франции Гюйо и др. не внесли корректив к этим ошибочным взглядам на весьма существенную отрасль «творческого восприятия» или «творчества над творчеством».<sup>13</sup> Высший расцвет художественного творчества всегда сопрячен развитию критики, без которой — иногда в конгениальной форме — нет законченного совершенства в искусстве. В это я твердо верю.

А. Н. Веселовский, как мы сейчас видели, сделал уступку «современности» для работы над поэтикой. Меньше преуспел я в своей защите тогда значения русских авторов. Так, например, в течение многих лет мне не удалось убедить Александра Николаевича прочесть «Братьев Карамазовых» Достоевского, а убеждать его я стал еще сразу по выходе романа на рубеже 80-х годов. Не знаю впоследствии, когда он «удосужился» приняться за него, но благосклоннее он относился к указаниям на иностранных писателей. Так, в ответ на одно мое письмо из Парижа о новой поэме Сюлли Прюдома — «Le bonheur»<sup>14</sup> Веселовский написал мне с оборотом почты: «Завтра зайду к Mellier,<sup>15</sup> не найду ли Sully Prudhomme’a» (1888 г.).<sup>16</sup> Кажется, он действительно тотчас прочел поэму. В нем довольно долго перевес брали наклонности старого «западника».

Не только духовно, но и, так сказать, душевно А. Н. Веселовский все же жил главным образом в эпохе Возрождения, которую он облюбовал с раннего времени, в которой он чувствовал себя вполне хозяином, изучению которой он посвятил несколько превосходных трудов, начиная с магистерской диссертации — «Вилла Альберти»,<sup>17</sup> и не раз, как бы вызывая на спор, задорно спрашивал: «Какая эпоха вас более всего интересует в мировой истории?» И сам спешил ответить, — конечно, эпоха Возрождения. Поддерживая спор, я противопоставлял ей XIX век, указывая на его большую значительность. «Без Возрождения не было бы и XIX века», —

запальчиво возражал А. Н. — «Может быть, но XIX век впитал в себя наследие Возрождения и ушел дальше». Такие споры бывали у нас нередко, но как бы сердце ни влекло Веселовского к итальянскому Возрождению, он вполне сознательно расширил область своих занятий и увлечений, присоединил к интересам, захватившим его в молодые годы, ряд других, особенно выдвинувших его значение как русского ученого. Вот, между прочим, как он высказывался по вопросу о задачах именно русского исследователя, хотя бы избравшего своею специальностью иностранные литературы, в одном письме от 1888 года, в ответ на сообщенные мной некоторые разговоры и переговоры с французскими учеными, под руководством которых я в ту пору работал, т. е. главным образом Гастона Париса и Поля Мейера.<sup>18</sup> Парис меня встретил фразой — на мое заявление, что я предполагаю заниматься у него французской филологией: «La Russie doit être bien jeune pour chercher ainsi la science partout».<sup>19</sup> Его отношение ко мне изменилось после нескольких пробных «уроков», и он сам настоял, чтобы я главу за главой докладывал у него в семинарии свою подготовительную работу к задуманной в ту пору теме диссертации.<sup>20</sup> Поль Мейер более резко мне сказал: «Почему вы не занимаетесь славянской филологией? Vous devriez surtout étudier les langues slaves».<sup>21</sup> На это сообщение Веселовский мне написал следующее:

«Дело не в школе, а в том, что каждый из нас вносит в свои романо-германские интересы частицу своего личного Я, того, что Мейер понимает под — *langues slaves*. Тут и начинается путаница. Если бы нам с Вами возможно было бы отказаться от этого Я — дело было бы легче. Теоретически это мыслимо; если бы я остался в Италии еще лет пять, я бы не вышел из колеи „Paradiso degli Alberti” и теперь, может быть, написал бы уже нечто цельное, свод. Касаюсь этого вопроса, потому что Вы упомянули — *un problème*,<sup>22</sup> и так прозрачно, что я, переступив все пределы скромности (подумайте: после Paris'a), подумал — о себе. Не забудьте, что у Мейера всю жизнь был на руках Прованс, у Париса нечто большее, но все же в центре Франция; а у нашего брата что? Мы поневоле синкретисты; всюду мешают *les langues slaves!* Германцы и романцы, к ним Византия и наша старина; вопросы эпоса и *chansons populaires*;<sup>23</sup> чем огромнее горизонт, тем более страху: точно в степи. Для статьи, заметки этот страх преодолевается; для свода он остается всеильным и царящим. Остается распутье Геркулеса: либо вернуться в одну укромную область, из которой вышел и к которой охотно вернусь (дантовский *bel ovile*),<sup>24</sup> и там, погрузившись в волны прошлого (если хватит жизни), попытаться сделать нечто, или рискнуть обобщениями, которые подорвут репутацию — осторожности. Разрешите-ка, Эдип?<sup>25</sup>

А меня Ваши письма и радуют, и волнуют — завистью. Зависть, впрочем, простительная, такая, что за нее не положено наказания ни в Аду, ни в Чистилище, которые собирается изучить или уже изучил Р. Meyer. Надо бы и мне окунуться в воды дантовской Eunoë,<sup>26</sup> чтобы освежиться — перед Летой.

Дела пропасть: правлю лекцию и т. д.»<sup>27</sup>

Я еще вернусь ниже к тому, что А. Н. Веселовский метко и остроумно назвал себя «синкретистом». Но мы видим, как вырастает его духовный облик в связи с тем, как он определяет свое или наше Я: замкнуться в изучение одной эпохи, одной области, одного исторического периода, это не вяжется с положением и задачей русского ученого. Да, если бы он совсем переселился в Италию, он больше преуспел бы в глазах западных специалистов, создал бы нечто «цельное», а тут приходится блуждать, «как в степи»; пугает ширина и необъятность горизонта... Но он все-таки преодолел страх и смело брался за труднейшие задачи. Его обязывало к тому положение русского ученого, и он не смутился духом, чтобы делать то, что внушали ему совесть и честь. Порыв был прекрасен.

Теперь я должен вернуться несколько назад, чтобы рассказать о первом знакомстве моем с А. Н. Веселовским и как сложились наши отношения при начале

его «руководства» занятиями нежданно к нему заявившегося «специалиста». Без этого будет кое-что непонятно в письмах, а встретил меня Веселовский еще суровее, чем Гастон Парис.

## [2]

На третьем курсе, прослушав несколько лекций Веселовского по истории средневековой французской литературы, произведших на меня сильное впечатление, я подошел после одной лекции к профессору и сказал ему, что хотел бы более специально заняться его предметом. «У меня не бывает учеников», — довольно резко оборвал меня Александр Николаевич.<sup>28</sup> «Однако история всеобщей литературы числится в ряду специальностей, выбор между которыми обязателен для филологов на третьем курсе», — возразил я. «Ко мне ходили русские словесники, — уклончиво продолжал Веселовский, — слушали и специальные курсы, но все это не ученики». — «Почему же нельзя заниматься иностранными литературами?» — спросил я. «Да знаете ли вы иностранные языки?» — поставил вопрос Александр Николаевич. — «Какие именно? Да, французский, немецкий, немного английский знаю, насколько это нужно для разговора и чтения, но, конечно, не знаю истории этих языков. Я читал кое-кого из новейших авторов». — «Ну, это уже есть нечто, — заметил Веселовский. — Приходите ко мне на дом тогда-то. Только подумайте вперед, чего вы от меня хотите, и расскажите, почему вам вздумалось избрать мою специальность. До свидания».

Я готовился к этому свиданию три дня и, придя к Веселовскому, наговорил ему с три короба. Это было как бы исповедью моей духовной жизни и, вероятно, очень наивное, но искреннее изложение моих запросов от неведомой мне еще науки. С такой откровенностью можно исповедоваться только в 20 лет.

Веселовский выслушал меня очень внимательно, временами поддакивал, иногда задавал вопросы и, наконец, сказал: «Я, право, не знаю, как руководить вашими занятиями, но думаю, что мы сойдемся. Не смотрите на меня как на учителя: учить я не умею. Хотите, так приглядывайтесь к тому, как я работаю. Может быть, это вам пригодится. Приходите чаще, будем беседовать. А пока — я вот летом занимался „Эддой“ — хотите засесть за изучение старо-северного языка,<sup>29</sup> будем разбирать текст. С грамматикой я вас познакомлю, словарь возьмем в библиотеке. Будем работать — очень рад».

И вот я засел за изучение старо-северного языка и начал знакомиться с скандинавской филологией. Вскоре ко мне присоединился другой товарищ, Р. О. Ланге, так преждевременно умерший.<sup>30</sup> В поздние часы, от 3—4, иногда и дольше, сходились мы втроем в одной из маленьких аудиторий университета, совершенно пустынного в ту пору и тускло освещенного несколькими газовыми рожками. Мало-помалу занятия скандинавской филологией, которые меня в первую минуту несколько ошеломили, — того ли я ждал тогда от «всеобщей литературы»! — стали завлекать и увлекать. «Эдду» нам Веселовский пересказал, а рассказывать он был мастер, и северные мифологические и героические сказания в его передаче захватывали поэтичностью образов, суровым обликом и мощью замыслов. С увлечением стал я прочитывать саги, а параллельно вел занятия по изучению французской средневековой литературы. Веселовский сам приносил книги, которые брал из библиотеки, предоставил мне составление лекций его общего курса и все более настаивал, чтобы отношения складывались на почве «товарищества», т. е. чтобы мы дели в нем старшего товарища и только отнюдь не «учителя» или «руководителя».

Веселовский и позже очень решительно отнекивался от всякого руководства занятиями. Так, несколько лет спустя, он мне писал, что профессор Н. И. Стороженко<sup>31</sup> вздумал прислать ему одного своего ученика, написавшего сочинение на

золотую медаль о «Chanson de Roland», поучиться.<sup>32</sup> Он-де (т. е. этот молодой человек) пробовал заниматься в Киеве, но там нет надлежащего руководителя. «А я-то тут при чем, — писал мне Веселовский. — Чем хотите возьму, только не руководством. Грешным манером обращу его под Ваше крыло — благодаря романской теме диссертации». <sup>33</sup> «Учениками» меня Веселовский снабжал еще раньше, чем я кончил курс, когда я и сам едва разбирался в текстах.

Это, конечно, не вполне верно, что Веселовский совсем не руководил нашими занятиями — его первых специалистов-слушателей, с которыми будто бы он не знал, что делать. Но все-таки никакой системы преподавания у него тогда не было выработано. Впоследствии, побывав в германском университете, я очень ощутил разницу между систематической подготовкой, так, как она там ведется, и несколько случайными, вразброд, занятиями у Веселовского. Но во многом он и сам был автодидакт и приучал вас сразу к самостоятельной работе — это ведь тоже своего рода «руководительство», ценное в том случае, когда результаты работы тут же проверялись и выяснялись пробелы и недочеты. Более же всего Веселовский умел заражать своей жаждой к работе, умением наводить на вопросы, исканием надлежащего метода. Он завлекал в дебри фактов, но не забывал об идеях и обобщениях, только предостерегал — стройте на прочном фундаменте и избегайте всего голословного и огульного. И что такое по существу идея? Есть ли свои и чужие идеи? На эту тему разгорелся спор под впечатлением одной речи, произнесенной Вл. Ив. Ламанским в славянском благотворительном обществе. В этой речи, сильной и образной, с присущим Ламанскому пафосом в отстаивании самобытности и самостоятельности народной жизни, как и отдельных индивидуумов, оратор между прочим пустил фразу об «удручающем влиянии чужих идей». Эта фраза требовала разъяснения, и я написал по поводу нее заметку не для печати, о чем сообщил Веселовскому, уже переехавшему в ту пору в деревню; я написал ему, так как вообще делился с ним всеми «событиями» моей внутренней жизни. Еще раньше получения моей рукописи, Веселовский, думая, что я ее уже сдал в печать, спрашивал:

«А где Вы поместите Вашу заметку? Ответ Шумована я прочел, равно и возражения Ламанского. Первый попал на хороший след, но за дело принялся как-то аляповато; Ламанский ответил фактами, не коснувшись принципиальной стороны вопроса, по-прежнему остающегося не разъясненным — т. е. в данном случае. Что такое „чужие“ идеи и есть ли вообще такие, которые мы можем назвать „своими“? Я различаю верные и ложные, не делая различия между „своими“ и дурно усвоенными. Вопрос по-моему сводится к известному: о том, кто научил первого портного. Когда получите свою заметку обратно, не забудьте прислать мне ее. Пришлите заказным письмом...»<sup>34</sup>

Александр Николаевич вскоре опять вернулся к вопросу, дополнив его интересными замечаниями, как у него самого вырабатываются «идеи» по мере работы. Я, к сожалению, не могу в точности восстановить по памяти то, что я тогда ему написал, — заметка потерялась, да и ничего значительного в ней, конечно, не было; о напечатании ее я тогда вовсе не думал. Ограничиваюсь сообщением письма Веселовского:

«Заметку по поводу Ламанского я прочел тотчас же и с общими положениями ее совершенно согласен; полагаю даже, что ее следовало бы напечатать, предварительно кое-где развив фактически. Это была бы недурная прелюдия к курсу по иностранным языкам и литературе: вступительная лекция готова. Впрочем, у Вас за темами дело не станет» и т. д.<sup>35</sup> Затем следует интересное признание по поводу его собственной работы по истории и теории романа. Как известно, этот вопрос: теория или история? — поставлен в заголовке предисловия к его труду:

«Я окончил вчерне три главы из истории романа, которые думаю издать с небольшим введением, — писал Александр Николаевич.<sup>36</sup> — Думаю по частям разра-



ботать свой последний общий курс за три года и, коли удастся, выбрать из отдельных монографий то, что в них окажется общего и более методического.<sup>37</sup> К несчастью, монографическая работа увлекает своими частностями, в которых зерно общей идеи теряется, как в мусоре. Вы сами поверите это на себе; для меня это круговорот необходимый: задашься чем-нибудь принципиальным, растеряешь его в фактических дрязгах, из которых снова выберешься, если только выберешься, — к принципу...»

В высшей степени характерен стиль Веселовского — сжатый и стремительный, подобный скороговорке его живой речи, часто неправильный по конструкции, но образный, меткий, с неожиданными уподоблениями, всегда выразительными.

Помимо писем из деревни и значительного числа записок по городской почте, остающихся как воспоминание о том времени, когда еще не было телефонов, более последовательная корреспонденция с Веселовским группируется около трех моментов: моего пребывания в Лейпцигском университете в течение двух семестров в 1882—83 г., зимы, проведенной Александром Николаевичем в Меране в 1885—86 г., наконец, ряд писем во время второй моей поездки за границу, в 1888—89 г., из которых я уже привел некоторые извлечения. Первая группа писем характеризует отношение к создаваемой им у нас «школе» романо-германской филологии, по образцу западных университетов.

### 3

Отъезд мой за границу по окончании курса несколько замедлился вследствие двух обстоятельств: во 1-х, мне пришлось отбывать воинскую повинность, так как я записался раньше вольноопределяющимся, до оставления при университете; во 2-х, тогдашний министр народного просвещения, граф Делянов,<sup>38</sup> потребовал, чтобы я подал ему самостоятельное прошение о командировке, помимо университета. От этого я наотрез отказался. Тогда начались уже гонения на университеты перед введением нового устава,<sup>39</sup> и высшее начальство старалось вселить рознь в недрах факультетской жизни, чтобы разрушить связь между старшими и младшими, между профессорами и их слушателями и учениками. На эту удочку я, конечно, не пошел. Но и факультет медлил постановлением, несмотря на очень решительное сочувствие командировкам в заграничные университеты, высказываемое мне профессорами Васильевским,<sup>40</sup> Ламанским, Минаевым<sup>41</sup> и Помяловским.<sup>42</sup> На заседаниях факультета Веселовский был редким гостем. Кончилось тем, что я поехал с паспортом «фейерверкера в запасе Лейб-гвардии Артиллерийской бригады»,<sup>43</sup> что не могло мне послужить очень подходящим документом для слушания лекций *privatim* и *privatissime*<sup>44</sup> и пользования университетскими книгохранилищами. Но я рассчитывал на публичность лекций и на содействие проф. Лескина в Лейпциге,<sup>45</sup> которому рекомендовал меня Ягич.<sup>46</sup> Без содействия Лескина я действительно оказался бы в довольно затруднительном положении, так как публичные или общедоступные лекции не представляли особого интереса, а на занятиях *privatim* фамулы<sup>47</sup> очень зорко присматривались ко всякому новому лицу в небольшой аудитории, проверяя «права» слушателя и взнос гонорара за лекции.

Потом подошли и нужные документы из университета, так что, после торжественного Handschlag<sup>48</sup> с проф. Царнке, ректором университета,<sup>49</sup> я был формально зачислен студентом и мог посещать какие угодно лекции, занимаясь и *privatissime* с разрешения профессоров.

Сгоряча я записался на уйму лекций и посещал семинарию по трем специальностям: немцы удивлялись, но не возражали, так как я готовился добросовестно к практическим занятиям.

Лейпциг мне посоветовал выбрать Веселовский. Еще из деревни, где он в тот год оставался до конца сентября, он мне писал: «Один либо два семестра напр. в Лейпциге дадут Вам вдоволь материала для работы: по германской филологии Царнке (...) по романской, кажется, Schuhardt<sup>50</sup> (А. Н. ошибался: в Лейпциге занимал кафедру романской филологии не Шухардт, а Эберт.<sup>51</sup> — Ф. Б.). Я бы советовал Вам вести рука об руку романские и германские занятия, причем ничто не мешает Вам отдать более времени и труда первым. Много, что там Вам раскроется впервые, могли бы мы сделать и в Петербурге, если б я мог меньше отдаваться общим курсам, Вы были бы освобождены от массы посторонних специальности занятий. В будущем, быть может, будет и лучше; хотя — в далеком будущем.

Языком (или языками) старайтесь заниматься с доцентами и начинающими; больше сделаете; а большие величины, часто мало доступные, оставьте для общих курсов. Комбинация тех и других будет Вам крайне полезна. Ягич, *если не приехал, то придет к 15 сентября; зайдите к нему и попросите от моего имени рекомендательную записку к Лескину* (проф. славянской филологии). У него собираются русские; у него Вы соберете нужные Вам сведения и рекомендации; у него хорошая библиотека. Я его лично не знаю, но за отсутствием Ягича я бы сам решился написать ему о Вашем посещении. Воеводскому (одесскому)<sup>52</sup> он даже приискивал квартиру, заботился о нем и т. д.

Лейпциг лучше всего; Берлин дороже; в мелкие университеты едва ли полезно забираться...»<sup>53</sup>

Как явствует из этого письма, за два-три года после первого знакомства отношение Веселовского к «слушателю-товарищу» значительно изменилось: он уже составляет, руководит, учит. Правда, за это время умножилось и число специалистов по его кафедре, с которыми надо было так или иначе наладить правильные занятия. Веселовский высказывает желательность и предвидит возможность лучшей организации дела преподавания романо-германской филологии и в Петербургском университете с оговоркой «в далеком будущем...». В следующем письме, все еще из деревни, Веселовский рекомендует мне — послушать Эберта: «Какой он „учитель“, не знаю; во всяком случае, не пренебрегайте указаниями моего предыдущего письма: языку и филологической технике учиться преимущественно у молодых сил; впрочем, Вы сами проверите мой совет на деле...»<sup>54</sup>

У меня сохранилось около 20 писем А. Н. Веселовского, адресованных в Лейпциг: большинство их имеет теперь только историко-биографический интерес. Однако в свое время они сыграли для меня весьма важную роль, так как я продолжал «исповедоваться» по поводу всего воспринимаемого мною из западной науки, а в лице Веселовского всегда находил внимательного, дружески расположенного корреспондента и советчика, выказывающего живой интерес ко всем проявлениям научной жизни на Западе. Иногда дело касалось и просто справок, выписки книг, сообщения библиографии и т. п. Отмечу лишь два эпизода из этой переписки.

«Из Лейпцига пишите почаще, — писал мне Александр Николаевич (16 сент. 1882 г.), — о ваших занятиях, новых книгах, методе преподавания; последнее будет и мне полезно».<sup>55</sup>

И вот, исполняя его желания, под впечатлением изрядной хаотичности наших занятий в Петербургском университете, разбросанности интересов, переходов от скандинавской мифологии к провансальской поэзии, от готского языка к старофранцузской литературе, от Беовульфа<sup>56</sup> к итальянскому Возрождению и т. п., и все урывками, насколько, без надлежащего усвоения, я писал Веселовскому, что на меня очень приятное впечатление произвела строгая методичность занятий в Германии. Быть может, лекции грешат излишней элементарностью, зато все ведется очень последовательно. И на занятиях в семинарии вас не допустят к чтению тех или иных текстов, если не представить зачеты по семестрам, имеющим подготовительное значение. Для меня как иностранца делались исключения, а так как сту-

денты-немцы проявляли значительную робость или не успевали подготовиться, то сплошь и рядом я выступал докладчиком интерпретации текста. Потом это мне надоело, но вначале нравилось, и ощущалась несомненная польза от системы преподавания. По-видимому, в одном из писем у меня вырвалось замечание, что немцы — «умники». <sup>57</sup> Александр Николаевич ответил (апрель 1883 г.):

«Grucker'a выпишу, полагаясь на Вас. Относительно немцев мы с Вами сходимся, только вместо „умников” (это — и много, и мало) я поставил бы „методиков”. В этом их сила, этим я измеряю отношение Ренуара <sup>58</sup> к Дицу, <sup>59</sup> англичан к Боппу; <sup>60</sup> Нибура <sup>61</sup> к его французскому предшественнику XVII века (имени не припомню); <sup>62</sup> с другой стороны, посмотрите на массу немецких диссертаций (мы их получаем здесь), из которых 3/4 написаны, очевидно, не умниками, чтобы не сказать более, но 9/10 полезны, потому что методично сработаны. Что метод учителя становится в школе шаблоном — это другая сторона дела, нигде так не wuchernd, <sup>63</sup> как именно в стране метода. Я переносу это наблюдение назад, хотя бы в Minnesang, <sup>64</sup> который Вы затронули; я имею в виду сравнение лирики немецкой и „романской” (средневековой) и жалею, что не коснулся подробнее этого „народно-психологического вопроса” в моей статейке о книге Schultz'a («Das höfische Leben» и т. д.). <sup>65</sup>

Относительно Paul'я мы с Вами совсем сойдемся; его лингвистика внушает мне уважение (и ужас), и я читал все его работы, кроме работы о тексте „Нибелунгов”. <sup>66</sup>

Но речь шла о работе Paul'я, которой Александр Николаевич тогда еще не читал — «Prinzipien zur Sprachgeschichte», и по поводу ее возгорелся у нас довольно длительный спор, требующий некоторых пояснений. По поводу же «методичности занятий» приведу, кстати, еще одно его замечание, указывающее на затруднительное положение заведующего кафедрой в русском университете и его готовность идти на некоторые жертвы в интересах слушателей:

«В первое полугодие я читал „Poema del Cid”, <sup>67</sup> — писал Веселовский зимой того же 1882—83 г. (письмо без даты), <sup>68</sup> — и готовился во втором приступить к англосак(онскому) языку. Как ни неприятно мне лично это скакание с одного языка на другой, но что же делать? Я один, а специалистов следует ввести в знание возможно большего числа языков, которыми они впоследствии будут орудовать. Оказался между ними раскол: один охотнее стал бы заниматься англосаксонским, потому что его симпатии лежат к германизму, другие, наоборот, не желали бы выходить из границ романства (sic) именно в этом году — и это желание совершенно рационально. Я и хочу взять для чтения прованс(альский) язык. Если Вы где увидите и перелистаете Suchier, <sup>69</sup> скажите, как он Вам приглянется». <sup>70</sup>

О том, как внимательно стал присматриваться Веселовский к новым своим слушателям и ученикам, свидетельствует следующее замечание, подтверждающее и его смущение перед разными запросами, связанными с постановкой кафедры романо-германской филологии.

«Кстати: рекомендую что-нибудь новое по грамматике Althochdeutsch. <sup>71</sup> Я слежу буквально за всем, но нового ничего не вижу. Надо для одного интересного субъекта, Брауна, с которым я познакомился лишь в этом году: это студент 2-го курса, которого я видел на специальных курсах еще прошлого года. Т(аким) обр(азом) он познакомился с сев(ерным), исп(анским), прованс(альским) языками; в будущем году он будет моим слушателем по праву — и германистом. Это хорошо и худо, по выражению русской сказки, потому что 3 специалиста желают быть романистами! Не разговаривать же мне, я не Tausendkünstler, <sup>72</sup> по крайности не могу быть всем зараз. Итак: грамматику Althochd(eutch)!» <sup>73</sup>

Этот вопль, внушенный желанием угодить молодому специалисту, довольно характерен в устах Александра Николаевича, а «интересный субъект», о котором шла речь, — никто иной, как предугаданный Веселовским еще в 1883 г. его преем-

ник по кафедре и нынешний председатель Неофилологического общества, уважаемый проф. Федор Александрович Браун.<sup>74</sup> Для будущей биографии Федора Александровича любопытно отметить это раннее упоминание об его интересе к науке, которой он посвятил свою дальнейшую деятельность, обогатив облюбованную область многими ценными трудами.

Возвращаюсь к Паулю и предмету некоторых наших расхождений с Александром Николаевичем, впрочем, закончившихся весьма миролюбиво.

Дело в том, что одним из моих неожиданных, но довольно сильных увлечений в Лейпциге оказалось новое направление в языкознании, известное тогда под кличкой «юнг-грамматиков». Я не был подготовлен занятиями в Петербургском университете к области сравнительного языкознания, и Веселовский имел полное основание, как увидим ниже, поставить мне это отчасти в упрек, однако незаслуженный, так как лекций проф. Минаева я не мог слушать по той простой причине, что они совпадали с часами занятий у Веселовского. Ни тот, ни другой профессор не желали изменить привычных часов. Однако юнг-грамматика захватила меня новизной методов, интересом выдвинутых принципов отношения вообще к проявлениям словесного творчества, наконец, и новыми перспективами в области этого творчества. В данном направлении, хотя и в рамках специальной отрасли знания, я впервые предугадывал эволюцию новейшей поэзии и познакомился с основами всего движения «модернизма». Раскрылось это мне яснее много лет позже, а пока я приветствовал только революцию в методике научного языкознания.<sup>75</sup>

А. Н. Веселовский отчасти возражал, отчасти соглашался, в общем все же придерживаясь традиции. Но мало помалу он стал делать уступки и даже указывал, что сам он не чужд некоторым «новшества». Приведу несколько отрывков из его писем на эту тему. Сначала он особенно сдержан, но и не отрицает:

«Очень рад (т. е. отчасти), что Вы начинаете проникать в глубь науки о языке и даже строите на ее методе возможность метода историко-литературного. Только не увлекайтесь через меру Паулем и юнг-грамматиками, а постарайтесь, если это Вас интересует, познакомиться и с *altera pars*.<sup>76</sup> В сущности, нового они ничего не открыли, а лишь дали большее значение кое-чему, что и прежде было известно (напр., аналогии). Я не отрицаю их заслуг, только не понимаю ненужного ломанья стульев из-за вещей, того не стоящих. Побеседуйте при случае с Лескином, как я здесь трактую об этом предмете с его приятелем Ягичем. А мне напишите, *entre nous*,<sup>77</sup> что Вы надумали по историко-литературному методу? Это крайне интересно».<sup>78</sup>

Следующее письмо получено 27 февраля 1883 года:

«Я вот уже месяц как хвораю и сижу дома (бронхит, ларингит и несколько других столь же прелестных -итов); было не до писем. Теперь, когда жена, дня через 2—3, обещает выпустить на свободу, я воспрянул духом — чтобы, между прочим, поговорить с Вами относительно Вашего письма и высказанных в нем соображений.

Нечего и говорить, что в общем мы с Вами сойдемся или уже сошлись. Мой первый (70-го года) курс в университете посвящен был наполовину тем же теоретическим вопросам и вопросу метода, который занимает теперь и Вас. Я не успел обработать этот курс (напечатана была одна лишь вступительная лекция),<sup>79</sup> к темам которого возвращаюсь теперь в чтении прошлого (эпос), нынешнего (лирика и драма) и, м. б., будущего года.<sup>80</sup> Я думаю напечатать этот курс, хотя бы затем, чтобы свести в одно целое взгляды, с которыми мне нередко приходилось выступать печатно, но „по поводу“, и в таких специальных работах, в которые заглядывали лишь охотники. Укажу лишь на мой отчет об Archivio Питрэ в Ж. М. Нар. Просв. (по поводу письма М. Мюллера):<sup>81</sup> о том, что „мифологический процесс не прекратился“, что „сказки, записанные в наши дни, представляют гораздо более прочный и достоверный материал для характеристики мифологической деятельности, чем

однородные или предполагающиеся таковыми памятники древности, как фонетические показания живого наречия важнее теоретических соображений о фонетических процессах отжившего языка», и т. д. Согласно с этим я построил тот отдел моих лекций, который посвящен вопросу о „генезисе лирико-патетического слова” — главным образом на данных современной обрядовой поэзии, которая послужила мне точкой отправления, — для уяснения поэзии личного чувства (кстати: о кантиленах, как ячейке эпоса, я несколько другого мнения, чем Вам передавали) и т. д.

Вы спросите себя: для чего все это словоизвержение? Для того, чтобы сказать, что мы могли столкнуться в выводах, несмотря на отличие точек отправления, т. е., собственно говоря, точка отправления была одна и та же, но она лежит за Паулем — в том „народно-психологическом” направлении или школе, откуда и юнг-грамматики почерпнули многое, если не все, живое, вменное историко-литературному методу. Вы сами назвали Штейнталя.<sup>82</sup> Мое отношение к „новшеству” юнг-грамматиков определяется моим уважением к его источникам.

Кстати: где высказались в указанном Вами смысле Царнке и Вильманс (я разумею их определение литературы и т. п.)?<sup>83</sup> Мне это интересно для истории вопроса. Я начинаю не с этого (как Царнке), а с первичного синкретизма поэтических форм, из которого происходит последовательно ряд уследимых исторически и психологически выделений; кантилена стоит (NB — для меня) на водоразделе лирики — и эпической песни (ее тип: наша былина), матерьял эпосеи.

Не знаю, уяснили ли Вы себе, по этим беглым намекам, мою точку зрения. Я возвращаюсь к этому вопросу невольно; меня он интересует, а потолковать не с кем. Успокоюсь, когда приведу в порядок материал и пропечатаюсь (sic), хотя бы затем, чтобы вызвать критику. И это важно. Но к этому вернемся когда-нибудь в другой раз. Пока профессорская лямка велит идти вперед: работаю над драмой. И здесь, как в предыдущих отделах, вопрос формы отделяется от вопроса содержания, т. е. мирозерцания. Мистерия — не драма в последнем смысле слова. Какие же условия возникновения драмы в этом определенном значении? Можно ли при решении этого вопроса ждать ответа от метода-панацеи, рекомендуемого юнг-грамматиками...?»<sup>84</sup>

Тут нет решительного отрицания юнг-грамматиков, но иронический выпад по их адресу все же не говорит в пользу большого сочувствия Александра Николаевича данному направлению.

Со своей стороны, я, может быть, с некоторой излишней запальчивостью, по молодости, иронизировал над «описательными приемами» представителей старой школы, ошибочно выдаваемыми за научную разработку предмета.<sup>85</sup>

«...Что вы понимаете, однако, под филологами „описательной” школы, — спрашивал Веселовский в одном из следующих писем (16 марта 1883 года). — За вычетом некоторых лингвистических дисциплин — все остальное на немецких кафедрах подойдет под ваше определение. История литературы так именно везде читалась, м. б., и теперь читается. Есть несколько новых *velléités*,<sup>86</sup> которые хорошо было бы изучить как симптом или как метод. Я еще не уяснил себе. Стоит это в связи с недавно основанной в немецк(их) университетах кафедрой новой немецкой литературы (Берлин, Вена: Erich Schmidt, ученик Шерера; если не ошибаюсь: Страсбург);<sup>87</sup> ее продукты: некоторые работы Шерера,<sup>88</sup> Эриха Шмидта, Минора<sup>89</sup> и т. п. Для Вас, интересующегося вопросами литературы, близкой нам по времени, может быть, интересны продукты этой историко-литературной школы».<sup>90</sup>

За совет благодарил и не преминул бы им воспользоваться, если бы не чувствовал потребности довести хоть одно дело до конца. Раз уж взялся за юнг-грамматиков, надо было договориться, и я остался в Лейпциге и в Пасхальные каникулы написал обширный доклад о современном направлении языкознания, привязавшись к «Prinzipien» Paul'я, книге, которая действительно меня в ту пору очень заинтересовала и захватила.

Я послал свой доклад А. Н. Веселовскому в виде отчета о занятиях, вовсе не предназначая его к печати, особенно в виду некоторой спешности работы. Мне хотелось прежде всего убедить самого Александра Николаевича, что новые «Prinzipien» правильнее, действительнее прежних, и раскрывают значительные горизонты. Вскоре я получил следующий ответ Веселовского (27 апреля 1883 года):

«Получив Вашу работу, я мог тотчас же прочесть ее, благо лекции кончились, и я сравнительно свободен. Полагаю, что статью Вашу следовало бы напечатать; юнг-грамматики, как Вам известно, существуют и у нас, и даже более крайние, чем их западные сверстники (укажу лишь на произведения Бодуэна де Куртнэ и его школы),<sup>91</sup> но публика — *resos*<sup>92</sup> — их не знает. Там, где они доходят до крайностей, это игнорирование полезно; но есть в новом направлении и хорошие стороны, которые Вы и постарались раскрыть. Дело лишь в том, насколько это направление в самом деле новое? У Вас перспектива от Гумбольдта,<sup>93</sup> истолкованного Штейнталем, и Лескина к Паулю несколько затушевана, потому что последнему Вы придали значение центра, тогда как он, главным образом, обобщил живые течения в области лингвистики. Скажите мне — „на духу“: что Вы читали в этой области до книги Пауля и не с нее ли начали Ваше знакомство с вопросами сравнительного языкознания? Вопрос, может быть, нескромный, но мне он невольно пришел в голову, и Вы можете не отвечать на него. Пишу Вам не как специалист, а как начетчик, следивший за общими вопросами, а когда-то очень усердно и за частными, и немного отставший лишь потому, что, не работая лично над частными, не могу поручиться за верность моих общих симпатий, — принужденный *jugare (и egrare?) in verba magistri*.<sup>94</sup> Во всяком случае, могу лишь сочувствовать Вашему желанию ознакомиться возможно обстоятельнее с настоящим положением лингвистики. По этому поводу воспоминание. Вам и Ланге я давно тому назад советовал обратить внимание на лекции Минаева, которые познакомили бы Вас с библиографией предмета. Кстати, Минаев сочувственно относится к „Prinzipien“ Paul’я, тогда как Ягич относится к ним сдержанно».

Дальше идут некоторые частные замечания и ссылка на Асколи, обратившего раньше внимание на значение «аналогии» и диалектов современных.<sup>95</sup>

«Я надеялся, что Вы глубже войдете в критику Паулем „народной психологии“ Штейнталя и Лазаруса.<sup>96</sup> Это, по-моему, самая слабая сторона его книги; дело идет о неловко выбранном термине, а Пауль хочет уверить нас, что вместе с ними были перенесены на народную „душу“ представления о психологических процессах, наблюдаемых в единичной душе. Ведь это игра словами, отводящая глаза. (...) С Вашего дозволения, покажу Вашу статью Майкову<sup>97</sup> и Пыпину;<sup>98</sup> за некоторыми исправлениями Вы, вероятно, не остановитесь».<sup>99</sup>

Следующее письмо получено 11-го мая 1883 года.

«Место из Пауля, выписанное Вами, как раз то, которое и я имел в виду, только Вы толкуете его в оправдание, а я отчасти в осуждение.<sup>100</sup> Толковать об этом теперь не стану, ибо и Вы уклоняетесь — полагаю, что надоело, — и я предпочитаю заткнуть фонтан, тем более, что через год (не в след(ующем) академич(еском) году) думаю вернуться к курсу прошлого года, захватить общую часть нынешнего, и тогда наговоримся о народной психологии (*sit venia verbi*:<sup>101</sup> термина я не защищаю. Чем лучше дэмо-психология Питрэ и folk-lore, которым играют на все лады французы и испанцы?) и вопросах метода, которые Вас интересуют в области языка, а меня в смежной народной поэзии и обусловленной ею художественной. Одним словом, хочется исполнить часть намерений, когда-то намеченных мною в моей вступительной речи 1870 года: „О методе“ и пр. Удастся ли это — не знаю, курс, затеянный мною теперь, является опытом свода наблюдений; пересматривая его теперь, вижу, что многое следует развить, особенно вопрос об отношениях эпоса к мифу; всего более я доволен своими „collectanea“<sup>102</sup> по вопросу о генезисе поэтического языка и его формул...»

Немного дальше, в том же письме: «Хотелось бы покончить с другими работами («Разыскания» и «Былины»),<sup>103</sup> чтобы отдаться одному: одно дело — очистка материала от всякия скверны, отрицание существующих построений (этим отрицанием, в области лингвистики, и ограничивается Ягич: это — по поводу Вашей цитаты), другое — опыт построения...»<sup>104</sup>

Александр Николаевич, уверовавший было в «народную психологию», с трудом расставался с представлением, которое его раньше увлекло. Он нехотя соглашался в конце концов, что «неудачный термин», — что им было признано, — повлек за собой и ошибочное перенесение понятий и методов работы в чужую область. Конечно, народной психологии как науки нет и быть не может. Если совокупность психических навыков, свойств, выявленный допускает общее представление о народной психике, в фигуральном значении слова, то это отнюдь не оправдывает изобретение новой психологии, ибо психология как наука — одна, и иной быть не может. Склонность к мифотворчеству у некоторых представителей науки второй половины XIX в. совершенно верно была указана Паулем, и необходимо бороться с такими призраками, которые заслоняют истинное положение вещей. Заключение по аналогии, перенесение понятий из одной области в другую, особенно из сферы естественных наук в применение к учениям или псевдоучениям об общественном организме, как бы самостоятельном существе, и т. п. — все это вредило изучению действительных отношений, и оторванность отвлеченных представлений, которым придавалась самостоятельная жизнь, вносила путаницу в научной методологии. Поход юнг-грамматиков рассеял многие заблуждения, царившие не только в науке о языке. Веселовский, как мы видим из приведенных цитат, не отрицал их значения: он восставал только против крайностей и настаивал на «уважении к источникам нового движения». В этом он был прав. Но всякая новая волна, хотя и образуется из той же стихии, как и предшествовавшие ей, самостоятельно вздымается и завершает свой гребень, не отдавая себе отчета, насколько она обусловлена общим движением водяной массы. Справедливое отношение к «источникам» устанавливается много позже, а пока движение создается, оно почти всегда принимает революционный характер, больше низвергать и ниспровергать, чтобы очистить себе путь и созидать, и уже ретроспективно лишь можно выяснить, насколько новое было обусловлено старым, традиционным, из которого, однако, многое надо было и совсем выкинуть. Отношение Веселовского к новым движениям в науке отличалось, во всяком случае, большой трезвостью и благожелательностью: он ни от чего не отворачивался, ничего a priori<sup>105</sup> не отрицал, готов был идти навстречу всему новому и если порой держался и за старое, то для справедливого уравнения заслуг в прошлом и в настоящем. А главное, что он решительно за всем следил, все читал, обо всем — в обширнейшей области филологии новых народностей — стремился составить себе самостоятельное суждение. В нем была такая сильная жажда знания, которая шла вровень лишь с поразительной интенсивностью его работы. В данную пору деятельности этот человек никогда не отдыхал и признавал отдых лишь в смене предмета занятий.

## 4

Обращаюсь теперь к вопросу об организации кафедры по романо-германской филологии, взамен прежней «истории всеобщей литературы» как дисциплины университетского преподавания, и к отношению А. Н. Веселовского к вводимому в половине 80-х годов новому университетскому уставу. Некоторые цитаты из писем представляют интерес для истории вопроса.

Так, еще осенью 1882 года Александр Николаевич писал мне (в Лейпциг):

«Вчера был, по приглашению, в Ученом комитете министра, где рассуждали о применении нашей кафедры (отныне и в будущем — кафедра романо-германской

филологии) к потребности иметь своих университетских преподавателей новых языков для гимназий. Профессоров в будущем полагается не один, а два (один, оплаченный существующим штатом, другой — суммой, специально испрашиваемой на то у министра финансов), кроме того приват-доценты (доценты отменяются вовсе), также оплаченные, из приват-доцентов поступают в профессора, пробыв в первой должности по крайней мере три года. Последнее сведение (касающееся приват-доцентов = нынешние доценты) касается вообще будущего устава. Вас интересует более следующее: романо-германская специальность распадается на два отдела, романскую и германскую; в каждой из них полагаются лекции по языку, общие по литературе. В министерстве вырабатывается не программа лекций, а программа требований от учителей франц(узского) и немецк(ого) языков, которые пройдут через романскую или германскую университетскую школу. Для французов и немцев полагается (помимо средневековой и новой истории, лат(инского) и греч(еского) языка, общих знаний по сравнительной грамматике) специальные знания: прованс(альский), старофранцузск(ий) для одних, готский и средне-нем(ецкий) для других; знакомство с грамматическим организмом романских и германских языков и т. п.

Странно вот что: в университете романско-германская филология для студентов распадается на пол(овин)ы, а для магистерского экзамена удержана прежняя цельная программа, это и хорошо, и дурно, во всяком случае нелогично. Полагаю, однако, что на практике придется при экзамене спрашивать испытуемого, чем он желает быть в университете, и коли романистом, то к германским сведениям такого субъекта относиться легче, и наоборот. Колмачевский по-старому будет отвечать с обоих клиросов: „Эдда” и провансальский. Книга его сработана очень аккуратно, точно и сдержанно; метод хороший. Придется писать о ней; времени нет — а оно не терпит...»<sup>106</sup>

В одном из следующих писем (получено 11 марта 83 г.) Веселовский просит сообщить ему *подробно* (курсив подлинника), сколько отводилось в Лейпциге лекций «по грамматике, диалектам, метрике и т. п., приемы толкования; какое предполагалось домашнее знание. Это мне нужно: 1) в будущем году мне самому придется читать гот(ский) и англосаксонский; 2) будущий устав (если пройдет) грозит изобилием грамматики».<sup>107</sup>

Несколько позже, в том же 83 году: «Очень благодарен Вам за библиографическую роспись последнего письма и за самое письмо, воззрения которого на образовательное значение германо-романского мира в среде гимназических штудий — я вполне разделяю. Но пойдите, втолкуйте это заправилам нашего министерства, поклонникам греч(еской) и лат(инской) грамматики, не греко-римской культуры! Кое-что можно было бы сделать, если бы учителя новых языков обязательно проходили университетский курс, о чем одно время, и еще недавно, толковали!...»<sup>108</sup>

Наконец в августе того же года: «В „Петербургских ведомостях” то и дело трактуют о новом университетском уставе (какой-то Лев Георгиевский, должно быть, сын известного),<sup>109</sup> одним словом, к чему-то готовятся, и не только ждут, но наперед ликуют. Что выйдет из всего этого, не знаю. Знаю одно: если новый устав пройдет, то мне жить в университете — *ad libitum*<sup>110</sup> — 2 либо 7 (семь) лет, после которых я еще могу, если хочу, остаться в университете в качестве *внешнего* (sic) преподавателя, не занимающего официальной кафедры. *Имейте это в виду*. Вопрос лишь в том, пройдет ли в Совете министров или государственном эта статья устава, в которой есть, несомненно, хорошая сторона: не годится старикам засиживаться на кафедре, когда они разучились работать. Думаю, что зимой дело это так или иначе разрешится...»<sup>111</sup>

Прошло два года. Новый устав проведен был через разные инстанции. Александр Николаевич осенью 1885 г. несколько засиделся в деревне, медля возвращением в Петербург. К нему, между прочим, собирался проехать один молодой фило-



соф (Лютославский), взявшийся за тему, смежную с областью литературы, по «истории фантазии»,<sup>112</sup> о чем сообщил ему библиотекарь Императорской Публичной библиотеки И. М. Болдаков.<sup>113</sup> Веселовский ответил отказом и написал мне довольно сердитое письмо, коснувшись в нем и министерских программ. Сначала о Лютославском: «Я не оракул и не справочная контора», — огрызнулся Александр Николаевич, мотивируя свой отказ принять в деревне приезжего философа. А все-таки тема ему понравилась: «Непонятно мне, — писал Александр Николаевич, — ограничение темы известной эпохой; если это ограничение временное, о нем и говорить нечего; если оно принципиально, то рациональных основ эстетики этим не дощешься. Впрочем, увидим; а тема мне нравится, в какой бы области ни пришлось ее решать: философии, всеобщей литературы или какой другой. — Летом я как следует не воспользовался. (...) Кое-что сделал, многое перечитал. Сначала увлекся было „Эддой“ и хотел приналечь на нее; в последнее время работал по народной поэзии (ищу также основ эстетики) и шекспировской драме. Матерьялу много, глаза разбегаются, а Вы — что стоите в стороне?»<sup>114</sup> Впрочем, я это так. Мне не следовало даже побуждать и возбуждать Вас, когда у самого руки отнимаются. Видели Вы, какую программу по нашему предмету сочинили в министерстве? Ведь это из рук вон! А что такое приключилось в нашем факультете по вопросу о расписании лекций? — Из Петербурга мне пишет один естественник, что между министерством и факультетом вышли пререкания, вследствие которых Ламанский подал в отставку (из деканства?) — и что отставка будто бы принята? Точного ничего не знаю и желал бы, чтобы Вы, стоя у источника новостей, написали мне несколько слов об этом деле». Дальше идут частности личного характера. Письмо заканчивается признанием: «Я, впрочем, в скверном состоянии духа и здоровья, чего Вам не желаю».<sup>115</sup>

Сгустились сумерки и в обществе, в разгар реакции, в эпоху всесильных гр. Д. А. Толстого<sup>116</sup> и Победоносцева,<sup>117</sup> и на университетскую жизнь тогдашние веяния свыше отражались печальными мероприятиями. А. Н. Веселовский реагировал на них своеобразно. Его очень взволновало увольнение проф. Ягича. «Дело Ягича, — писал он в апреле, кажется, 1885 года, — меня и смугило, и раздражило. Не умеют у нас дорожить людьми, ибо на рынке идет лишь средний товар, совершенно в духе нового устава. Ягич и какой-нибудь казанский маэстро славянской филологии (сиречь Петрушка)<sup>118</sup> — в сущности все равно перед лицом власти имущих и не имущих разумения: напишут две книжки, пролезут в профессора, коли ничего не произведут за 30 лет — горя мало; лишь бы сидели смирно — украситься степенями и орденами и получать те же 3000 рублей! Уйдет Ягич или Снегирев — сожаление будет одно и то же, казовое, ибо нет ни признания, ни умения отличить хороший товар от посредственного. Первое, быть может, важнее: равнодушие оскорбляет. Ну, да Бог с этим!»<sup>119</sup>

Постепенно Александр Николаевич старается найти возможность примирения с внешними неблагоприятными обстоятельствами и продолжать вести свою линию, не взирая на них. В следующем письме, без даты, вероятно, того же 1885 года, он писал мне:

«Что с нами сделает новый устав — не знаю; он может обратить нас официально в грамматиков, но едва ли от этого дело ухудшится, если удержан будет в силе принцип — свободного слушания лекций. Полагаю, что свободное слушание лишь изнанка свободного стиля; т. е. официально мы будем читать языки, ввиду экзаменов, а частные лекции могут быть по-прежнему посвящены чтением по литературе. Передвижение совершится, стало быть, для министерства такое, что среды получат преимущество перед понедельниками. Думаю, наконец, помяная мой давнишний разговор с Георгиевским (по поводу министерских программ для испытания учителей нов(ых) языков), что от учителей потребуется не только научное знание языка и отчасти его истории, но и литературы в ее главных проявлениях»

ях. Стало быть, и здесь будет лазейка. Главное в желании, т. е. нашем с Вами; другому министерская программа может приглянуться с иной стороны и, опираясь на нее, он будет душить грамматикой. Впрочем, таких любителей найдется пока мало; еще одно успокоительное обстоятельство. Программы — то есть, не хватает малого — исполнителей.

Впрочем, об уставе я знаю столько же, сколько и Вы, да и то из газетных слухов. Странно, что орган министерства, „С.-Петербургские ведомости“, красноречиво молчат, как будто ничего и не случилось. Одновременно с Вашим письмом я получил цидулку от Сырку<sup>120</sup> — тоже хнычет об уставе, который ему грозит действительно не на шутку: ведь с румынским языком ему не приткнуться. Впрочем, погодем погоды и не будем слишком отчаиваться — особенно сидя в Петербурге». <sup>121</sup>

Наконец, А. Н. Веселовский придумал окончательную лазейку, как примириться с неприемлемым и, отстаивая свою духовную независимость, обойти препятствия, чинимые извне свободному развитию университетской науки. Письмо получено из деревни во второй половине сентября (19-го) 1886 года.

«Письмо Ваше получил: вероятно, одно из последних, которым наградят меня на Волгине мои корреспонденты. Все, что Вы пишете ужасного, мне отчасти уже известно из сообщений Ламанского, Миллера,<sup>122</sup> Костычева<sup>123</sup> и других. Я волновался сильно, как и Вы, и начал уже грызть удила, когда вспомнил, что мы в стране, где всякие формы и формации, начиная с обмундировки и кончая уставами, переживаются горячо и поэтому быстро, и что не только Вам, но и мне грешному отчаиваться нечего.

Между прочим, и вот по какой простой причине: программы писаны для экзамена в комиссии; желающим достигнуть этой степени зрелости можно рекомендовать книги, грамматики системы Atis'a и Robertson'a<sup>124</sup> наших лекторов и историю литературы Корша—Кирпичникова.<sup>125</sup> Затем останутся 1—2, а может быть и более, серьезных человека, которым мы с Вами и будем читать. Дело обойдется; я всегда ценил (положу руку на сердце) не количество, а качество слушателей, и Вы с братией были мне ближе толпы. Будет так и в будущем; а м(ожет) б(ыть), будет и хуже: ведь перевод „Капитанской дочки“ на латинский язык удовлетворит немногих.<sup>126</sup> Надо поддержать огонь; я, с дуру, хотел было выбраться из университета в январе, а теперь думаю иное: сам не выйду и приберегу место для лучшей поры и для Вас.

Романо-германское общество существует благодаря Вашим стараниям; первое заседание я думаю открыть небольшой аллюкцией по поводу.<sup>127</sup> (...) Главным образом не робейте и не говорите о каких-то „неблагоприятных условиях“. Надо их устранить; какие это обстоятельства, я не знаю; об этом переговорим.

Весьма благодарен за „Финнбога“,<sup>128</sup> а пока работайте и не унывайте. Лишь бы был интерес к делу, живой; я ведь начал при обстоятельствах куда более неблагоприятных, чем Ваши.

Хочу поговорить в „аллюкции“ о программе наших занятий: истории языка и литературы, народной поэзии, исторической эстетике, которую грозит отбить у нас Лютославский, и методике...» <sup>129</sup>

Веселовский был из числа тех всецело преданных своей науке ученых, по поводу которых неизменно вспоминаются слова Архимеда: *Noli tangere circulos meos!*<sup>130</sup> Не только при вражеском нашествии иноплеменных, но и при действиях внутреннего врага реакционера-угнетателя даже невинной в политическом смысле университетской науки, он не думал о сопротивлении, борьбе, противодействии какими-нибудь внешними актами протеста. В известном смысле он был действительно «не от мира сего», хотя и возражал против такой квалификации; но его мир был исключительно мир познания, мир науки и научных исследований, в которых была вся его жизнь, по крайней мере в данную пору деятельности.

Независимо от устава и того или иного искажения свободы университетского преподавания, вопрос о том, по какому руслу должно было направиться преподавание нефилологии, с ее двумя главными подразделениями у нас — романской и германской филологии, все же и по существу оставался во многом не проясненным; надо было наметить объект и границы науки, оправдать ее *raison d'être*<sup>131</sup> в русских университетах, указать ее задачи, координировать с другими дисциплинами университетского преподавания.

Задачи филологии рисовались мне в ту пору в очень широком масштабе. Еще покойным И. И. Срезневским введено было в круг преподавания в университете понятие «Энциклопедии филологии».<sup>132</sup> Привязываясь отчасти к такому пониманию задач филологии в широком смысле слова, отчасти к новейшим *Grundriss'am*<sup>133</sup> и сводам немецких ученых, я предложил на вступительной лекции такое определение филологии, которое, конечно, выходило далеко за пределы возможного достижения одним человеком. Смелость города берет, и потому сама необъятность задачи понравилась; не возражал против нее и Веселовский, но со временем кое в чем старался (и вполне правильно, конечно) меня урезать и протрезвить. Так, в одном письме 1888 или 89 года, по обычаю без даты, он писал мне:

«Все это надо упрочить, потому что и мне хотелось бы до выхода из официальной профессуры (в январе 1891 г.)<sup>134</sup> увидеть наше общее создание не на песке, а на более или менее солидном фундаменте, с задатками будущего. Вы говорите об идеальном единстве филологии; это прелестно, как недосыгаемый идеал, а вместе с тем практически единство сводится к взаимным симпатиям на почве дилетантизма. Что общего в виду серьезных целей между нами и санскритологом или славистом? Те и другие обняты вашим понятием филологии, но ведь слависты к нам не ходят, а я, например, не интересуюсь либо интересуюсь мало судьбами болгарских носовых. Широким целям филологии отвечает факультет, нам незачем быть его дублетом, а следует работать далее в черте его программы. Тут непременно придется дифференцироваться, даже под опасением прослыть немцем. Итак: разделение интересов есть; но надо оформить, чтобы из этого вышел прок; а душевного единения ты не потеряешь, да оба вопроса и не связаны необходимо».<sup>135</sup>

В другом письме, примерно около того же времени:

«Если филологию свести к тому, что я зову шагистикой (фонетике и т. п.), то это действительно скучно; но зачем и ограничивать тем свою программу? Ведь и историю легко свести к критике и генеалогии текстов летописей, забывая ее другие задачи. Я, впрочем, может быть, понимаю свое дело своеобразно и не так, как следует; это меня и спасает.

Кстати: мы *en train*<sup>136</sup> переименовать наше общество в „неофилологическое“. Сделал я это предложение потому, что оставаясь в лингвистическом смысле преданными изучению германских и романских языков, в отношении литератур мы силится хватать шире: вопросы русской, славянских, византийской литератур, сравнительные задачи *folk-lore'a* и мифологии постоянно заставляют нас грешить против нашей несколько узкой вывески. Мы остались романо-германцами в интересах языка, в других мы расширяем свое любопытство на литературы всех новых народов, с тяготением к романским и германским. Об этом вчера дебатировалось в Обществе».<sup>137</sup>

Итак, с одной стороны, «сузить», с другой — «расширить»... Против переименования Общества в Неофилологическое вместо Романо-германского я, разумеется, ничего не имел, но понятие филологии, из которой для некоторых новых народностей заранее исключалось занятие языком, представлялось мне неправильно ограниченным: уж если «неофилология», то должны быть допущены доклады и по всем языкам новоевропейских народностей или надо разбиться по секциям. Впрочем, это было не существенно, так как отделения могли возникать по мере потребностей, и неравенство отношения к разным народностям таким путем было бы сглажено.

## 5

«Я рад за Вас: Вы в мире науки, и притом „веселой“», — писал мне Александр Николаевич в Париж зимой 1889 года в ответ на мои сообщения о тамошних занятиях.<sup>138</sup> Да, нигде так не работают, как в Париже. Я рад случаю это повторить. Ни в Германии, ни в Италии, ни в Англии, ни в Испании, — по крайней мере во время моего пребывания в этих странах, а везде в ту пору я жил почти исключительно университетской жизнью, — я не ощутил такого проникновения настоящей научной работой, как среди французов — по отчетливости, строгой чеканке, повышенности требований, тщательной законченности и чрезвычайной добросовестности труда, соперничавшей только с талантливостью выполнения. Парис ценил добросовестность даже выше талантливости в деле установления истины, не терпящей ни малейшего уклона от прямого пути, согласно внушениям совести. Я видел, как работает молодежь в *Ecole des hautes études*<sup>139</sup> и какой резкий контраст образует трудящийся Париж рядом с Парижем веселящимся и Парижем громких фраз и напыщенной болтовни. Это два мира; они стоят боком о бок, но ядро нации в том, что зачастую не видно большинству туристов и даже довольно внимательных, но поверхностно внимательных наблюдателей Франции, которой угрожали призраком вырождения и упадка; и в совсем других областях французы блестяще доказали ошибочность этих воззрений и крепость основного духа нации. Париж — это Афины новой Европы и Франция ее Эллада.

Разница между занятиями в семинариях немецких университетов и в школе Париса была весьма ощутительна, именно по повышенности требований. Парис иногда одним замечанием, одной фразой, даже словом умел так подстегнуть оплошавшего в чем-нибудь ученика, что тот густо багровел. Правда, тот же Парис умел как никто приободрить к занятиям, дать справедливую оценку, поднять вас в ваших собственных глазах и «окрылить дух».

Состав слушателей был тоже иной, чем в Германии: на домашних занятиях у Париса присутствовали в большинстве окончившие курс в Сорбонне, а также университетские преподаватели из разных стран — Швеции, Америки, из той же Германии и России, включая Финляндию.

Я делился с Александром Николаевичем и своими впечатлениями в Париже, куда поехал во второй командировке в 1888 году (осенью). Выше мною приведены сомнения, с которыми меня встретили французские ученые с Гастоном Парисом во главе, и красивый ответ Веселовского по поводу не лишённых некоторой язвительности замечаний Поля Мейера. Спешу, однако, заметить, что если с Парисом у нас потом установились наилучшие отношения и переписка с ним не прекращалась до самой его смерти,<sup>140</sup> то и Поль Мейер выказал мне впоследствии много благожелательности. Он даже сообщил мне копии с некоторых рукописей с предложением ими воспользоваться, если пригодятся, приглашал к себе обедать и забыв или «простив», что я, русский, вторгаюсь в область, где, по его мнению, работать должны исключительно сами романцы. Особенно его поразило, что в одном рукописном своде я нашел версию легенды, имевшую весьма важное значение для установления первичной редакции, тогда как он не обратил на нее внимание.

«Двадцать раз держал я в руках этот кодекс, — говорил Мейер, — и не понимаю, как я не догадался прочесть этот текст. *C'est une vraie trouvaille que vous avez faite*».<sup>141</sup> Но у меня не было никакого чувства гордости по поводу находки: списав текст и установив его значение, я передал его, правда, не Мейеру, а одному немецкому ученому, по указанию Париса, так как возиться с изданием текста я не имел намерения. Но тут-то и вставал роковой вопрос: если посвятить себя надлежащим образом французской филологии, добиваться результатов самостоятельного исследования, то надо было именно засесть за работу критики текста, сводки разных версий, установления первичной редакции и т. п. и самому издавать рукописи.

Для этого надо было прожить два-три года в Париже, работать в заграничных библиотеках, отрешиться от всяких других интересов, достичь, может быть, скромных, но весьма определенных положительных результатов. Быть «романистом»-дилетантом меня не соблазняло; отдаться же всецело делу французской филологии — не значило ли это слишком многим поступиться из своего Я как составной групповой единицы, именуемой своей народностью? Интересы России были у меня на первом плане, и в ту пору я относился с симпатией и к старому славянофильству, более сдержанно к западничеству, воспитанником которого себя считал Веселовский. Да и не достаточно ли своих работников на Западе, чтобы излишним было вступать с ними в конкуренцию? Добиться результатов благодаря пройденной школе было не трудно, — но дальше что? Литература — общее достояние; идеи и образы принадлежат всем; литература нам нужна, об этом не может быть двух мнений. Но работа над текстом — это роскошь, интересная забава, столь же целесообразная, как носить дрова в чужой лес, где есть свои дровосеки. Между тем, если не иметь в виду творческого применения знаний, — а нормирование текста, установление первичной редакции, схематическое построение взаимоотношения версий, — это такое же творчество, как открытие какого-нибудь фонетического закона, — без такой цели занятие филологией в тесном смысле слова утрачивает весь свой смак. Пассивное усвоение чужих открытий, без надежды самому открывать — значило бы обречь себя на роль вечного ученика, положение весьма незавидное. Вечно идти в хвосте за другими — кому это нужно? Романцы и германцы, казалось мне тогда, образуют свой особый мир; у них дело общее; античность с ее общечеловеческим значением — мертвый мир и как таковой он принадлежит всем. Восток близок нам и не имеет своих исследователей. Но Поль Мейер по-своему был прав; если славянин хочет сделаться лингвистом и работать над критикой текстов, то пусть станет славистом: это его прямое дело и даже обязанность. Только подготовительной школой может служить романистика и германистика благодаря совершенству выработанных в них методов. Есть и еще опасность всецело уйти в западные интересы и браться за специальные темы, над которыми работают свои исследователи: будешь производить повторные труды, рискуя придти к уже предвосхищенным выводам. Самостоятельный труд окажется лишенным абсолютного научного значения. Одним словом, перепаживать чужое вспаханное поле — это забава досужего спортсмена, а не настоящий, целесообразный труд пахаря. Обо всех своих раздумьях и сомненьях я сообщал Веселовскому, но беседовал об этом не раз и с Парисом, заявив ему, что я предполагаю все же работать главным образом в области сравнительного изучения литературы, а не посвящать себя исключительно хотя бы французской филологии. Лавры голландца Van Hamel'я, ученика Париса, выпустившего в ту пору критическое издание старофранцузской поэмы «Miserege», над которой он проработал лет пять,<sup>142</sup> вызвав горячие отзывы одобрения во Франции, меня мало прельщали. Парис мне рассказывал, что смолоду он тоже хотел заниматься историко-сравнительной областью литературы, принялся, помимо романских и германских языков, за изучение русского и даже арабского языка, но вскоре отказался от своих планов. Чтобы достичь прочных результатов необходимо ограничить область исследования. Слишком много работы и в ограниченной области. Не овладев в совершенстве специальными занятиями, имеющими прямое отношение к предмету исследования, немисливо добиться определенных выводов. «Мы любимеся огромной эрудицией вашего Веселовского, — говорил он. — Он все читает, обо всем знает, всегда полезно быть в курсе того, на что он ссылается, что привлек к сравнению, но, за исключением его превосходной работы о *Paradiso degli Alberti* и нескольких статей, между прочим помещенных и в „*Romania*“, — *il flotte dans le vague*,<sup>143</sup> в области неопределенного. Я, впрочем, недостаточно знаю его работы, мне трудно читать по-русски, забыл язык. Пожалуйста, давайте нам отчеты о трудах Веселовского. Мы с радостью будем помещать их в

„Romania”. Начитанность Веселовского громадна. Всегда любопытно узнать, на что он укажет, что сопоставит, какую укажет параллель. Я думаю, — признавался Парис, — что сравнительная литература не может быть точной наукой. Она сыграла свою роль в прошлом; теперь нужна работа в отдельных областях». Своим ученикам Парис, однако, рекомендовал учиться русскому языку, так как русская наука, несмотря на свою молодость, идет быстро вперед. Один из них, Sudre,<sup>144</sup> выучился по-русски специально, чтобы прочесть диссертацию Колмачевского о животном эпосе<sup>145</sup> и русские сказки Афанасьева.<sup>146</sup> Другой — Эрнест Мюрэ (Muret), ныне профессор Женевского университета,<sup>147</sup> изучал русский язык, надеясь прочесть труды Веселовского по истории средневекового романа и повести, а также диссертации Дашкевича о Романах Круглого стола.<sup>148</sup> Jeanго,<sup>149</sup> не осилив русской грамматики, просил меня дать наивозможно подробный пересказ работ Веселовского по изучению народной лирической поэзии, главным образом его отчет о сборниках Чубинского, и сообщить перевод русских и малорусских народных песен.

Но молодежь, относясь с большим уважением к трудам Веселовского, слегка подтрунивала над его приемами филологической критики, и произвольные этимологии назывались — *à la façon de Wesselowsky*.<sup>150</sup> Это, конечно, было преувеличением, так как Александр Николаевич и вообще очень редко рисковал предлагать этимологию слов и в большинстве предполагал не фонетический перебой звуков, а искажение какого-нибудь имени, искажение, возможное и вполне произвольно, по случайной обмолвке, вне законов фонетики. Его отношение к Парису было тоже наилучшим: «Я наперед был уверен, что у G. Paris Вам понравится, — писал Александр Николаевич, — он выше их всех и головой, и талантом, и разносторонностью. P. Meuer сам по себе „ничто”, но более освещен лучами своего собрата по „Романии”» (Письмо 1889 г., 4 апр.).<sup>151</sup>

Колебания в выборе деятельности присущи мне были и в более раннюю пору, и многое лишь отчетливее проявилось во время пребывания в Париже. Должно быть, я сообщал о них Александру Николаевичу, так как у меня сохранилось на эту тему интересное письмо его, которое относится еще к 1885 году, ибо в нем сперва идет речь об учреждении Романо-германского общества, а следующую зиму 1885—86 года Веселовский провел в Меране, и я замещал его в университете и на Высших Женских Курсах. Вот это письмо:

«Воскресенье.

Вчера, после того, как виделся с Вами, узнал в университете, что 1) устав нашего общества утвержден (с двумя «стилистическими» поправками) и 2) что с согласия министра, мне (с вами разумеется) и ректору надо будет в начале будущего года составить *pro-memoria*’ю,<sup>152</sup> касающуюся нужд будущего романо-германского отделения (вознаграждения приват-доцентам, привлечение слушателей, специалистов и т. п.). Дело открывается в том и другом направлении, и надо будет о нем поговорить — когда Вы будете не в столь угнетенном настроении духа, как, напр., вчера, т. е. по отношению к нашей правоспособности заниматься тем, чем занимаются другие. За эту правоспособность я стою; почему нам не заниматься романо-германской филологией и даже фонетикой (все зависит от лица и вкусов)? Не распространяете же Вы Ваш остракизм и на русских, занимающихся, напр., сравнительным языкознанием? Все это мы, разумеется, можем добыть с Запада, но где у нас будет критерий познания, что хорошо и что дурно, что принять и что отринуть? В области историко-литературных дисциплин то же недоумение скажется еще более печальными результатами. Какая же тут выработка самостоятельной мысли! Мы-то с Вами ее и не добьемся, но других ободрим своим исканием. Вы мне как-то говорили, что все хорошее у нас переводится, либо о нем говорится. Но как и кем? В окт. кн. „Русской мысли” я прочел отчет В. Г. (кто сей?) о книжке Guyau „L’Art” и т. д.<sup>153</sup> Книга, говорит, хорошая; но что за странный отчет, что за вера

угольщика! Уж не московский ли Грот провещился?<sup>154</sup> Должно быть, впрочем, не он, судя по одному примечанию.<sup>155</sup> Вот так и пишут и будут писать, пока целью будет — конец собственного хвоста. И целью и развлечением».<sup>156</sup>

«Да еще: стал писать свой курс о поэтике в виду Ваших укоров, что я слишком специализуюсь», — писал мне Веселовский в начале<sup>157</sup> 1888 года. — Но, конечно, с моей стороны были не «укоры», а сожаления, что, слишком разбрасываясь, Александр Николаевич не доводил до конца предпринятой в высокой степени интересной работы, и выражение надежды, что он все же напишет свою «поэтику», от которой я так много ждал. И летом того же года (письмо от 28 августа) он писал мне из деревни:

«...Принялся читать Шереровскую Poetik.<sup>158</sup> Приятно поражен, что сошелся с ним кое-где, и даже часто, в плане и построениях, и теперь сожалею, что из своего курса или курсов по истории поэтических родов не обработал для печати ничего, кроме введения — в первом вып. „Из истории романа и повести“.<sup>159</sup> Хочу писать о книжке; но как будет мне доказать свою Priorität<sup>160</sup> по некоторым вопросам, которые рассмотрены были на лекциях, в rifacimento Кудряшева<sup>161</sup> не попали или были там переиначены? Собственно, доказывать и нечего, а все же бес самолюбия забирает; бес, впрочем, бессильный.

Из двух (и даже трех) работ, намеченных мною на лето, приготовил вчерне лишь одну: 5-й выпуск „Разысканий“.<sup>162</sup> Много придется доработать в Петербурге среди лекций. Но кто их будет слушать? Впрочем, есть как бы просвет в лучшее будущее: Деляша<sup>163</sup> уехал в министерский объезд (начиная с Казани), вернется лишь в октябре, а блюстителем после себя оставил не Волконского,<sup>164</sup> а Бычкова.<sup>165</sup> Мы обсуждали с Ламанским, что значит сей сон (писал об этом, с запросом, Майкову). Дело в том, что Бычков не начинающий чиновник, которого можно было бы пустить на месяц в роли затычки; он целый тайный советник, и даже действительный. На такое место *ad interim*<sup>166</sup> он не пошел бы; стало быть (закключаем мы), его готовят на большее. Может быть, Волконского сплавят, Бычков сядет на его место; тогда ухнет Георгиевский и — процветет Филологический факультет!

Это — надежды; пока здесь холодно, приезжих нет, Ламанский уезжает 31; я отбуду с Шуриком<sup>167</sup> день общих именин и тоже потянусь — жаль только, что не в долину Нила с перелетными птицами, а на зимовку в петербургские болота.

Браун в Петербурге; Ланге действует; лекции начнутся с 31-го...»<sup>168</sup>

Из этих «надежд», как известно, ничего не получилось. Делянов вернулся на свой пост как ни в чем ни бывало; Георгиевский никуда не «ухнул», и процветание Филологического факультета осталось под спудом еще на долгие годы; а затем во второй половине девяностых годов начался и его разгром, с удалением целого ряда профессоров и приват-доцентов. Я вышел из университета без внешнего принуждения, по внутреннему импульсу...

## 6

Весной 1889 года Александр Николаевич Веселовский собрался в Болонью на празднества по случаю юбилея университета в качестве представителя Петербургского университета<sup>169</sup> и предложил мне съехаться с ним в Италию, побывать и в Болонье. Он заблаговременно стал готовиться к поездке, прислал мне к сведению текст сочиненного им адреса Болонскому университету, писал из Вены и первые дни по приезде в Болонью (я несколько запоздал), причем тон писем был грустный, даже как бы тоскующий. Встреча со старыми приятелями его как-то не порадовала, как он ожидал; празднества показались банальными: «Программа так переполнена, что нельзя руки протиснуть», — писал Александр Николаевич.<sup>170</sup> Приехав после окончания официальных торжеств, я попал благодаря любезности

Г. Париса на банкет более интимного характера, под открытым небом в загородном ресторане, банкет романистов, съехавшихся из разных городов и стран, под председательством маститого Кардуччи.<sup>171</sup> Этот нечаянный «съезд романистов» заслуживал отдельного описания, в особенности благодаря интересной фигуре Кардуччи — «la gloria d'Italia»,<sup>172</sup> как его тогда величали. И после общего разъезда мы втроем — Кардуччи, Веселовский и я — отправились еще в какой-то кабачок, где засиделись много спустя и после восхода солнца, и немало интересных признаний пришлось мне тогда выслушать от Кардуччи. Но об этом когда-нибудь в другой раз.<sup>173</sup> Я хотел бы закончить воспоминания-характеристику Веселовского следующим эпизодом, имевшим отношение к его поездке в Болонью.

Дело в том что хотя Александр Николаевич давно уже пользовался почетной известностью выдающегося ученого — и в русских университетских кругах, и среди иностранных профессоров, его известность не выходила за дозволенно определенные пределы: она ограничивалась признанием заслуг среди лиц, интересующихся областью работ Веселовского, и не имела широкого отклика. Удивлялись главным образом его эрудиции и преклонялись перед трудоспособностью, но кроме специалистов по русской и иностранной литературам, его почти не читали. Да и читать, конечно, было нелегко, без подготовки.

Впервые приезд в Болонью в качестве официального представителя Петербургского университета заставил обратить внимание на Веселовского с более общей точки зрения. Тогда появился восторженный отзыв о нем проф. Мыцельского, отзыв, правда, не лишенный риторических прикрас, но я позволю себе привести его полностью, так как он вызвал очень интересное письмо ко мне Александра Николаевича. Случайно этот отзыв сохранился у меня в газетной вырезке — не знаю точно из какой газеты. Вот что в ней напечатано:

«На болонских университетских торжествах произошло сближение между русскими и польскими профессорами, о котором весьма подробно повествует в „Czas'e" (по переводу «Варш(авского) Дневн(ика)» профессор Краковского университета г. Мыцельский.<sup>174</sup> Особенно прельстил поляков петербургский профессор Веселовский, несмотря на то, что отзывался о „политике" весьма иронически.

„Это, — пишет г. Мыцельский, — профессор сравнительной литературы, известнейший археолог, знающий литературы всего мира, как знают их ныне немногие, мощный и беспристрастный их исследователь — Александр Веселовский. Фигура, во-первых, импонирующая и весьма замечательная; огромный человек, он имеет здоровый вид, как дуб из лесов по Волге; голова большая, щеки выпуклые, окладистая черная борода, густая и сбита, как у какого-нибудь архиерея; глаза большие, черные, светящиеся, столь быстрые притом и так много говорящие о необычайном таланте, что уже они одни лучше всего о нем свидетельствуют. Поговорив с ним, выносишь впечатление, что какие-то богатырские силы ума, учености, способности, может быть, еще наполовину дремлют в нем, и что-то, что он дает из своей богатырской головы, это может быть только частица, а способностей там и силы хватит еще на года и сотни предметов. И только когда увидишь его и поговоришь с ним, становится понятно, что он мог уже столько, и притом так великолепно, сделать, потому что сочинения его, изданные на разных языках, известны ныне ученому миру всей Европы, и углубили чрезвычайно понимание в особенности итальянской литературы"».<sup>175</sup>

И вот, вскоре после возвращения А. Н. Веселовского к себе в деревню, в Новгородскую губ., я получил от него следующее письмо:

«Отзыв Мыцельского (переведенный из «Czas'a» в «Варш. Дневнике») доставлен был мне Ламанским и Гротом из Рязска.<sup>176</sup> Мне, очевидно, польстили не в меру; умереннее был отзыв Meyer'a (из Graz'a) в „Neue Freie Presse",<sup>177</sup> вырезку из которого сообщил мне Ягич. На похвалы я не падоk, ибо знаю, что в самом деле стою, и излишек вменяю какой-нибудь предвзятой мысли, не считающейся с ли-



цом, а лишь случайно пользующейся им, либо литературной галантности; кое-где я склонен подозревать и нечто другое, худшее: ироническую подкладку в вежливости, рассчитывающей на человеческую слабость к лести. Вы знаете, что я и Вам нередко жаловался на недостаток времени и средств, мешающий мне отдаться некоторым початым и непочатым вопросам, былинам, Возрождению, общим курсам по поэтике и т. п. Представьте, что было бы со мною, если бы я в самом деле уверовал в свои „богатырские силы“ — при сознании, что я не могу их проявить? Но я знаю свой шесток и свои слабые стороны.

Долго ли вы останетесь в Париже и т. д.»<sup>178</sup>

Это одно из последних «хороших» писем, полученных мною от Александра Николаевича. Написано оно, несомненно, с чувством большого достоинства и ценно по самоопределению, весьма искреннему. Мы можем, конечно, найти в нем чрезмерную скромность, не в смысле оправдания риторических приемов Мыцельского, а потому что и несмотря на чрезвычайную занятость, на вполне справедливые жалобы Веселовского «на недостаток времени и средств», он все же исполнил огромный труд и использовал в высшей мере данные ему от природы силы и напряжением воли развил в себе необычайную работоспособность.

Оценка результатов его непрерывной, с лишним полувековой неустанной научной деятельности не входит здесь в нашу задачу. Не могу не отметить только, что разбор его бумаг, к которым обратились после его смерти, вскрыл еще одну черту Александра Николаевича в его отношении к задуманным, исполненным или только намеченным работам — или, как он выразился, «початым и непочатым вопросам»: он постоянно возвращался к прежним трудам, не забросил почти ни одной из избранных им тем, и большинство его сочинений и статей, переплетенных в особые тетради с белыми листами, густо уснащено добавочными примечаниями, комментариями, ссылками на позднейшие труды, дополнительной библиографией. Он умел сохранить интерес к тому, что занимало его много лет назад; умел возвращаться к сказанному раньше, проверяя, добавляя, а иногда и исправляя прежние суждения и построения. Эта непрерывность работы сглаживает даже расстояние возрастов и сообщает какую-то устойчивую юность всей деятельности Александра Николаевича, чрезвычайную живучесть его настроений и интересов.

Стремился охватить он очень многое, иногда, быть может, испытав на себе верность старинной поговорки — *qui trop embrasse, mal estreint*,<sup>179</sup> но своими возвращениями к тому, что им было сработано, зачато, намечено, он научался лучше и *bien estreindre* недоделанное.

В истории науки такие явления, как Веселовский, в котором было много стикретистского, не могут повторяться: мы видели, что он сам себя остроумно назвал «стикретистом», а по его же теории стикретизм — показатель зачаточной стадии, подлежащей закономерной и неизбежной дифференциации, в которой и заключается один из элементов прогресса. Но пусть «стикретист», тем не менее Веселовский, вместе со своим учителем Буслаевым<sup>180</sup> и соратником Потебней,<sup>181</sup> образует то славное «трехзвездие», которым по праву может и должна гордиться русская филологическая наука.

<sup>1</sup> Таковы три речи академиков Соболевского, Истрина и Перетца, произнесенные на торжественном заседании 2-го Отделения Академии наук по случаю десятилетия смерти Веселовского, осенью 1916 года (*примечание Батюшкова*). — Упомянутое заседание состоялось 11 декабря 1916 года. Речи академиков А. И. Соболевского, В. М. Истрина и В. Н. Перетца были опубликованы в сб.: Памяти академика Александра Николаевича Веселовского. По случаю десятилетия со дня его смерти (1906—1916). Пг., 1921.

<sup>2</sup> Романо-германское общество (точнее, Романо-германское отделение Филологического общества) при Петербургском университете возникло по инициативе А. Н. Веселовского в начале 1885 года (с 1889 года — Неофилологическое общество); бессменным председателем его был А. Н. Веселовский, Батюшков был его секретарем до 1896 года.

<sup>3</sup> Роман Поля Бурже «Ученик» («Le Disciple») появился в 1889 году. Greslou (Грелу) — герой этого романа.

<sup>4</sup> Доклад Батюшкова состоялся 6 октября 1889 года и был опубликован под заглавием «Кто виноват в протупке Грелу?» в журнале «Пантеон литературы» (1889. Окт. Современная летопись. С. 1—27).

<sup>5</sup> Имеются в виду братья Аничковы: Иван Васильевич (1863—1921) — востоковед, краевед, археолог, и Евгений Васильевич (1866—1937) — ученик Веселовского, историк литературы и фольклорист, приват-доцент Киевского и Петербургского университетов, позднее профессор Белградского университета и Университета г. Скопле; Аничковым принадлежало имение Ждани Боровичского уезда Новгородской губернии. У Батюшкова эта фраза дана в сокращении, равно как и фамилия соседей («А-ми»).

<sup>6</sup> Известный роман Дидро (*примечание Батюшкова*). — Название этого романа Д. Дидро — «Племянник Рамо» («Le Neveu de Rameau», 1761).

<sup>7</sup> Роман Э. Золя «Мечта» из серии «Ругон-Маккары» (1888).

<sup>8</sup> Буквально — «светловолосая веселость» (*фр.*). Этот пример приведен в статье Веселовского «Из истории эпитета» (1895).

<sup>9</sup> «Роман о Розе» («Roman de la Rose») — одно из наиболее значительных произведений французского Средневековья (XIII век).

<sup>10</sup> ИРЛИ. № 15041. Л. 249—250 (далее — только номера архивного дела и листов).

<sup>11</sup> Парис Гастон (Paris, 1839—1903) — французский филолог-медиевист, один из крупнейших специалистов в этой области; Веселовский был связан с ним длительной профессиональной дружбой и посылал к нему для усовершенствования своих учеников, среди которых был и Батюшков, относившийся к нему с огромным пиететом.

<sup>12</sup> Прочтите его (*фр.*).

<sup>13</sup> Уайльд Оскар (Wilde, 1854—1900) — английский писатель и критик, Гюйо Мари-Жан (Guyau, 1854—1888) — французский поэт и философ.

<sup>14</sup> Сюлли-Прюдом Рене-Франсуа-Арман (Sully-Prudhomme, 1839—1907) — французский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1901); его поэму «Счастье» («Le Bonheur»), посвященную Гастону Парису, Батюшков подробно характеризовал в письме к Веселовскому от 3(15) апреля 1888 года (ИРЛИ. Ф. 45. Оп. 3. № 112. Л. 226; далее — только номера архивных дел и листов).

<sup>15</sup> Фирме «Мелье и К°» принадлежал книжный магазин А. Ф. Цинзерлинга на Невском пр., 20.

<sup>16</sup> Письмо Веселовского от 8 апреля 1888 года (№ 15041. Л. 210); ср.: Веселовский Александр. Избранные труды и письма. СПб., 1999. С. 316 (далее — Избр. труды и письма).

<sup>17</sup> Магистерская диссертация Веселовского «Il Paradiso degli Alberti...», над которой он работал в Италии и где она была издана на итальянском языке (1867—1868); ее русская версия увидела свет в 1870 году и в том же году была защищена в Московском университете.

<sup>18</sup> Мейер Поль (Meuser, 1840—1917) — французский филолог-романист, выдающийся знаток провансальского языка и литературы.

<sup>19</sup> Россия, должно быть, еще очень молода, чтобы до такой степени везде стремиться к знанию (*фр.*). Этой же фразой Парис встретил гр. А. А. Бобринского, другого ученика Веселовского, совершенствовавшегося под руководством французского ученого. См. письмо Бобринского к Батюшкову из Ниццы от 7(19) января 1886 года (ИРЛИ. № 15015. Л. 29).

<sup>20</sup> Магистерская диссертация Батюшкова «Спор души с телом в памятниках средневековой литературы» была защищена им 24 ноября 1891 года в Петербургском университете.

<sup>21</sup> Вам следовало бы главным образом изучать славянские языки (*фр.*).

<sup>22</sup> Проблему, вопрос (*фр.*).

<sup>23</sup> Народные песни (*фр.*).

<sup>24</sup> Родная овчарня (*ит.*) — реминисценция из «Божественной Комедии» Данте («Рай». Песнь 25. Ст. 5).

<sup>25</sup> Мифологический сюжет: на пути в Фивы Эдип встретил Сфинкса, который стерег дорогу в этот город и задавал путникам загадку. После того как Эдип разгадал ее, Сфинкс бросился в пропасть и дорога в Фивы стала свободной.

<sup>26</sup> Эвноя — река доброй памяти, текущая из одного источника с Летой, рекой забвения (реминисценция из «Божественной Комедии»: «Чистилище». Песнь 3. Ст. 127).

<sup>27</sup> № 15041. Л. 209—210; ср.: Избр. труды и письма. С. 315—316.

<sup>28</sup> Действительно, А. Н. Веселовский начал читать лекции в Петербургском университете еще с 1870-го года и в течение 18 лет у него не было учеников по его специальности (*примечание Батюшкова*).

<sup>29</sup> «Эдда» («Эдда Старшая») — сборник древних исландских песен, бытовавших в устной традиции; дошел до нас в рукописи XIII века. Старо-северный язык — древнескандинавский, принадлежит к группе древнегерманских языков.

<sup>30</sup> Ланге Ричард Осипович (1858—1903), ученик Веселовского, магистр истории западно-европейских литератур (1888), позднее приват-доцент по кафедре истории всеобщей литературы.

<sup>31</sup> Стороженко Николай Ильич (1836—1906) — историк западноевропейских литератур, шекспиристовед, профессор Московского университета, близкий друг Веселовского.

<sup>32</sup> Имеется в виду Алексей Михайлович Гуляев (1863—1923), впоследствии профессор права Киевского университета, академик Академии наук УССР.

<sup>33</sup> № 15041. Л. 83 (последовательность фраз здесь иная).

<sup>34</sup> № 15011. Л. 87; ср.: Избр. труды и письма. С. 296—297. Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — славист, профессор Петербургского университета (1865—1899), в 1883—1885 годах — декан Историко-филологического факультета, академик (1900). Имеется в виду его речь «Западнославянские вопросы занимательны для нас и в мирное время», произнесенная 14 февраля 1884 года в годовом собрании С.-Петербургского Славянского благотворительного общества и опубликованная в газете «Новое время», а позднее перепечатанная в «Известиях» названного общества (1884. № 3. С. 6—13). Речь эта вызвала полемический отклик чешского профессора Ржабека (Там же. 1884. № 5. С. 11—164; подпись: И. Шумован), за которым последовал ответ Ламанского (Там же. С. 16—19). Батюшков не был склонен открыто участвовать в этой дискуссии, ограничившись заметкой, не предназначенной для печати, но мысли, в ней высказанные, были ему дороги; отсюда и краткое изложение ее в письме к Веселовскому от 19 июля 1884 года, а затем и ознакомление ученого по его просьбе с ее полным текстом, между прочим сохранившимся в архиве Батюшкова.

<sup>35</sup> Письмо от начала августа 1884 года из Волгина (№ 15041. Л. 89—90; ср.: Избр. труды и письма. С. 298—299).

<sup>36</sup> Издание это появился два года спустя: *Веселовский А. Н.* Из истории романа и повести. Вып. 1. Греко-византийский период. СПб., 1886 (1. Христианские превращения греческого романа. Житие Ксантиппы, Поликсены и Ревекки; 2. Эпизод о Тавре и Мении в апокрифическом житии св. Панкратия; 3. К вопросу об источниках сербской Александрии). Вместо предисловия был помещен этюд «История или теория романа?».

<sup>37</sup> Задуманный курс — «Теория поэтических родов в их историческом развитии»; прочитана из него тогда была лишь «История эпоса», изданная в 1884—1885 годах.

<sup>38</sup> Делянов Иван Давыдович (1818—1898) — граф, министр народного просвещения (1882—1889).

<sup>39</sup> См. ниже.

<sup>40</sup> Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899) — историк-византист, профессор Петербургского университета, академик (1890).

<sup>41</sup> Минаев Иван Павлович (1840—1890) — востоковед-индолог, профессор Петербургского университета.

<sup>42</sup> Помяловский Иван Васильевич (1845—1916) — филолог-классик, профессор римской словесности Петербургского университета, в 1887—1897 годах — декан Историко-филологического факультета.

<sup>43</sup> Т. е. артиллерийский унтер-офицер.

<sup>44</sup> Частным и совершенно частным образом (*лат.*).

<sup>45</sup> Лескин Аугуст (Leskien, 1840—1916) — немецкий филолог-славист.

<sup>46</sup> Ягич Ватрослав (Игнатий Викентьевич) (Jagić, 1838—1923) — славист хорватского происхождения, филолог, этнограф и археолог, профессор Новороссийского, Берлинского, Петербургского и Венского университетов, член Южнославянской Академии наук и искусств, Петербургской и Венской Академий наук.

<sup>47</sup> Фамулусы — ассистенты профессоров (от нем. *Famulus* — помощник).

<sup>48</sup> Рукопожатие (*нем.*).

<sup>49</sup> Царнке Фридрих Карл Теодор (Zarncke, 1825—1891) — немецкий германист-медиевист.

<sup>50</sup> Шухардт Гуго (Schuhardt, 1842—1927) — немецкий филолог-романист.

<sup>51</sup> Эберт Адольф (Ebert, 1820—1890) — немецкий филолог-германист.

<sup>52</sup> Воеводский Леопольд Францевич (1846—1901) — профессор греческой словесности Новороссийского университета.

<sup>53</sup> Письмо от 12 сентября 1882 года из Волгина (№ 15041. Л. 6; ср.: Избр. труды и письма. С. 288—289).

<sup>54</sup> № 15041. Л. 8.

<sup>55</sup> Там же.

<sup>56</sup> «Беовульф» («Beowulf») — важнейший из сохранившихся памятников древнего англосаксонского эпоса; поэма дошла до нас в рукописи X века.

<sup>57</sup> Замечание это содержится в письме Батюшкова к Веселовскому от 23 марта (4 апреля) 1883 года (Ф. 45. Оп. 3. № 111. Л. 48): «Немцы — не столько творцы сами, как „умники“, нация рассудочная по преимуществу, и мне кажется, Грюккер верно уловил в них эту черту». Речь шла о кн.: *Grucker Emile. Histoire des doctrines littéraires et esthétiques en Allemagne.* Paris, 1883.

<sup>58</sup> Ренуар Франсуа-Жюст-Мари (Raynouard, 1761—1836) — французский филолог и драматург.

<sup>59</sup> Диц Кристиан Фридрих (Dietz, 1794—1876) — немецкий филолог.

- 60 Бопп Франц (Ворр, 1791—1867) — немецкий филолог.
- 61 Нибур Бартольд Георг (Niebuhr, 1776—1831) — немецкий историк, филолог и дипломат.
- 62 Возможно, что речь идет о французском историке Шарле Роллене (Rollin, 1661—1741).
- 63 Распространенная (нем.).
- 64 Minnesang — немецкая рыцарская лирика.
- 65 Имеется в виду кн.: *Schultz Alwin. Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. Leipzig, 1877—1880. 2 Bd.* Рецензия Веселовского была опубликована: Журнал Министерства народного просв. 1882. Ч. ССXXI. Июнь. С. 283—294.
- 66 № 15041. Л. 30—31. Пауль Германн (Paul, 1846—1927) — немецкий филолог; его названные здесь труды: «Prizipien der Sprachgeschichte» (Halle, 1880) и «Zur Niebelungsfrage» (Halle, 1877).
- 67 «Поэма о Сиде» («Роема de Mio Cid») — испанская героическая поэма, созданная около 1140 года и дошедшая до нас в рукописи начала XIV века.
- 68 Большинство писем А. Н. не датированы, только на некоторых из них стоит число и месяц, без обозначения года. Восстанавливаю года по памяти сообразно контексту писем, а на некоторых из них у меня записана была дата получения, что облегчило теперь установление хронологии писем (*примечание Батюшкова*).
- 69 Сюшье Германн (Suchier) — французский филолог-романист, специалист по старофранцузскому и старопровансальскому языкам. Речь идет, по-видимому, о кн.: *Dänkmäler provenzalischer Literatur und Sprache, hrsg. von H. Suchier (Halle, 1883)*. См. ответ Батюшкова в письме от 31 декабря 1882 — 12 января 1883 года: «Конечно, достоинств или недостатков ее определить я не могу — ибо область слишком специальная, поэтому я просто прилагаю résumé ее содержания, который, быть может, Вам не безынтересен, если только Вы уже не получили самой книги» (Ф. 45. Оп. 3. № 111. Л. 29).
- 70 № 15041. Л. 15.
- 71 Althochdeutsch — древневерхненемецкий язык, охватывающий временной промежуток от начала письменных памятников (VIII век) до конца XI века.
- 72 Мастер на все руки (нем.).
- 73 № 15041. Л. 35 об.
- 74 Браун Федор Александрович (1862—1942) — с 1888 года приват-доцент, в 1900—1920 годах профессор Петербургского (Петроградского) университета, неоднократно декан Историко-филологического факультета, с 1923 года профессор Лейпцигского университета.
- 75 О «младо-грамматиках» Батюшков писал Веселовскому из Лейпцига неоднократно, но особенно подробно в письме от 22 февраля (3 февраля) 1883 года (Ф. 45. Оп. 3. № 111. Л. 31—35).
- 76 Другой стороной (лат.).
- 77 Между нами (фр.).
- 78 № 15041. Л. 16.
- 79 О методе и задачах истории литературы как науки: (Вступительная лекция в курс истории всеобщей литературы, читанная в Императорском С.-Петербургском университете, 5 октября, 1870) // Журнал Министерства народного просв. 1870. Ч. СЛII. Ноябрь. С. 1—14.
- 80 Курс об эпосе читался в 1881—1882 годах, и в расширенном виде — в 1884—1885 и 1885—1886 годах; курс о лирике и драме — в 1882—1883 годах.
- 81 См.: Журнал Министерства народного просв. 1882. Ч. ССXXIII. Сент. С. 209—222. Мюллер Фридрих Макс (Muller, 1823—1900) — английский языковед, индолог, мифолог.
- 82 Штейнталь Хейманн (Steinthal, 1823—1899) — немецкий фольклорист и этнограф, основатель «народно-психологической школы»; Веселовский слушал его лекции в 1862 году в Берлинском университете. См.: *Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979. С. 103, 108—109.*
- 83 Ответ см. в письме Батюшкова от 24 февраля (8 марта) 1883 года (Ф. 45. Оп. 3. № 111. Л. 41). Вильманс Вильгельм (Wilmanns) — немецкий филолог-германист.
- 84 № 15041. Л. 18—19.
- 85 См. письма Батюшкова к Веселовскому от 29 января (февраля) и 24 февраля (8 марта) 1883 года (№ 111. Л. 36, 42 об.).
- 86 Попыток (фр.).
- 87 Шмидт Эрих (Schmidt, 1853—1913) — немецкий филолог-германист.
- 88 Шерер Вильгельм (Scherer, 1841—1913) — немецкий историк литературы.
- 89 Минор Якоб (Minor, 1855—1912) — немецкий филолог-германист.
- 90 № 15041. Л. 24—25; ср.: Избр. труды и письма. С. 293.
- 91 Бодуан де Куртенэ Иван Александрович (1845—1929) — русско-польский языковед, профессор Казанского, Дерптского, Краковского, Петербургского и Варшавского университетов, член-корреспондент Академии наук (1897), глава лингвистической школы, примыкавшей к младо-германизму.
- 92 Малые сии (лат.).

<sup>93</sup> Гумбольдт Вильгельм (Humboldt, 1767—1835) — немецкий филолог и философ, государственный деятель и дипломат.

<sup>94</sup> Безоговорочно (и ошибочно) следовать авторитету (*лат.*).

<sup>95</sup> Асколи Грациадзи Изайя (Ascoli, 1829—1907) — итальянский филолог, в 1861—1896 годах преподавал в Ученой и литературной академии (Милан).

<sup>96</sup> О Штейнтале см. выше; Лазарус Мориц — немецкий гебраист и фольклорист, основатель вместе с Штейнталем журнала «Zeitschrift für Völkerpsychologie» (1860—1890).

<sup>97</sup> Майков Леонид Николаевич (1839—1900) — историк русской литературы и фольклора, академик (1889), вице-президент Академии наук с 1893 года до конца жизни; в 1882—1890 годах был редактором «Журнала Министерства народного просв.».

<sup>98</sup> Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — историк литературы, этнограф, критик и публицист, академик (1898); с 1867 года до конца жизни являлся постоянным сотрудником и видным членом редакции «Вестника Европы».

<sup>99</sup> Никаких «исправлений» мне, к сожалению, не пришлось сделать, ни даже продержать корректуры статьи, которая появилась в «Журнале Министерства народного просвещения», раньше моего возвращения в Петербург и, увы, со многими опечатками по черновой рукописи. За эти опечатки, в которых я не был повинен, я подвергся резкому выпадку одного из наших «крайних», на которых указывал Веселовский, но, по просьбе редактора «Журнала М(инистерства)» Л. Н. Майкова, воздержался от полемики с ним (*примечание Батюшкова*). — Батюшков Ф. Современное направление языкознания: Новограмматическая школа в Германии // Журнал Министерства народного просв. 1883. Ч. ССХХІХ. Отд. 2. Сент. С. 1—55.

<sup>100</sup> Речь идет об определении Паулем истории языка как «истории развития психических организмов», которое Батюшков считал в принципе «вполне правильным» (Там же. С. 46—50).

<sup>101</sup> С позволения сказать (*лат.*).

<sup>102</sup> Общими соображениями (*лат.*).

<sup>103</sup> Имеются в виду циклы: «Разыскания в области русских духовных стихов» (затем — «Разыскания в области русского духовного стиха») (1880—1883) и «Южно-русские былины» (1881—1884).

<sup>104</sup> № 15041. Л. 34—35.

<sup>105</sup> Заранее (*лат.*).

<sup>106</sup> № 15041. Л. 12—13; ср.: Избр. труды и письма. С. 291.

<sup>107</sup> № 15041. Л. 23.

<sup>108</sup> Там же. Л. 40.

<sup>109</sup> Георгиевский Александр Иванович (1830—1911) — член Совета и председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения (1873—1901). Георгиевский Лев Александрович (1860—после 1917) — его сын; филолог, литератор, педагог, впоследствии товарищ министра народного просвещения и сенатор.

<sup>110</sup> По желанию (*лат.*).

<sup>111</sup> № 15041. Л. 42—43.

<sup>112</sup> Лютославский Викентий Федорович (1863—?) получил естественнонаучное и филологическое образование в Дерптском университете, затем увлекся историей литературы, что и побудило его искать встречи с Веселовским; ввиду отсутствия последнего в Петербурге Лютославский нанес визит Батюшкову, на которого произвел неплохое впечатление, о чем Батюшков сообщил Веселовскому в письме от 5 сентября 1886 года (см.: № 111. Л. 108). Об отклонениях Веселовского и Лютославского в последующие годы см.: Избр. труды и письма. С. 311.

<sup>113</sup> Болдаков Иннокентий Михайлович (1846—1918) — историк литературы и переводчик, с 1884 года чиновник секретариата Академии наук, с 1887 года штатный библиотекарь Публичной библиотеки.

<sup>114</sup> В эту пору я уже начал читать лекции в университете (*примечание Батюшкова*). — Батюшков начал преподавательскую деятельность в 1885 году.

<sup>115</sup> № 15041. Л. 114—115.

<sup>116</sup> Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), граф — обер-прокурор Синода (1865—1880), министр народного просвещения (1866—1880), президент Академии наук (1882—1889).

<sup>117</sup> Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — юрист, автор трудов по юриспруденции, обер-прокурор Синода (1880—1905).

<sup>118</sup> Петровский Мемнон Петрович (1833—1912) — профессор славянской филологии Казанского университета, член-корреспондент Академии наук (1895).

<sup>119</sup> № 15041. Л. 85—86; ср.: Избр. труды и письма. С. 305; в оригинале вместо «провинциальный» — «казанский», вместо «(такой-то)» — «Снегирев» (имеется в виду Иван Алексеевич Снегирев (1843—1893) — филолог-славист, преподававший в 1874—1886 годах в Казанском университете). Казовое — показное.

<sup>120</sup> В ту пору еще доцент, впоследствии профессор румынского языка, приобретенного у нас к кафедре славянской филологии, а не романистики (*примечание Батюшкова*). — Сырку Полихроний Агапиевич (1855—1905) — магистр (1891), доктор славянской филологии (1899), приват-доцент, затем экстраординарный профессор Петербургского университета.

- 121 № 15041. Л. 56; ср.: Избр. труды и письма. С. 300 (письмо датировано здесь концом августа 1884 года).
- 122 Миллер Орест Федорович (1833—1889) — историк русской литературы и фольклорист, профессор Петербургского университета.
- 123 Костычев Павел Андреевич (1845—1895) — ученый-почвовед, преподавал в Петербургском университете и на Высших Женских курсах.
- 124 Э. Дж. Атис и Теодор Робертсон — создатели широко распространенных в то время методик преподавания иностранных языков и различных учебных пособий.
- 125 Имеется в виду «Всеобщая история литературы» в 4-х т. (СПб., 1880—1892); редактором т. I был Валентин Федорович Корш (1828—1883) — литератор и журналист; редактором остальных томов — Александр Иванович Кирпичников (1845—1903) — профессор Харьковского, затем Новороссийского университетов, член-корреспондент Академии наук (1894).
- 126 Ср. выше замечание Веселовского о «наших поклонниках греческой и латинской грамматики».
- 127 Эта «аллюция» (речь) была опубликована в «Журнале Министерства народного просвещения» (1886. Ч. ССXLVII. Окт. Отд. II. С. 21—31), перепечатана в «Записках Романо-германского отделения Филологического общества при С.-Петербургском университете» (СПб., 1888. Вып. 1).
- 128 Кандидатская работа, впоследствии напечатанная в Журнале Министерства народного просвещения. Оттиск из нее я и послал тогда Веселовскому (*примечание Батюшкова*). — *Батюшков Ф. Сага о Финнбоге Сильном // Журнал Министерства народного просв.* 1885. Ч. ССXXXIII. Февр. Отд. II. С. 217—277; Ч. ССXL. Июль. Отд. II. С. 53—109.
- 129 № 15041. Л. 116—117.
- 130 Не трогай моих чертежей! (*лат.*).
- 131 Право на существование (*фр.*).
- 132 Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — филолог-славист, профессор Петербургского университета.
- 133 Очеркам (*нем.*).
- 134 Пребывание в профессорской должности по новому уставу ограничивалось, но могло быть продолжено вне штата.
- 135 № 15041. Л. 239 об.—240.
- 136 Собираемся (*фр.*).
- 137 № 15041. Л. 243 об.—244.
- 138 Там же. Л. 203. Годичное пребывание Батюшкова в Париже (март 1882—март 1883) получило отражение во многих его письмах (№ 112—113. Л. 213—282).
- 139 Правильнее — Ecole pratique des hautes études, т. е. Высшая школа научных исследований (*фр.*).
- 140 В Национальной библиотеке Франции сохранилось 20 писем Батюшкова к Г. Парису за 1888—1900 годы.
- 141 Вы сделали настоящую находку (*фр.*).
- 142 Имеется в виду труд А.-Г. Ван Хамеля (Van Hamel) «Li Romans de carite et Miserere du Renclus de Moliens, poèmes de la fin du XIIe siècle» (Paris, 1885).
- 143 Он плавает в области неопределенного (*фр.*).
- 144 Речь идет о диссертации Леопольда Сюдра «Les sources du roman de Renart» (Paris, 1892).
- 145 Колмачевский Леонард Зенонович (1850—1889) — историк литературы, профессор Казанского (1884) и Харьковского (1886) университетов; имеется в виду его книга «Животный эпос на Западе и у славян» (Казань, 1882).
- 146 Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — этнограф и фольклорист; имеется в виду его труд «Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями родственных народов» (1868).
- 147 Мюре Эрнест (1861—1940) — французский филолог.
- 148 Дашкевич Николай Павлович (1852—1908) — историк литературы и фольклора, профессор Киевского университета, академик (1907); имеются в виду его магистерская диссертация «Из истории средневекового романтизма. Сказание о св. Граале» (Киев, 1877) и докторская — «Романтика Круглого стола в литературах и жизни Запада» (Киев, 1890).
- 149 Жанруа Альфред (1859—1953) — французский филолог-медиевист.
- 150 В духе Веселовского (*фр.*).
- 151 № 15041. Л. 203.
- 152 Записку (*лат.*).
- 153 L'Art au point de vue sociologique (*примечание Батюшкова*).
- 154 Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — профессор философии Московского университета. «Вера угольщика» — перевод французского выражения «la foi du charbonnier», означающего «простодушье», «наивность».

- 155 Русская мысль. 1889. Окт. С. 97—111. Автором статьи был Виктор Александрович Гольцев (1850—1906) — публицист, литературный критик, общественный деятель.
- 156 № 15041. Л. 58.
- 157 Ошибка: следовало «в конце» (письмо было получено 14 ноября).
- 158 Труд В. Шерера «Поэтика» («Poetik», Berlin, 1888).
- 159 См. выше, прим. 37.
- 160 Приоритет (нем., ж. р.).
- 161 Переделка, переработка (ит.). Кудряшев Михаил Иванович (1860—1918) — ученик Веселовского, германист, переводчик «Песни о Нибелунгах»; сотрудник Университетской библиотеки, затем ее заведующий; составленные им записи курсов Веселовского по исторической поэтике были изданы литографским способом в 1883—1886 годах.
- 162 Веселовский А. Н. Из истории переводной повести XVIII века // Сб. ОРЯС. Т. XLIII. СПб., 1887.
- 163 Делянов Иван Давыдович (см. выше).
- 164 Волконский Михаил Сергеевич (1833—1909), князь — товарищ министра народного просвещения.
- 165 Бычков Афанасий Федорович (1818—1899) — историк, археограф, библиограф; академик (1882), директор Публичной библиотеки (1882—1890); с 1888 года — член Совета Министерства народного просвещения.
- 166 Временно (лат.).
- 167 Александр Александрович Веселовский (1880—1936) — сын Веселовского, историк литературы, краевед.
- 168 № 15041. Л. 230.
- 169 Веселовский являлся «депутатом» от Петербургского университета, одновременно представляя и Академию наук.
- 170 № 15041. Л. 213 об.
- 171 Кардуччи Джозуэ (Carducci, 1835—1907) — итальянский поэт, филолог и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1906).
- 172 Славы Италии (ит.).
- 173 Такой очерк был позднее написан и включен в книгу «Около талантов»; опубликован: Эткиндовские чтения. I. СПб., 2003. С. 115—124.
- 174 Мыцельский Ежи (Mycielski, 1856—1928) — историк искусств и литератор.
- 175 См.: Варшавский Дневник. 1888. 2(14) июля. № 141. «Czas» — краковская газета (1848—1934).
- 176 Грот Яков Карлович (1812—1893) — языковед и историк литературы, академик (1855), вице-президент Академии наук с 1889 года до конца жизни. Ряжск — город Рязанской губернии.
- 177 Майер Густав (1850—1900) — австрийский языковед, профессор университета в г. Грац (с 1877 года). «Neue Freie Presse» — венская газета (1865—1934).
- 178 № 15041. Л. 222 (письмо от 26 июня (1888 года)).
- 179 Старофранцузский аналог пословицы «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».
- 180 Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог и историк искусства, профессор Московского университета, академик (1860).
- 181 Потехня Александр Афанасьевич (1835—1891) — филолог, профессор Харьковского университета, член-корреспондент Академии наук (1877).

# К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. РОЗАНОВА

© *Е. В. Иванова*

## В. В. РОЗАНОВ И ЕГО АПОКАЛИПСИС ЛИТЕРАТУРЫ

Василий Васильевич Розанов любил высказываться пифически и редко утруждал себя аргументацией. Поэтому в рамках русской культуры он обладает своеобразной безместностью: писатель — не писатель, философ — не философ, литературовед — не литературовед. «Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины. — Что это? — ремонт мостовой? — Нет, это „Сочинения Розанова“. И по железным рельсам несется уверенный трамвай».<sup>1</sup> Точнее и не скажешь.

Созданный им жанр обрел некоторую легитимность только у его откровенных подражателей. Так, никто не выразит и тени сомнения по поводу того, является ли Виктор Шкловский литературоведом, а ведь более прямолинейную эксплуатацию чужого жанра и представить себе нельзя. Впрочем, и Розанова никто от литературы не отлучал, в его принадлежности к ней никто не усомнился, и гораздо важнее — не усомнился он сам: «Литературу я чувствую, как штаны. Так же близко и вообще „как свое“. Их бережешь, ценишь, „всегда в них“ (постоянно пишу). Но что же с ними церемониться???!»<sup>2</sup> До Розанова разве что Хлестаков говорил о литературе с такой интимной проникновенностью («я, признаюсь, литературой существую...»).

Тем не менее с литературой у Розанова были сложные отношения, и это накладывает отпечаток на отношение литературоведов к его наследию — он сумел подметить нечто такое, что повергало в смущение не только братьев-писателей. До Розанова русская литература потратила почти столетие, чтобы возвести себя на пьедестал, поставить в центр культурной и общественной жизни и воспитать читателей в убеждении, что «на зеркало неча пенять, коли рожа крива». Розанов едва ли не первый задумался о том, что и как, собственно, отражает это зеркало, причем задумался в тот момент, когда мысль об изначальной кривизне рожи стала для всех как бы аксиомой.

И здесь весьма любопытны его постоянные наскоки на романы Федора Сологуба, которые многим современникам казались одним из таких зеркал. В русской литературе Серебряного века трудно найти двух других таких же писателей-близнецов со столь схожими судьбами и даже изначальными творческими устремлениями, как Розанов и Сологуб, хотя ни тот ни другой сходства этого не признавали. За плечами обоих было «трудное детство» в провинции, бедность, мать, которая одна растила детей. (Кстати, отношения с матерью и того и другого содержат богатейший материал для фрейдиста.) После смерти матери Розанова опекал старший брат, Сологуба — сестра. Много общего претерпели они и за время учительствования в провинции, как немало претерпели от обоих и ученики, о чем есть выразительные свидетельства. Переезд в столицу и начало литературной деятельности заставили их возвращаться в одной и той же литературной среде.

Однако и перебравшись в Петербург, посещая одни и те же литературные салоны, печатаясь в одних и тех же журналах, они, как это будет ясно из дальнейшего, почти ничего не знали друг о друге, словно не были знакомы. Более того, у

<sup>1</sup> *Розанов В. В.* Опавшие листья. [Короб первый] // *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 179.

<sup>2</sup> Там же. С. 289.



них был один и тот же день приема гостей, поэтому литераторы их круга делились на тех, кто посещал воскресенья у Розанова, и тех, кто предпочитал проводить их у Сологуба. Параллельными путями, не пересекаясь, развивались их духовные устремления, хотя и здесь были точки соприкосновения — проблема пола, культ мечты. Вот разве что семейный вопрос и дети волновали Сологуба совсем в другом аспекте. Была еще одна тема, менее бросающаяся в глаза, но близкая обоим — жизнь русской провинции. Вокруг нее между ними и развернулась полемика, в ходе которой как нигде раскрывается совершенно особый взгляд Розанова на литературу.

Прежде чем стать писателем, Федор Сологуб долгое время преподавал в провинциальных гимназиях — в Крестцах Новгородской губернии (1882—1885), в Великих Луках (1885—1889) и в Вытегре (1889—1892). Сходный опыт был и за плечами Розанова, который после окончания университета учительствовал в Брянске (1882—1886), в Ельце (1886—1891) и в г. Белом Смоленской губернии (1891—1893).

Сологуб скрупулезно собирал мелочи и подробности провинциальной жизни, вел дневники, коллекционировал газетные вырезки, а переехав в Петербург, продолжал интересоваться жизнью покинутых им городов и просил своих бывших коллег тщательно описывать все относящиеся к местной жизни факты, не скрывая, что намерен использовать их в своем творчестве. Исследователи выявили в произведениях Сологуба целый ряд эпизодов, содержащих сведения, которые сохранились в архиве писателя в виде газетных вырезок или дневниковых записей и были востребованы им в работе.<sup>3</sup>

Поэтому романы Сологуба всегда фактографически точны в описании провинциального быта, общественной среды. Например, в романе «Тяжелые сны» (1895) содержится целый ряд реальных фактов, относящихся к эпохе преподавания Сологуба в провинции: «В рукописи романа имеется план города Крестцы, а отображенные в нем события большей частью не выдуманы, а пережиты автором. Реальное основание имели: история, связанная с проектом общества взаимопомощи и устройством типографии в Вытегре; конфликт, произошедший у Сологуба в Крестцах с бывшим сокурсником Григорьевым (послужил основой для сюжета с учителем Молиным); скандал с почетным попечителем Крестецкого училища Розенбергом (прототип Мотовилова) и т. д.»<sup>4</sup>

Попадая на страницы романа, эти события, разумеется, преломлялись под совершенно особым, сологубовским углом зрения, но тем не менее достоверности использованных фактов это не отменяло. То же касается и персонажей романа «Тяжелые сны»: несмотря на то что жизнь главного героя — провинциального учителя Василия Логина — напоминает полусон-полубред и протекает словно «иллюзия томительно-неподвижного сновидения»,<sup>5</sup> отдельные черты и психологический облик в целом сближают его с автором. Это отмечали уже первые читатели романа.

<sup>3</sup> См. об этом: Улановская Б. Ю. О прототипах романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» // Русская литература. 1969. № 3. С. 185—189; Удонова З. В. Из истории символистской прозы (о романе Ф. Сологуба «Тяжелые сны») // Русская литература XX века. (Дюктябрьский период). Тула, 1975. Сб. 7. С. 33—48; Соболев А. 1) Из комментариев к «Мелкому бесу»: «Пушкинский» урок Передонова // Русская литература. 1992. № 1. С. 157—160; 2) Реальный источник в символистской прозе: механизм преобразования. (Рассказ Федора Сологуба «Баранчик») // Тыняновский сборник. Пятое Тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 151; Федор Сологуб в Вытегре (Записи В. П. Абрамовой-Калицкой) / Вступ. статья, публ. и комм. К. М. Азадовского // Незданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 261—289; Павлова М. М. Творческая история романа «Мелкий бес» // Сологуб Федор. Мелкий бес / Изд. подг. М. М. Павлова. СПб., 2004. С. 643—757. (Серия «Литературные памятники»).

<sup>4</sup> Павлова М. М. Указ. соч. С. 671.

<sup>5</sup> Сологуб Федор. Тяжелые сны. Роман. Рассказы. Л., 1990. С. 95. Далее ссылки на это издание в тексте.

Сологуб не стремился сделать Логина своим alter ego сознательно. В письме к издательнице журнала «Северный вестник» Л. Я. Гуревич от 15 ноября 1895 года он даже протестовал против такого сближения: «Ведь это же не роман из моей жизни, чтобы нельзя было изменять: вопреки мнению, разделяемому, может быть, и почтенною редакциею Вашшею, я не списывал Логина с себя и не взвалил на него своих пороков».<sup>6</sup> Тем не менее в этом качестве героя Сологуба воспринимала не только Гуревич.

Но, может быть, еще больше оснований для того, чтобы счесть Логина своим двойником, было у Розанова. Его положение среди провинциальных учителей очень напоминало ситуацию, в которой находился герой Сологуба: он также был одинок и не разделял общих интересов. В провинции Розанов написал и издал на свой счет философский труд «О понимании», где пытался разработать основы нового мировоззрения, обнимающего собой, как вспоминал позднее, «ангелов и торговлю». Логин у Сологуба также выступает проповедником новых идей, на страницах романа он постоянно рассуждает о «поисках правды», о «высших запросах», в его уста автор вкладывает такие слова: «Мы живем не так, как надо, мы растеряли старые рецепты жизни и не нашли новых» (с. 33). Розанову приходилось испытать на себе дикость провинциальных нравов. Так, например, в письме к Н. Н. Страхову 1891 года он описывал, как получил пощечину от подвыпившего отца одного из своих учеников только потому, что поставил низкий балл сыну.<sup>7</sup>

Большое место в жизни Логина занимают мечты, которые заменяют ему скучную повседневную жизнь: «Лежал на кушетке, мечтал. Мечты складывались знойные, заманчивые, мучительно-порочные» (с. 53) и т. д. Розанов тоже неоднократно признавался в том, что именно мечта с детства служила ему убежищем от грубой реальности. Так, в статье «Мечта в шелку» он пишет о себе почти словами из сологубовского романа: «...столькими годами мечты, воображения, соображений, гипотез, догадок, а главное — гнева, нежности, этой пустыни одиночества и свободы, какую сумел же я отвоевать у действительности, мелкой, хрупкой, серой, грязной, — и объясняется, что прямо после университета я сел за огромную книгу „О понимании“, без подготовок, без справок, без „литературы предмета“, — и опять же плыл в ней легко и счастливо...»<sup>8</sup>

Казалось бы, Розанов должен был узнать себя в герое Сологуба или, по меньшей мере, обидеться на автора, как некогда Макар Девушкин обиделся на Гоголя за Акакия Акакиевича. Однако он писал о романе так, словно его собственный опыт учительствования в провинции не имел и тени сходства с тем, что изобразил Сологуб, более того, решительнее, чем кто-либо из критиков, отказывал «Тяжелым снам» именно в достоверности, в праве считаться картиной провинциальных нравов. Этот розановский отзыв не был опубликован, но сохранился в архиве. «Проза его, — пишет Розанов о Сологубе, — это сплошь „тяжелые сны“, что-то на границе возможной и невозможной действительности — небрежные очерки быта, житейских портретов, рисуемых с презрением к сюжету, с слабым интересом к житейскому положению выведенных фигур, к судьбе их...»<sup>9</sup>

В отзыве Розанова не чувствуется, что его задел роман Сологуба. Если он и апеллирует к своему опыту провинциальной жизни, то лишь для того, чтобы подчеркнуть недостоверность романа. При этом Розанов не оспаривает право писателя на вымысел, его протест относится лишь к тем, кто увидел в романе зеркало, отражающее дикие нравы захолустья, и тут его точка зрения отчасти напоминает спор

<sup>6</sup> Сологуб Ф. Переписка с Л. Я. Гуревич и А. Л. Вольнским / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 120.

<sup>7</sup> Розанов В. В. Письма к Н. Н. Страхову (1891) // Российский литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. С. 157—158.

<sup>8</sup> Розанов В. В. Мечта в шелку // Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 656.

<sup>9</sup> РГБ. Ф. 386. Карт. 58. Ед. хр. 28. Л. 3—4.

Достоевского с Гоголем: «Тяжелый, как „сон”, язык автора совершенно затушевы-вает грань между действительностью и видением, между призраком и реальным, и читатель испуган, чувствуя, что здесь кончилась литература и началось какое-то подлинное колдовство, для коего действительно дан фундамент, показаны его ре-альные основания».<sup>10</sup>

Еще более ярко отношение Розанова к творчеству Сологуба проявилось в ре-цензии на «Мелкого беса» (1905) — статье «Бедные провинциалы» (1910), которая была написана спустя пять лет после его выхода. К тому времени общим местом стало использование романа и его главного героя как наиболее точной метафоры современной русской жизни. Приведем лишь наиболее характерные примеры по-добного подхода. «Царит „передоновщина”, — писал Е. В. Аничков. — Она власт-вует и по сей час. Обернитесь, и вы нащупаете ее в самом современном, на ваших глазах складывающемся озверении, которым кровавится Русь, поднявшая голову и слышавшая призывные голоса».<sup>11</sup> Сам Передонов стал собирательным образом. Критик Вл. Кранихфельд назвал его «родным сыном российской государственно-сти, безропотно подчинившимся всем ее внушениям».<sup>12</sup>

Но Передонова с еще большим основанием можно было бы назвать родным братом Розанова — учителя гимназии, каким он предстает в воспоминаниях своих учеников. Вот, например, свидетельство одного из них — М. М. Пришвина: «Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение (...) Тот же самый Розанов изгнал меня за мальчишескую дерзость из 4 класса, остав-ляет в душе моей след, который изгладился только после того, как много лет спу-стя я нашел себе удовлетворение в путешествиях и занялся литературой».<sup>13</sup> Дру-гой ученик Розанова — уже по прогимназии в городе Белом — В. В. Оболянинов вспоминал: «Обычно он заставлял читать новый урок кого-либо из учеников по учебнику Янчина „от сих и до сих” без каких-либо дополнений и разъяснений, а при спросе гонял по всему пройденному курсу, выискивая, чего не знает ученик. (...) Когда ученик отвечал, стоя перед картой, Вас(илий) Вас(ильевич) подхо-дил к нему вплотную, обнимал его за шею и брал за мочку его ухо, и пока тот отве-чал, все время крутил ее, а когда ученик ошибался, то больно дергал»<sup>14</sup> и т. д. Если верить этим воспоминаниям, то кое в чем Розанов даже превосходил Передо-нова.

В автобиографических записях Розанов и сам отмечал в себе эти передонов-ские черты. К примеру, после того, как Аполлинария Суслова сбежала от него с молодым любовником, находясь в Ельце, Розанов погибал «в какой-то жалкой уез-дной пыли», «весь задеревенел в своей злобе и оставленности», «ходил в резино-вых глубоких калошах в июне месяце и вообще был „чучело”».<sup>15</sup>

Его жизнь в тот период изобиловала ситуациями, которые, казалось бы, про-сились на страницы романа «Мелкий бес». Как вспоминал один из его коллег по преподаванию в Елецкой гимназии, Розанов «был одиноким, поселился у одной старой вдовы, (...) никому не делал визитов, в учительской больше молчал, наблю-дал и посмеивался; на учительские вечеринки не ходил».

<sup>10</sup> Там же. Л. 4.

<sup>11</sup> Аничков Е. Мелкий бес // О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. СПб., 1911. С. 219.

<sup>12</sup> Кранихфельд В. Литературные отклики. Мелкий бес // Современный мир. 1907. № 5. С. 129.

<sup>13</sup> Пришвин о Розанове / Подг. публ. В. Ю. Гришунина и Л. А. Рязановой // Контекст-90. М., 1990. С. 169—170.

<sup>14</sup> Цит. по: В. В. Розанов: pro et contra. СПб., 1995. Кн. I. С. 246—247.

<sup>15</sup> Цит. по: Фатеев В. Учитель из Ельца // Гонец. 1992. № 3. С. 37.

Однако вскоре коллеги заинтересовались им. «Инспектор И. И. Пенкин, (...) тоже переехавший из Брянска, втихомолку сообщил некоторым из учителей, что Розанов написал в Брянске целую книгу и даже напечатал ее на свой счет, на свое учительское жалованье. Это известие всех заинтриговало: стали расспрашивать Пенкина. Но оказалось, что он не читал самой книги, что это какая-то философия и что книга называется „О понимании“. Все это ставило слушателей в тупик. Чуждак человек! Ухлопал все свое годовое жалованье на печатание книги! На какие-то деньги он жил в тот год, как печатал книгу? И как можно сочинить целую книгу о понимании? Что такое это „понимание“? (...) О самом содержании книги с автором никто не заводил речи; но в отсутствие Розанова в учительской и на учительских вечеринках росло и плодилось всякого рода злословие. И в особенное недоумение приводило учителей то обстоятельство, что в книге не было цитат и ссылок на философическую литературу. Кое-кто пробовал читать книгу, но у учителей хватало терпения только на бесполезное перелистывание толстой книги. Толковали, что автор, должно быть, списал эти сотни страниц из каких-нибудь книг, но не знали — из каких. Исподтишка разведывали у него, не знает ли он иностранных языков, в предположении, что, может быть, он „стащил“ эти сотни страниц у какого-нибудь иностранного философа. Но оказалось, что Розанов знает языки лишь настолько, насколько знали гимназисты старших классов. (...) Нарастала постепенно злоба. Автора в насмешку стали звать „философом“ и „понимающим“. Классик-картежник М. В. Десницкий в учительской то и дело насмешливо провозглашал по адресу Розанова: „Нашелся понимающий среди ничего не понимающих“. Всяческое заочное злословие не прекращалось и тогда, когда Розанов стал наконец бывать у некоторых учителей на именинах и вечеринках. Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который „на все корки“ честил философию и философов, крича с азартом: „И мы тоже кое-что понимаем!“ В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу „О понимании“, преподнесенную Розановым Желудкову, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих: „А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит“». <sup>16</sup>

И вот, имея за своими плечами такой опыт, Розанов не только не согласился с достоверностью романа как картины нравов русской провинции, но, напротив, обвинил Сологуба в полном незнании и непонимании ее жизни. Даже не потрудившись навести биографические справки о писателе, Розанов в запальчивости писал: «При полном знании — через газеты, через журналы — что Ф. К. Тетерников (Сологуб) <sup>17</sup> все время, по окончании курса учения, служил сперва преподавателем, а затем инспектором Андреевского городского училища, что на Васильевском острове, в Петербурге: и если и *видал провинцию*, то *только в детстве*, когда едва ли мог подглядеть всю ее „подноготную“ и вообще ее „задний двор“...» <sup>18</sup> И так, Розанов вообще отказывал Сологубу в каком-либо знакомстве с жизнью провинции.

Однако, рецензируя «Мелкого беса», он спорил не с писателем, а с теми, кто считал, что картины романа имеют нечто общее с реальностью. С этого начиналась розановская статья: «Когда появился роман Ф. Сологуба „Мелкий бес“, то многие читатели столичных и университетских городов приняли его за отражение современной провинции и приходили в ужас от мрака и грязи, среди которых протекает там жизнь. Провинциальный же читатель, *узнавая вокруг себя отдельные черты передонощины*, все же никак не мог признать этот роман за объективное изображение действительности, особенно же не мог согласиться, что передонощи-

<sup>16</sup> Первов П. Д. Философ в провинции (из литературно-педагогических воспоминаний) // В. В. Розанов: pro et contra. Кн. I. С. 93—95.

<sup>17</sup> Именно так Розанов писал фамилию Сологуба.

<sup>18</sup> Цит. по: Розанов В. В. Бедные провинциалы... // Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 444.

на — порождение провинциального уклада жизни». По поводу подобного представления о провинции, формированию которого способствовал этот роман Сологуба, Розанов восклицал: «Бедная провинция!.. Неслыханные по несчастью провинциалы!..»<sup>19</sup>

Не пожелав узнать в героях «Мелкого беса» самого себя, Розанов, казалось, совершенно забыл собственный опыт пребывания в среде провинциальных учителей. В отклике на роман он стремился убедить современников в том, что культурные интересы провинции шире и глубже столичных, что там больше читают, всем интересуются. А потому пытался объяснить суть сологубовского отношения к реальности следующим образом: «...Соллогуб есть субъективнейший писатель — иллюзионист в хорошую сторону, или в дурную сторону, — но именно иллюзионист, мечтатель, и притом один из самых фантастических на Руси. И, наконец, просто (...) „изображать действительность“ ему и в голову не приходило, (...) это „не его дело“, „не его тема“, не „его интерес“... Все это очевидно решительно для всякого, — и было очевидно еще лет 15 назад, когда он издал первый крошечный сборничек своих стихов, действительно прелестных по классическому завершению формы, — и конечно в то время никем не замеченных (...) Но когда Соллогуб писал эти прелестные вещи, — никто решительно не хотел заплатить за книжку и 50 коп., а „критики“ глубокомысленно промолчали и „замолчали“ поэта. Но вот тот же Соллогуб написал, как Ардальон Ардальонович Передонов обдирает в комнате своей обои и плюет на стену, затем... обрил кота и обмазал его вареньем... И вся Русь ахнула: „Ах, вот великолелие! Обмазал кота вареньем... Этим они в провинции занимаются... наши читатели!! Для кого же мы пишем... Как грустно!“»<sup>20</sup>

Отметим попутно, что и сам Сологуб возражал против восприятия романа как зеркала провинциальной жизни, что нашло отражение в статьях сборника «О Федоре Сологубе». Там эту точку зрения «озвучивала» верная пропагандистка его идей Анастасия Чеботаревская. Собрав в своем сборнике множество статей, где обличалась «передоновщина», она писала с негодованием: «Целая литература создавалась уже, рассматривающая этот роман как продукт восьмидесятилетия, а героя его — Передонова как порождение общественной реакции и провинциального мракобесия».<sup>21</sup>

Таким образом, в своих статьях о Сологубе Розанов отрицал не его творчество, а приписываемую литературе способность служить зеркалом реальной жизни или даже подменять собой реальность. На подобное «самозванство» литературы он напал с завидной регулярностью, в частности высказываясь о разночинцах, М. Горьком, Леониде Андрееве, А. Амфитеатрове и других писателях-современниках.

Возмнив себя зеркалом, литература, по мнению Розанова, превратилась в орудие разрушения жизни. С определенного момента эта мысль стала его навязчивой идеей. Не случайно почти все розановские статьи о современной литературе посвящены фактически одной теме: разоблачению той клеветы на реальность, в которую превратилась литература начиная с шестидесятых годов. Здесь достаточно перечислить заглавия некоторых из них: «Литературные симулянты», «Погребатели России» (обе — 1909), уже упоминавшаяся статья «Бедные провинциалы...» (1910), «Не верьте беллетристам...» (1911), «Трагедия механического творчества» (1912), «М. Горький и о чем у него „есть сомнения“, а в чем он „глубоко убежден“» (1916), не говоря уже о статьях, специально посвященных профессиональным образителям кошмаров русской жизни, вроде того же Горького со товарищи из «Знания», Леонида Андреева и др.

<sup>19</sup> Там же. С. 443.

<sup>20</sup> Там же. С. 445.

<sup>21</sup> О Федоре Сологубе. С. 331.

Досталось и А. Блоку. В статье «Попы, жандармы и Блок» Розанов специально остановился на его пророческих выступлениях в петербургском Религиозно-философском собрании. Приведя, с некоторыми неточностями, высказывание поэта про «духовное лицо, сытое от благодати духовной, все нашедшее, читающее проповедь смирения с огромной кафедры, окруженной эскадрой жандармов с саблями наголо...»,<sup>22</sup> Розанов прокомментировал эти слова так: «Какое мрачное зрелище, но где видал его Блок? Сера наша родина, но уж не до такого же ужаса. Это говорит тот Блок, который в чтении о землетрясении в Сицилии мрачно вещал: „Стрелка сейсмографа отклонилась в сторону, а назавтра телеграф принес известие, что половины Сицилии нет“. Я помню эту его ошибку и задумался, откуда произошла она? От *глубокой безжалостности поэтического сердца*. Ученые, да и весь свет меряет каждую сажень земли, которую *пощадил землетрясение* (...) Но петербуржец Блок скачет через головы всех этих и объявляет, — „чего жалеть“, — что половина Сицилии разрушена. (...) Им важен апокалипсис, а не люди; и важно впечатление *слушателей*, а не разрушение жилищ и гибель там каких-то жителей».<sup>23</sup>

Из статьи в статью Розанов настойчиво проводил одну и ту же мысль, что не «рожа крива», а литература стала королевством кривых зеркал. Борьба с литературоцентризмом русской культуры была для него одной из важнейших задач в предреволюционные годы. В итоге, правда, Розанов констатировал полную победу литературы над жизнью, а октябрьский переворот посчитал ее прямым следствием. «Собственно, никакого нет сомнения, что России убила литература, — писал он на страницах «Апокалипсиса нашего времени». — Из слагающих „разложителей“ России ни одного нет не литературного происхождения».<sup>24</sup> Эта мысль более подробно развивается им в не опубликованной при жизни статье «С вершины тысячелетней пирамиды» (1918). Здесь она прослеживается во всем ходе развития русской литературы. Итак, Розанов был первым, кто почувствовал не столько «героический характер русской литературы», в свое время воспетый С. А. Венгеровым, сколько угрозу, которую таила в себе эта «великая иллюзия» для реальной жизни, и едва ли не единственным из русских писателей, кто возложил на литературу всю полноту ответственности за октябрь 1917 года и за «рухнувшее царство».

Соответственно оценивал Розанов и соратников по литературному цеху. Общественное мнение вознесло их тогда на неслыханную высоту — в писателях видели живое воплощение ума, чести и совести нации не только читатели, но и они сами. Особенно те, кто «пострадал за политику», претерпел от властей, даже если жил он в Лондоне на доходы от имений, оставшихся в проклинаемом отечестве. Розанов вывел своего рода формулу радикального писателя своей эпохи: «Герцен (...) есть основатель политического пустозвонства в России. Оно состоит из двух вещей: 1) „я страдаю“, и 2) когда это доказано — мели какой угодно вздор, все будет „политика“».<sup>25</sup> Можно спорить о том, насколько эта формула исчерпывает значение Герцена, но деятельность «светлых личностей с невыразительными чертами», под предводительством которых, по слову О. Мандельштама, целое поколение интеллигенции «в священном юродстве, не разбирающем пути, определенно поворотило к самосожжению»,<sup>26</sup> описана с исчерпывающей полнотой.

Другое открытие Розанова касалось еще одного расхожего убеждения, что обличительная литература смело боролась с правительством, непрерывно страдая за убеждения. Розанов поставил очень простой на первый взгляд вопрос: кто есть настоящее правительство для писателя? И дал на него совершенно неожиданный от-

<sup>22</sup> Блок А. Мережковский // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 360.

<sup>23</sup> Цит. по: Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 330—331.

<sup>24</sup> Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 625.

<sup>25</sup> Там же. С. 437—438.

<sup>26</sup> Мандельштам О. Шум времени // Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 358.

вет: конечно, не чиновники, которым нет дела до литературы. От этого правительства «даже в тех случаях, когда оно считает своим долгом „присмотреть” за писателем, при малейшей осторожности так легко ускользнуть от его кар, не меняя нисколько убеждений (...) Но вот кого нельзя обмануть, кто истинно зорок и беспощадно строг, — это правитель-читатель. Попробуйте с ним бороться, попробуйте перед ним отстоять свое „я”, свою уединенную работу, свои нервы, свой ум и „искру Божию” в вас. Я хочу сказать, попробуйте не уважить кумиров этой тысячеголовой вас слушающей толпы, не уважить ее предрассудков, привычек, иногда ее сна, ее болезни, — и она вас потрет или причинит вам столько страданий, сколько не сможет и не сумеет причинить совершенно вам чуждое „правительство” чиновников. Вспомним, как мало чувствительна была, какую вообще незначительную роль в жизни Тургенева играла ссылка его в деревню за некролог о Гоголе, и какую мучительную болью через его письма, воспоминания, предисловия к сочинениям проходит то простое отчуждение, какое он почувствовал в 60-е годы со стороны читателя».<sup>27</sup>

Сам Розанов непрерывно был занят борьбой с расхожими истинами, предрассудками читателей и свержением кумиров тысячеголовой толпы. Один из парадоксов, которыми так избилует его литературная судьба, состоял в том, что писатель, которого то и дело упрекали в политическом сервилизме и приспособленчестве, был на удивление свободен внутренне от любого правительства, и прежде всего — от этого «правителя-читателя». «Страхов мне говорил, — вспоминал Розанов. — „Представляйте всегда *читателя* и пишите, чтобы ему было совершенно *ясно*”. Но сколько я ни усиливался представлять читателя, никогда не мог его вообразить. Ни одно читательское лицо мне не воображалось, ни один оценивающий ум не вырисовывался. И я всегда писал *один*, в сущности — для себя. Даже когда плутовски писал, то точно кидал в пропасть, „и там поднимется хохот”, где-то далеко под землей, а вокруг все-таки никого нет».<sup>28</sup>

На очень многие общественные механизмы Розанов смотрел совершенно по-новому: «Литература (печать) прищемила у человека *самолюбие*. Все стали *боятся* ее; все стали *ждать* от нее... (...) И вот откуда выросла ее *сила*. Сила ее оканчивается там, где человек *смежает на нее глаза*. „Шестая держава” (Наполеон о печати) обращается вдруг в посеревшую хилую деревушку, как только, повернувшись к ней спиной, вы *смотрите на дело*...»<sup>29</sup>

Литературная корпорация, «братья во литературе» словно не существовали для Розанова, он смотрел не на заверения, а на влияние, которое литература оказывала на жизнь, и его статьи «о писательстве и писателях» можно было бы назвать «Борьба с литературой» (по аналогии с заглавием книги Н. Н. Страхова «Борьба с Западом»). Как своеобразный вывод из размышлений философа на данную тему звучит знаменитое: «Нужна вовсе не „великая литература”, а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и „кой-какая” — „на задворках”».<sup>30</sup>

Но Розанов ни в коем случае не был литературоненавистником, хотя бы уже потому, что сам оставался писателем по преимуществу. «Все-таки — ничего выше поэзии, ничего выше — в смысле точности, яркости контуров очерчиваемого предмета. И вот услышишь художественно вырвавшееся слово — и полетит душа за ним, и тоскует, и вспоминаешь».<sup>31</sup> Собственно боролся он не с литературой, способной запечатлеть поэзию жизни, остановить мгновение, а с тем, что являлось продолжением ее достоинств, — с превращением литературы в профессию, в ремесло:

<sup>27</sup> Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 23—24.

<sup>28</sup> Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 249—250.

<sup>29</sup> Там же. С. 194.

<sup>30</sup> Там же. С. 172.

<sup>31</sup> Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 651.

«Не литература, а *литературность* ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово: но этим всё и кончается, — само *переживание* умерло, нет его, температура (человека, тела) остыла от слова, нет его. Слово не возбуждает, о нет! Оно — расхолаживает и останавливает». <sup>32</sup> Чувства подменялись словами, великие идеи превращались в шаблон, в общее место. Самодовольных творцов этой литературы Розанов сравнил с вдовой, которая, описывая свою скорбь, «все-таки посмотрелась в зеркало», <sup>33</sup> и сказал им свое решительное «нет», полагая, что «писателю необходимо по-давить в себе писателя («писательство», литературщину)». <sup>34</sup>

Но Розанов не только разрушал и ставил под сомнение все, чем тогда жила литература, но и утверждал в ней новые начала. «...Иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого *существа* ее, — писал он во втором коробе «Опавших листьев». — И может быть, это есть мое мировое „emploi”. <sup>35</sup> (...) Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. (...) во мне есть какое-то завершение литературы; литературности; ее существа — как потребности отразить и выразить. Больше что же еще выражать? Паутины, вздохи, *последнее уловимое*. О, фантазировать, творить еще можно: но ведь суть литературы не в *вымысле* же, а в потребности *сказать сердце*. И вот с этой точки я кончаю и кончил. И у меня мелькает странное чувство, что я *последний* писатель, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто *жить*, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литературствователем». <sup>36</sup>

Станным образом пророчество Розанова о близящемся конце литературы смыкалось с тем, что можно было бы назвать завещанием Льва Толстого новому веку: «Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо». <sup>37</sup> Или с его же признанием в письме к Н. С. Лескову 1893 года: «Начал было продолжать одну художественную вещь, но, поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная изжила, повести отживают, или я отживаю? Испытывали ли Вы что-нибудь подобное?» <sup>38</sup>

Розанов в своем понимании сущности литературы как бы откликнулся на этот призыв: «Более и более пропадает интерес к *форме* литературных произведений как некоторому искусственному построению, условно нравящемуся в данную эпоху, и нарастает интерес к душе их, т. е. к той душевной, внутренней мысли автора, с которой он писал свое произведение. Литература и история литературы ранее или позже разложится на серию типичных личностей данной нации, как бы говоривших перед Богом и человечеством от лица этой нации; сказавших исповедание я. Но сказавших это исповедание не в формуле, не в „символе веры”, а скорее в совокупности мотивов этой веры и потому пространно, отрывочно, сложно. Со временем литературная критика вся сведется к *разгадке личности* автора и авторов». <sup>39</sup>

Как ни поразительно, но в начале XX века Розанов звал литературу вперед к Средним векам. «Совершенно не заметили, что есть нового в „У(единенном)”. Сравнили с „Испов(едью)” Р(уссо), тогда как я прежде всего не исповедуюсь. Новое — *тон*, опять — манускриптов, „до Гутенберга”, для себя. Ведь в Средних ве-

<sup>32</sup> Там же. С. 171.

<sup>33</sup> Там же. С. 229.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> амплуа (фр.).

<sup>36</sup> Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 332—333.

<sup>37</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 52. С. 93.

<sup>38</sup> Там же. Т. 66. С. 366.

<sup>39</sup> Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 430.



как не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневековая литература, во многих отношениях, была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодоносна в своей невидности. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не умел и не был в силах преодолеть Гутенберга». <sup>40</sup> Итак, поле борьбы расширяется здесь до борьбы с Гутенбергом. Но упоминание о Средних веках не было для Розанова фигурой речи, его писательская эстетика возрождала многие черты именно средневекового искусства.

На обвинения П. Струве в двурушничестве, в одновременном отстаивании противоположных политических суждений Розанов ответил фельетоном, где поместил следующий диалог:

«— Сколько можно иметь мнений, мыслей о предмете?

— Сколько угодно... Сколько есть „мыслей” в самом предмете: ибо нет предмета без мысли, и иногда — без множества в себе мыслей.

— Итак, по-вашему, можно иметь сколько угодно *нравственных* „взглядов на предмет”, „убеждений” о нем?

— По-моему и вообще по-умному — сколько угодно.

— Ну, а на каком же это расстоянии времени?

— На расстоянии одного дня и даже одного часа. При одушевлении — на расстоянии нескольких минут.

— Что же, у вас сто голов на плечах и сто сердец в груди?

— Одна голова и одно сердце, но непрерывно „тук, тук, тук”, и это особенно тогда, когда вы „спите”, вам „лень” и ни до чего „дела нет”.

— Критика подобрала эти ваши словечки, разбросанные там и здесь в статьях (К. И. Чуковский), — и спрашивает у вас ответа.

— Критика напрасно занимается не тем, до чего у нее есть дело. Но раз затронута моя „дремота”, то я отвечу, что именно в те блаженные минуты, когда я „снаружи” засыпаю — и наступают те „несколько минут”, когда вдруг „сто убеждений” сложатся об одном предмете:

И я люблю — люблю мечты моей созданье.

Но как я не поэт, а немножко философ, то не „люблю”, а „убежден”, и не „мечту”, а „мысль”...

— Страшно и как-то безнадежно для читателя... Где же тогда истина?

— В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. В *колебании*.

— Неужели же *колебание* — принцип?

— Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет все, и все — живет. Наступи-ка *устойчивость* — и мир закаменел бы, заледенел. Колебание „дня” и „ночи” ввел в природу Бог; и с такими оттенками: „заря”, „рассвет”. Именно „сто мнений”, как я говорю: у Бога было тоже „сто мнений”, как сделать „один день”, и Он каждый его час и даже каждые десять минут сделал не похожими на другие. Там — солнышко, здесь — облачно, посуше, посуше — все!!! Но оставим творение природы и обратимся к творениям человека: и они все в „колебаниях”, „переменах”, в тенях и рассветах — до полной невозможности что-нибудь ухватить... Глупый растеривается, их видя; „мертвое время” пеняет на них; но умный и умное время на них воспитывается, вооружается не содержанием их, а их методом, и сам получает способность рождать мысли...» <sup>41</sup>

Это было изменение писательской оптики, способности видеть предмет в новой перспективе, одновременно с нескольких точек зрения, оптики прежде всего идей-

<sup>40</sup> Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 249.

<sup>41</sup> Розанов В. В. Литературные и политические афоризмы // Новое время. 1910. 25 дек.

ной, идеологической, когда вместо ответов на вопросы предлагают вместе с писателем пройти через все «pro» и «contra», и совсем не для того, чтобы подойти к общему решению и стать единомышленниками, а только лишь с тем, чтобы приблизиться к личности автора. Эта оптика поразительным образом напоминала ту, которую оставило нам средневековое искусство, так называемую «обратную перспективу», суть которой о. Павел Флоренский излагал следующим образом: «Внимание приступающего впервые к русским иконам XIV и XV веков, а отчасти и XVI-го бывает поражено обыкновенно неожиданными перспективными соотношениями, особенно когда дело идет об изображении предметов с плоскими гранями и прямолинейными ребрами (...) Эти особенные соотношения стоят вопиющим противоречием с правилами линейной перспективы, и с точки зрения этой последней не могут не рассматриваться как грубые безграмотности рисунка. (...) На иконе бывают нередко показаны такие части и поверхности, которые не могут быть видны сразу, о чем нетрудно узнать из любого элементарного учебника перспективы».<sup>42</sup>

Объясняя соотношение «обратной» и линейной перспективы, Флоренский писал: «В самом ли деле перспектива, как на то притязают ее сторонники, выражает природу вещей и потому должна всегда и везде быть рассматриваема как безусловная предпосылка художественной правдивости или же это есть только схема, и притом одна из возможных схем изобразительности, соответствующая не мировосприятию в целом, а лишь *одному* из возможных истолкований мира, связанному с вполне определенным жизненным чувством и жизнепониманием?»<sup>43</sup>

Розанов утверждал не новый литературный жанр или новое отношение к обществу, но именно новое жизнепонимание и жизненное чувство, а все остальное было производным от них. Отсюда и совсем другие ответы, которые он давал на привычные вопросы: «— „Что делать?“ — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — „Как что делать: если это *лето* — чистить ягоды и варить варенье; если *зима* — пить с этим вареньем чай“».<sup>44</sup>

Писательская оптика Розанова противоречила всему, что утверждала современная ему культура, и в этом смысле он во всем шел против течения. Некоторые розановские мысли повергали в шок даже тех, кто считал себя его сторонником, но современники словно не имели оружия, чтобы бороться с ним. Для уничтожения другого вполне бы хватило одного фельетона Н. К. Михайловского о маханальности<sup>45</sup> или Владимира Соловьева, где Розанов сравнивался с Порфирием Головлевым.<sup>46</sup> Но у этого писателя не было того *самолюбия*, которое могла бы прищемить литература, поэтому он как будто и не ощущал на себе ее ударов.

Его совершенно не заботил вопрос о собственном месте в литературной иерархии, и это как броня защищало Розанова от любых нападков. «Сущность писательской души заключается в гораздо большем, чем у обыкновенных людей, даре вникать в вещи и любить вещи, видеть их и враздробь, и в обобщении, в связи, в панораме. Писатель больше любит и больше понимает обыкновенных людей»,<sup>47</sup> — писал он, и всю жизнь следовал этому своему призванию — постигать сущность вещей.

На этом пути и родился его совершенно особый жанр «уединенного», который потом превратился в короба «опавших листьев», в «мимолетное» и выпуски «апо-

<sup>42</sup> Флоренский П. Обратная перспектива // Флоренский П. Соч.: В 4 т. М., 1999. Т. 3 (1). С. 46.

<sup>43</sup> Там же. С. 51.

<sup>44</sup> Розанов В. В. Эмбрионы // Розанов В. В. Религия и культура. М., 1990. С. 287 (Прил. к журналу «Вопросы философии». Т. 1).

<sup>45</sup> Михайловский Н. К. О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и фило-софической порнографии // Русское богатство. 1902. № 8. С. 76—99.

<sup>46</sup> Соловьев В. Порфирий Головлев о свободе и вере // Вестник Европы. 1894. № 2. С. 906—916.

<sup>47</sup> Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 431.

калипсиса». «Ваше „Уединенное” и „Опавшие Листья” — своего рода откровение, последняя степень интимности, вовсе уже не литература, живые мысли и живые переживания человека, стоящего над толпою...»<sup>48</sup> — писала Розанову его почитательница. Литература как способ общения с душой писателя, как кратчайший путь к пониманию (ключевое для Розанова слово) личности художника была им открыта заново. П. П. Перцов сказал об этом новом розановском жанре: «Ряд отдельных заметок, отрывков, записей, точно на блокноте или отрывном календаре — записей почти ежедневных обо всем, что „подумалось”, было замечено, услышано, припомнилось... И прежде всего — заметок о *своих*, о „ближних”, понятых не в новозаветном, а в том извечном, ветхозаветном смысле, которому одному всегда верен Розанов. Здесь мы с ним вместе „дома” — там, куда никогда не пускали нас до сей поры „писатели”, да нам и в голову не приходило „попроситься”. Но для Розанова нет этой самой грани, неприступно делящей „жизнь” и „литературу”».<sup>49</sup>

Этот открытый Розановым жанр «опавших листьев», как и его произведения в других, более привычных жанрах, подобно кислоте, «разлагали» то, что З. Гиппиус называла «вопросной» литературой, а многие другие считали учебником жизни и путеводной звездой нескольких поколений. Вместо того чтобы отвечать на вопросы и указывать жизненные пути, Розанов приходил к читателю сам, со своей биографией, с чадами и домочадцами. Героями его размышлений на равных были писатели и их персонажи, художественные произведения вставляли в один ряд с письмами и дневниками. Писательская оптика Розанова была нацелена на нечто большее, чем осмысление и воспроизведение фактов, которые он безбожно перевирал. Она учила читателя смотреть на мир «пространно, отрывочно, сложно», постигать онтологию явлений, их внутренний смысл. В этом и состоит сущность художественных открытий Розанова, ради которых современники готовы были простить ему то, что по неписаным законам эпохи не прощалось никому. Происходило ли в Розанове «разложение литературы»? Литературы как учебника жизни, претендовавшей служить «столпом и утверждением Истины», — несомненно, да. Но ведь это была всего лишь одна из преходящих форм, и разлагая ее, Розанов открывал для литературы новые пути.

<sup>48</sup> Из письма А. Данилевской (цит. по: *Розанов В. В.* Мимолетное. М., 1994. С. 265).

<sup>49</sup> *Перцов П. П.* Рец.: В. Розанов, Опавшие листья, СПб., 1913 // В. В. Розанов: pro et contra. Кн. II. С. 180.

© А. А. Грякалов

## ПОНИМАНИЕ И ПИСЬМО: ОПЫТ В. В. РОЗАНОВА

Первый опыт *письма* В. В. Розанова — фундаментальный философский труд по систематике знания «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (1886). Для Розанова *Понимание* «есть единственная деятельность разума»,<sup>1</sup> которая соединяет мыслительные формы-схемы с формами самой реальности. Восходя к первозаданной природе человека, понимание несет в себе антропологическое и религиозное содержание, выявляя и делая возможным человеческое бытие. А следовательно — мысль и творчест-

<sup>1</sup> *Розанов В. В.* О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. СПб., 1994. С. 10. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

во, далеко не очевидные основания единства которых он и пытался раскрыть. Никогда более Розанов не возвращался к подобного рода экспликациям, хотя, как известно, любовно относился к своему первому детищу. По отношению ко всей его последующей литературной работе данный опыт может показаться достаточно чужеродным, однако значимо принципиальное внутреннее родство — вопрос о «присутствии целого». По образному слову А. Ремизова, это была «гимнастика, выработавшая эластичность мысли».<sup>2</sup> Современный философ также усматривает здесь основоположения розановского письма: «Переменчивому публицисту Розанову предшествовал совершенно другой и все равно тот же самый Розанов с философией понимания — цельного, исчерпывающего, окончательно неизменного блага. Подчеркнутая розановская переменчивость кричала о том, что цельная истина непохожа на те ее фрагменты, с которыми нам обычно приходится иметь дело».<sup>3</sup> Письмо и понимание взаимоотражены: письмо манифестирует понимание, а понимание раскрывает себя в письме — произведения выступают как сгустки смысла, очевидные в своей конкретности.

Исходный опыт (схематика) понимания последовательно реализован во всем творчестве Розанова. Непосредственной формой представления *понимания* выступает *письмо*. Именно понимание открывает скрытое: «Такое положение трудящихся, от которых остается скрытым и то, что именно возводится ими, и то, зачем оно возводится и где предел возводимого, — не может быть удобно. Не говоря уже о невольных ошибках, к которым ведет это положение, оно неприятно и потому, что всякий труд, цель и окончание которого не видны, утомителен» (С. 6). Цель и смысл литературы должны быть *очевидны*.

Поэтому Розанов отказывается от линейности преемственного смысла: континуальное воспроизводство «большого рассказа» — *русская литература* — не только не творческое, но и неинтересное занятие. Все эти упакованные в историю русской литературы смыслы живут по инерции — и не потому, что они устарели или изжили себя. Они объясняют происшествия настоящего смыслами прошлого; в равной степени прошлое может быть превращено в будущее. В обоих случаях нет события настоящего. Розанов же стремится показать истину момента. Но не для того, чтобы уловить и импрессионистически передать «мгновение» — такой взгляд делает художника «рабом собственной сетчатки». «Оптика» его интересует как возможность конструирования такого сознания, которое соединяло бы в себе «менты» и «миги» не по принципу возможного примирения, гармонии или синтеза. Его интересует построение принципиально *несинтетического* сознания.

Синтез невозможен не в силу того, что реальность противоречива — реально-сти, отметим, никто никогда не видел, существует только *реальное*. Все определения, можно было бы сказать вслед за Хайдеггером, это определения *сущего*. Нужно мыслить — или представлять письмом — то, что бытийно.<sup>4</sup> Поэтому любая идеология — это всего лишь идео-логика, конкретное представление и воплощение исторического. Слишком исторического, слишком человеческого, слишком литературного. Того, в отношении к чему наступил конец («апокалипсис нашего времени»). Возражения или оправдания могут быть отнесены к конкретному смыслу — и это совершенно правильно. Об этом имеет смысл спорить. Однако опыт отсылает к *другому*.

*Письмо* как послание ориентировано на аподиктический опыт очевидного, но *письмо* как процесс обращено к другим основаниям. Именно они дают возможность уйти от фиксации противоречий, не впадая в дурную бесконечность перечис-

<sup>2</sup> Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 230.

<sup>3</sup> Бибихин В. В. К метафизике другого // Начала. 1992. № 3(5). С. 65.

<sup>4</sup> Подробнее см.: Grjakalov A. The Image of Man in the Philosophy of V. V. Rosanov // Russian Studies in Philosophy. 1993. Vol. 32. № 2.

лений. Обращение к *письму* дает представление о целостности, «над-противоречивые» основания которой Розанов стремился определить в работе «О понимании» посредством обращения к феноменам *поэзии, наблюдательной и психологической словесности*. «Вследствие того, что поэтические произведения, в противоположность произведениям всех других видов искусства, не только не расстраиваются от введения различных и даже противоположных образов, сцен и картин, но даже выигрывают, происходит то, что, тогда как другие искусства всегда отражают в себе только человека, или как личность, или как народ, поэзия отражает в себе и *человека*, и *жизнь* его. В нее входят и думы, и чувства, и желания поэта, и текущая жизнь во всем своем разнообразии и со всеми своими контрастами» (С. 370).

Различая науку и философию как неубедительные друг для друга области знания, Розанов формулирует позицию «выжидающего скептицизма». Но чего выжидает сознание? Того *третьего*, которого не может коснуться сомнение: «Это *Понимание*». Понимание свободно и противостоит историческому. Историческое может ограничить и подавить понимание: «Все созданное историей — ею и разрушается; она опирается только на то, что существовало, — на что обопрется оно, когда потребуют, чтобы оно не существовало более?» (С. 520). Ведь в историческом существовании происходит радикальное противопоставление и смещение позиций, литературных направлений, «принципов творчества», «идейных установок». Что остается в философии и литературе при постоянной смене исторических позиций?

Розанов противопоставляет свободное понимание историческому объяснению — свободная наука или свободная литература основаны не на безотчетном желании, но на сознательном убеждении. Понимание есть процесс свободно-необходимый по своей природе и происхождению. Понимание, если угодно, это особая форма всеобъемлющей мысли — «в идее понимания не заключено никакого знания, способного стать содержимым, но только знания относительно содержащего». Поэтому выводимое будет рядом истин формального значения» (С. 7). Речь идет о форме и принципах поиска и определения истины. Это форма, в которой представлен «разумный космос»: «Ранее чувственного опыта и соприкосновения с миром в разуме человека лежат уже схемы идей, готовых обнять собою мир; и тот факт, что мир этот, существующий независимо от человеческого разума и ранее его, действительно вступает в эту схему идей, раз соприкосновение с ними произошло, невольно заставляет видеть и в разуме нечто космическое, и в космосе нечто разумное. Разум есть как бы мир, выраженный в символах, — мир есть как бы разум, выраженный в вещах; и только поэтому возможно познание мира разумом. Возможно *понимание*, возникающее о мире в разуме, — возможен мир идей, отличных от этих соотносительных начал, но из них возникающий, но через их соприкосновение» (С. 51). Смысл выстраивается в пространстве соотнесенности, раскрываясь из изначального понимания жизни: «Будто бы все бесконечно долгое и бесконечно сложное развитие свое космос совершал только для того, чтобы создать этот загадочный разум и как в *семени* (курсив мой. — А. Г.) своем соединить в нем все, что он сам заключал в себе от начала; или как будто бы сам разум раскрылся в этом мире подобно тому, как содержимое семени раскрывается в растении, из него вырастающем» (Там же). Бытие выступает как «трепетное ощущение человека между Богом и космическим витальным эросом — именно это и дает бытие „Я в мире“».<sup>5</sup> Разум же в окончательном определении дан как потенция или возможность, слагающаяся из идеи существования как центра и из сходящихся к ней, как к центру, схем понимания («потенции идей»). Скрытая жизненность проявляется пробуждением первого впечатления — вполне *осознанной* первичностью переживания.

<sup>5</sup> *Stammler H. A. Vasilij Vasilevic Rozanov als Philosoph. Giessen, 1984. S. 17. (Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik. Bd. 5).*

Актуализируя временность, Розанов как бы предупреждает разговоры о пост-современности и конце истории. Метафизически осмысливается парадоксальность времени и временности: воспроизводя схему Августина, Розанов размышляет о противоречивости времени самому себе, его абсолютному неприсутствию: «Будущее становится прошедшим, не переходя через настоящее, нежившее, не живя, отживает. И вот, противореча всем нашим понятиям о бытии, время является таким исключением, которое всегда только было и всегда только будет — и однако же есть, существует; и не только существует, но служит еще необходимым условием действительности всего, что только происходит реального в природе и в жизни; в этом времени, которого никогда нет, которое вечно или еще только готовится стать или уже минуло — в этом непостижимом времени пребывает все, и вне его ничто не может пребывать» (С. 210—211). Загадка времени вообще сложна, а в ситуации кризиса кажется неразрешимой и предстает именно как апокалипсис.

В соответствие с развернутой Розановым концепцией понимания письмо выступает как особого рода космос. Письмо *органично* — оно, как и организм, есть выражение целесообразности. В самом начале «Уединенного» Розанов говорит об одновременности отстранения и связи с литературой. Задействована *физио-логия*: «Странное чувство отращения и вместе связанности с литературой никогда не покидало меня, не покидает особенно последние годы. Я пишу — как доношу до конца давно тяжелую ношу».<sup>6</sup>

Казалось бы, проще всего говорить о конкретных ценностных коннотациях, но Розанов, возражая, выходит в пределы некоего «странного» незнания добра и зла. Стремится следовать чему-то большему, чем конкретная «истина» или «зло». «Есть семена в душе, и они вырастают. Добро ли в них, зло ли — не ясно мне, не спрашиваю даже себя; не сомневаюсь, что не только отдельные выражения, слова, требования, но даже целые циклы идей, мною выраженных, есть или кажется зло. Одно для меня может служить оправданием: во-первых, совершенное и искреннее незнание, которое — *истина*, которое — *зло*; совершенная невольность писания: и зло, как добро, было бы мною *написано*, так что вопрос мог бы идти только о напечатании».<sup>7</sup>

Разумная целесообразность разлита в мире. Апокалиптичность не только исторична, но именно метафизична: не только апокалипсис *нашего* времени, но апокалипсис любого и каждого *времени*. И тут историческое согласие/несогласие ничего не решает на фоне забвения бытия: «Погибнет или не погибнет человечество, вопрос этот ничего не изменяет в вопросе о существовании целесообразности: ни человеческое счастье, ни человеческие бедствия не придадут бытию целесообразности, если в нем нет ее, не отнимут ее, если она в нем есть. Целесообразность в мире есть факт внешний для человека, не подчиненный его воле, или признание или отрицание этого факта есть дело исключительно его познания. Да и не согласится человечество обмануть себя из малодушия — признать то, чего нет, чтобы сохранить за собою жизнь. А если в тяжелую минуту предсмертного томления оно и сделает это, оно не вынесет долго обмана: тайное сознание, что нет того, ради чего живет оно, заставит людей по одному и не высказываясь покидать жизнь. (...) Никто, как кажется, и не догадывается о том, как тесно многие отвлеченные вопросы связаны не только с важными интересами человеческой жизни, но и с самим существованием этой жизни. Никому не представляется, что то или другое разрешение вопроса о целесообразности в мире может или исполнить человеческую жизнь высочайшей радости, или довести человека до отчаяния и принудить его оставить жизнь. А между тем это так. Отчаяние уже глухо чувствуется в живущих поколе-

<sup>6</sup> Розанов В. В. Уединеннос // Розанов В. В. О себе и жизни своей / Сост., пред., комм. В. Г. Сукача. М., 1990. С. 33.

<sup>7</sup> Там же.

ниях, хотя его источник ясно не осознается. Вот почему легкомысленное решение вопроса о целесообразности — а мы не имели до сих пор других — есть не только глупость, но и великое преступление. Те, которые играют этим вопросом, правда, не чувствуют его важное значение, что доказывается тем, что, отрицая целесообразность, они продолжают жить. Т. е. кружиться среди бессмысленного для них же самих и трудиться ни для чего по их же желанию. Логика мысли и жизни — вообще удел немногих. Но как у легкомысленных писателей могут быть серьезные читатели, так у легкомысленных отцов — дети с глубокою душою, и то, что чувствуют и что делают теперь единичные люди — я говорю об отчаянии и смерти, — то со временем могут почувствовать поколения и народы» (С. 266).

Для представления метафизической темы апокалиптичности необходима была особая форма — так появляется у Розанова проблема письма. Материал поставляла жизнь. Была определена и суть творчества: начать с единичной вещи, существование которой «случайно открылось духу», и далее, далее — до понимания неразложимых данностей, где предстает чистая сторона бытия. Творчество видится как соотнесенность *творящего, творения и творимого* — последовательно развертываются пять «оборотов» понимания по всем схемам разума. Мир человеческий суть общее для творчества, Космос — общее для движения понимания. Самоопределяемость значима для искусства — его зарождение, развитие и выражение совершаются по своим внутренним законам, — и с нарушением их уничтожается или нарушается. Цель художественного творчества выводится из его сущности — оно не имеет цели вне себя и, раз пробудившись, по внутренней необходимости выливается во внешние формы, так же свободно и так же бесцельно, как свободно и бесцельно тожественное настроение при виде звездного неба или радость при виде найденной утраты. Это сближение с позицией Канта не должно уводить от главного: творчество обладает автономией и собственным целеполаганием. Понимание «есть явление свободно-необходимое: свободное от всего, лежащего вне человека, но развивающееся необходимо по законам, лежащим в нем самом» (С. 515). Понимание свободно извне, потому что необходимо внутри себя.

Письмо выступает как *другое* цельного знания. Можно сказать, что сопоставление «эмбрионально» задано, существование как бы имманентно, но при этом и трансцендентно («Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. Мне и тут тепло»). Понимание находится вне влияния, но в нем сходятся жизнь и смысл, экзистенция и дискурс, свобода и необходимость. Поэтому важно перевести психологию в дискурс. Так развертывается стратегия «параллельного письма»: письма, фрагменты, цитаты, будучи включенными в его собственные произведения, оказываются завершенными уже в новом текстовом (и бытийном) окружении. Параллельное письмо допускает авторскую множественность, и хотя авторы-корреспонденты заявлены, это есть уравнивание всех в пространстве письма («письмо без имен»). Это неклассическая стратегия смыслогенеза — смысл выстраивается не как приведение к уже данному или известному, а возникает в пространстве сопоставлений. Появляется особого рода топология письма. Именно ее архитектурное присутствие влияет на ее разные определения.

*Письмо* — главный «герой» литературы. И внимание к «Апокалипсису» («чудесная пророческая книга») — это интерес именно к книге, письму, в котором начало и конец совпадают («Как, когда только что *начиналось* все, творец его увидел и *конец*»). Имманентное и трансцендентное как бы совпадают — письмо для самого себя является не только основанием, но тайной и жертвой. Поддержка и спасение письма несопоставимо важнее того, что конкретно на нем исполнено, хотя каждое из исполненного важно в своем времени. О нем можно спорить, все *историческое* поддается смещению. Письмо содержит в себе все существующие смыслы в едином пространстве соотнесенности и потому не позволяет уклониться от самого процесса построения понимания.

Письмо обращено к пониманию. Экзистенциально это было пережито и осознано Розановым («несу литературу как крест мой»). Письмо становится универсальной формой осуществления смысла — и в этом плане навязчивость «органического» у Розанова свидетельствует о субстанциальной соотнесенности органики и письма.<sup>8</sup>

Розанов философствует письмом. Но что это за философия? О чем она? — Об утверждении. Письмо — утверждение смысла и героического («возвышенного») там, где героев больше нет. Где нет ценностей, за которые можно было бы умереть. Письмо выступает как утверждение бытия. Розановская критика историчности предполагает определение границ конкретных дефиниций. Речь идет об определении общего, производящего единичное и частное. «Таким образом, временны знания, которые или, будучи истинны, имеют предметом временное, или, имея предметом постоянное, — ложны. Вечные же знания суть те, которые и истинны, и имеют предметом постоянное» (С. 11). Ложное появляется там, где происходит отклонение от правильности образования знания: «Мир, заключенный в сознании человека, шире мира, лежащего вне его» (С. 12). Понимание целю — «оно понимает отдельные явления в их взаимной связи». Но оно и образуется с целью — оно скорректировано именно с тем, как эти цели осознаны и проявлены. И хотя последняя цель — «*последний узор*» — неизвестна, она выступает как тайна, в отношении которой выстроена вся цепь вопросов и ответов.

Понимание отнюдь не означает примирения позиций. Наоборот, «истинный признак ума состоит не столько в умении связывать отдельные явления, сколько в понимании невозможности связать непосредственно явления разнородные, хотя и смежные, и в тонком понимании этой разнородности явлений» (С. 19). Это область действия *разума*: если *ум* обращен преимущественно к практическому (в политике, общественных делах, литературе), то *разум* раскрывается в теоретической деятельности человека и отражается в жизни только в те редкие моменты, когда сама жизнь пытается стать его отражением. Ум как бы придан к другим способностям человека, а «разум представляет собой нечто замкнутое и глубоко самостоятельное: не человек обладает им, а он живет в человеке, покоряя себе его волю и желания, но не покоряясь им» (С. 22).

Розанов последовательно рассматривает схематику разума — вполне можно предположить, хотя это и требует детального анализа, что не только способы, но и варианты *письма* могут быть сопоставлены с позициями понимания схематики разума. Самая последовательность конституирования разума — *центр* — актуализирует все потенциальное существование способов письма. Мифологема семени присутствует уже в «О понимании» — дальше осуществляется схема последовательной «разборки» реальности при полном осознании *простого* — исходного переживания единства: «есть нечто».

Поэтому Розанов совершенно убежденно выстраивает свободное письмо с полным осознанием того, что литература обладает надприродным измерением, в котором обладание оборачивается пленом, дар — неволей («Невольная музыка в душе...»). В какой стихии находится автор: «Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? Почему? Кто знает? — меньше всего автор».<sup>9</sup> *Письмо* устремлено в завтрашнее своей собственной логикой, подобно тому как в прошлое обращено традицией. Прошлое и будущее встречаются в настоящем: письмо не есть дело одного только автора послания, а дело всей предшествующей любовно-понимающей энергии («...тоска народов, отчаяние пролетариата в кольцах удава буржуазии — все это в

<sup>8</sup> В преодолении *исторического* Розанов близок всей традиции «философии жизни», но на особенности ее русской рецепции указывает постоянная то явная, то скрытая полемика с Ницше. Интересно отметить, что разрабатывавшаяся в конце XX века тема письма направлена не против универсальности органики, а против доминанты логического — отсюда критика «фалло-фоно-лого-центризма».

<sup>9</sup> *Розанов В. В. Уединенное*. С. 45.



громадных словах, в дивных чеканных формулах, есть у Достоевского»).<sup>10</sup> Рождается автор в письме: «Счастье писания — счастье рождения».

В *имманентном пантеизме* Розанова Н. А. Бердяев определил могущественное первоощущение божественности мировой жизни, непосредственной радости жизни. И очень слабо, полагал критик, в нем выражено чувство *трансцендентного*: «Розановщина есть своеобразный мистический натурализм, обожествление натуральных таинств жизни. В XX веке, на закате человеческой истории переживает Розанов натуралистический фазис религиозного откровения, жаждет всемирно-исторической детскости и наивности и не замечает ветхости и старчества этой реставрации первых дней человечества». <sup>11</sup> Бердяев говорит о необходимости выхода из *этого* мира в мир трансцендентный, но логика Розанова другая — он против изначального удвоения: понимание и письмо феноменологически самодостаточны.

Обращение к теме *письма* дает возможность соотнести в проблемно-тематическом пространстве тему неповторимого послания («почти на правах рукописи») и тему процесса. Проблематизировать вопрос о *письме* как представлении рефлексии.

Понимание — исток, и, наверное, цель, а письмо — процесс. Понимание, таким образом, как бы перемещается в письмо. Но размещенный в пространстве письма опыт письма Розанова — это не только его личный уникальный опыт, а опыт как схематика. Как пересечение письма-процесса и письма-послания.

То, что Д. Г. Лоуренсу, к примеру, могло казаться в Розанове откровением и открытием («фаллическая литература»), в конечном счете поддерживает только историческую догму. В понимании нет смысла обращаться к «фаллической литературе» — более того, смысл состоит в отказе от такого центразма, как и любого другого. Письмо оформлено на своем собственном фоне — осознано в несводимости ни к классическим стратегиям смысла, ни к неклассической «фалличности». Для письма вообще нет определения кроме того, которое создано собственным разворачиванием. Тайна письма — в самом письме. Другое дело, что никуда нельзя выскользнуть за пределы письма — любое его воплощение всегда уже «конвертировано». Письмо ничего не выражает и тем более ничему не подражает. Оказывается ли оно в таком случае пониманием и может ли быть ответственным в самом себе? Как возможна ответственность?

Ф. Э. Шперк приводит следующие слова Розанова: «Редко человек понимает конечный смысл того, что он делает, и большею частью он понимает его слишком поздно для того, чтобы изменить делаемое. Вмешательство индивидуальной воли в пути истории всегда бывает напрасным. *Этой доли напрасности я не мог не заметить и во всем, что мне случилось высказывать*. Не человек делает свою историю, он только терпит ее, в ней радуется, или, напротив, скорбит, страдает». <sup>12</sup> Проявления «человеческого» как бы стираются и ступшевываются в столкновении. Значимо надличностное в личностном неповторимо, но необходимо проявленное. Достоевский еще мог себя выразить в романе, а в 1900-е годы «человек, Достоевскому „конгениальный“ и „почти гениальный“, уже едва мог не выразить, а выкрикнуть свою тему, свое „Я само“ («я-то бездарен, да тема моя гениальна»). (<...>Ныне же человек с темой и воплями Достоевского... был бы немой: с землей во рту. И сама тема — с землей во рту». <sup>13</sup> Розанов разворачивает письмо в противопоставлении позиций, но в органическом единстве.

<sup>10</sup> Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени / Собр. соч. под ред. А. Н. Николукина. М., 2000. С. 158.

<sup>11</sup> Бердяев Н. А. Христос и мир. Ответ В. В. Розанову // Василий Розанов: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология / Сост., вступ. ст., прим., библиография В. А. Фатеева. СПб., 1995. Кн. 2. С. 29.

<sup>12</sup> Шперк Ф. Э. В. В. Розанов. (Опыт характеристики) // Василий Розанов: Pro et contra. Кн. 1. С. 262.

<sup>13</sup> Дурюлин С. Н. В. В. Розанов // Там же. С. 244—245.

Ущербна для Розанова прежде всего искусственность литературы: *полиидеизм* отрывает от жизненной органики. «От „мережковской“ литературы болезнь: „что вы, больны чем-нибудь? — Нет, я не болен: но мною больна эпоха“. В самом деле, не будь в ней Мережковского, — эпоха явно „была бы здоровее“». <sup>14</sup>

*Письмо*, по Розанову, обращает к *природе слова*: как и *понимание*, *письмо* актуализирует соотнесенность. «Несомненно, что совершается этот процесс человеком, он в нем понимает; но столь же несомненно, что не им определяется этот процесс: он определен его природой с того момента, как она существует, и до того момента, как она перестанет существовать» (С. 515). Онтология *письма* составляет особый мир, который развивается рядом с миром жизни как свободно-необходимое усилие.

Можно сказать, что Розанов-литератор жалуется литературе на литературу, вовсе ее не отрицая. Противно что-то одно, а не вся литература, она же противна тогда, когда сливается недостойно с этим одним. Розанов стремится «разжать» литературу, зажатую политикой, повседневностью и т. п. не в смысле той или иной *темы* — как раз темы политики, повседневности и т. п. предельно значимы для *письма*, — а в смысле ее сознательной или бессознательной ущемленности мелким, измене собственной природе («Литература сделалась мне противна»).

Спор литературы один — с самой собой, жалобы литературы — на самое себя. Литература — это мир, в котором «все есть», это не дополнение мира, а сам мир. *Письмо* в его высоте — именно самое серьезное и ответственное возражение миру в слове.

Но действительно ли *письмо* та «субстанция», которая находится *за* пределами истины и зла? Делаящая человека пленником собственного дара? Субстанция ни на что не похожего: «Пишу для каких-то „неведомых друзей“ и „хоть ни для кому“»? — сознательный уход от определенности адресата: «Из безвестности приходят наши мысли и уходят в безвестность». <sup>15</sup>

Существуя как послание, *письмо*-процесс никогда не может быть законченно воплощено — скорее, речь может идти о принципиальной потенциальности воплощений. «Литература родилась „про себя“ (молча) и для себя; и уж потом стала печататься. Но это — одна *техника*». <sup>16</sup>

Сведение к современности всегда оказывается ущербным (избыточная воплощенность), соответственно не удовлетворяясь формой. «Просто я не имею формы... субъективное действительно разлито во мне бесконечно. Я „наименее рожденный человек“, как бы „еще лежу“ (комком) в утробе матери. На кой черт мне „интересная физиономия“ или еще „новое платье“, когда я *сам* (в себе, в «комке») бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет, и вместе юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо...» <sup>17</sup>

*Письмо* — именно «наше содержание». «Оно бесконечно. И древне, и ново. Даровито и бедно. Это не мы „родились“, а нас „родили“, и не „родители наши“, а „вся история“. Что есть в нас. Чего нет. Знаем ли мы себя. Никогда.

И вот мы волнуемся. Стараемся управлять собою и не можем. Строим правила, а они бессильны. Постоянно выходим из „себя“. Это „предки наши“ выливаются через край нашего личного „я“. Где „я“? Нет, где „не-я“?» <sup>18</sup>

Живой философский опыт предполагает возможность работы с понятиями-метафорами. И тогда опыт *письма* Розанова предстает при всей уникальности как опыт мысли. Известность — «поросычье удовольствие», *письмо* устраняет гордыню. Снова обретаемое желание «быть приниженным» возвращает к органике и онтологии.

<sup>14</sup> Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 125.

<sup>15</sup> Розанов В. В. Уединенное. С. 36, 37.

<sup>16</sup> Там же. С. 72.

<sup>17</sup> Там же. С. 55—56.

<sup>18</sup> Там же. С. 284.

Обращения к психологическим или сублиматорным стратегиям не многое проясняют в понимании субстанции письма. Более конструктивно обращение к «*антропологии тела*» или «*авто-био-графии*», фиксирующим *другое* пространство понимания.

*Письмо* — особый топос встречи *других* феноменов. Розанов предельно концентрирует тему: происходит как бы своеобразное «схлопывание» повествования. Добро и зло не уравниваются, конечно: речь идет о *другом*.

*Письмо* Розанова мыслится им как доведенное до предела «*русское письмо*», высказывание литературы о самой себе. Поэтому и претензии ко *всей* русской литературе: «Как ни страшно сказать, вся наша „великолепная“ литература, в сущности, ужасно недостаточна и неглубока. Она великолепно „изображает“; но то, что она изображает, — отнюдь не великолепно и едва стоит этого мастерского чека-на. XVIII век — это все „помощь правительству“; сатиры, оды — все; Фонвизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов, — все и *все*».

Да, хорошо... Но что же, однако, тут *универсального*?

Все какой-то анекдот, приключение, бывающее и случающееся, — черт знает почему и для чего. ...Все это просто ненужно и неинтересно иначе как в качестве иногда прелестного сюжета для рассказа. Мастерство рассказа есть и остается: „Есть литература“. Да, но как *чтение*. В сущности все — „сладкие вымыслы“. „...Но ведь и русская история вообще говоря еще почти не начиналась“. Литература вся празднословие... Почти вся...»<sup>19</sup>

*Письмо* как бы надстраивается над высказываниями, это, если угодно, трансцендентальное измерение творчества, совсем не сводимое к психологии («душе»). Пред-полагание самой возможности высказывания. Неопределенность — но не безличность — влекущей силы: одного выбирает, а другого — нет. И с «точки зрения» *письма*, которая постоянно смещается, в отношении одного и того же человека, события или переживания могут быть высказаны противоположные вещи. Так с именем, которое может быть предельно изменено интонацией или суффиксом, но ничего подобного не может быть в отношении всего поименования.

*Письмо* возвращает творчество к своей метафизической уместности. Возникает вопрос о философии понимания России («Наша русская вся — философия выпоротого человека»<sup>20</sup>). Но это и «русская стихия» — «беспорывная природа Восточно-Европейской равнины». «Эти говоры, шепоты и есть моя литература» и «церковь — единственно поэтическое...».

Достаточно очевидной оказывается радикальная непригодность России (традиционно рассматривающейся как «слепое пятно») для трансцендентального и герменевтического опыта.<sup>21</sup>

Подобная притязательность (а ее не может не быть) в очередной раз аранжирует проект просвечивания/просвещения «иного». При незначительной радикализации суть дела выступает следующим образом: усвоение Россией герменевтики оказалось бы одновременно освоением герменевтикой России. То есть освоение России речью, логосом, смыслом, историей, социальностью (на фоне девальвации — как философской, так и вполне «реальной» — этих образований на Западе).

Но Россия молчит (как молчат *массы*, молчит «*радикальная экзотика*», молчит *безумие*), несмотря на интенсификацию герменевтических заклинаний. Это стимулирует одновременно же усиленный режим поиска. Где, в этом смысле, гово-

<sup>19</sup> Там же. С. 58—61.

<sup>20</sup> Там же. С. 76.

<sup>21</sup> Ср.: «Я ничего не понимаю, — продолжал Иван как бы в бреду, — я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте» (*Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. СПб., 1991. Т. 9. С. 274*).

рит Россия (т. е. каково исходное место ее речи), и говорит ли она вообще? Подобный формат поддается не только геополитической, но и собственно философской экспликации. Философский образ России соотносим с зонами герменевтической неуспешности, зонами нетекстуализируемого в тексте, в то время как Россия (в художественной практике и в попытках философского и пара-философского самоосмысления) настойчиво интерпретирует себя как принципиально «атекстуальное» или даже «антитекстуальное» образование. «Когда все превратилось в текст, можно ли еще вернуться к слову-событию?»<sup>22</sup>

*Письмо* созвучно жизненно-мировым, антрополого-эстетическим и социально-метафизическим практикам. Соответственно может быть представлено *русское письмо* как манифестирующая текстуальность и как послание миру. Но сразу же встают вопросы определений: как именно может быть дан концепт России? Каковы условия, основания и аргументы концептуализации? Иными словами, славянофильский, западнический и (или) особый третий (евразийский и т. п.) концепты России выступают как смыслообразующие доминанты понимания? К тому же встает проблема определения актуальной для сегодняшней философии темы письма: что «сущностно» характеризует русское «метафизическое письмо» (историософия, всеединство, космизм, метафизический персонализм, «синтез» исихазма и феноменологии, «философия как проповедь»)? Ведь, к примеру, в случае понимания России как «подсознания Запада» необходимо включение в сферу толкования комплекса психоаналитических аргументов. В каждом случае появляются предварительные вопросы, достаточно далекие от собственной проблематики герменевтики. К тому же тексты русской философии («*русская философия как текст*») могут существенно отличаться друг от друга.

*Письмо* маркирует определенное недоверие к конкретной «литературности» («не литература, а литературность ужасна») — упрямая настойчивость письма противостоит любой миметологии. Конкретное послание вовлечено, подобно тому как мышление всегда движется в колее, предлагаемой языком. Даже провал в речи, вынужденное молчание, парадоксальность, «апофатика» и даже утрата дара речи значимы.<sup>23</sup>

*Письмо* подобно языку. *Поток*. Язык как поток сознания есть всеобщее преципирование, текучесть и становление, где «дискретные» языковые данности как бы растворяются в континуальности.<sup>24</sup>

Но континуальность представляет то *иное*, в отношении к чему язык и письмо непрерывно становятся.

Поток имеет дело с жизнью. *Письмо* находится как бы за пределами места и времени, поэтому в посланиях постоянно топо-графирует и хроно-графирует себя («за нумизматикой»), создавая «предметность» как свое *иное*.

Своеобразным пределом письма могут выступать разного рода речевые практики («до-письмо», глоссолалия), которые удерживаются не возникающими здесь и теперь интерсубъективными или диалогическими смыслами, а совокупной предельной энергией проживания и понимания обезличенных субъектов.

Литература имеет дело именно с языком, в котором даны состояния, усилия, фантазмы, а язык отдан этому почти хтоническому колебанию природы. *Автор* представляет и истолковывает становящееся *письмо* и сам им создается.

Органическая природа *письма* противопоставлена разделенности, предельным проявлением которой является шизоидность, ведь шизоидный конфликт — это бо-

<sup>22</sup> Библихин В. В. Слово и событие. М., 2001. С. 93.

<sup>23</sup> «...Если кто-то лишается дара речи, это значит, что он хочет сказать так много, что не знает, с чего начать... сама утрата дара речи есть уже некоторый вид речи; эта утрата не только не кладет конец говорению, но, напротив, позволяет ему осуществиться» (*Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 44).

<sup>24</sup> См.: Лосев А. Ф. Поток сознания и язык // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. С. 475—476.

рба между жизнью и смертью, его можно выразить как «быть или не быть». Событие письма в таком случае противостоит отрицанию жизни.

*Письмо* Розанова обладает особой ритмикой и константными образами: имена, концепты, позиции «перемешаны» таким образом, что от их сочетания возникают смыслы-следы, становящиеся при актуализациях и повторах конструктивными ориентирами новых смыслов.

Предназначение поэтического языка не в том, чтобы поддерживать манию повторения, а в создании магии осваивающего переживания. Повторение — не движение по кругу, а создание интенсивности. Не навязчивая привычность повторения — *графо-манья*, а интенсивное конструирование переживания и смысла в слове и последующем письме — *графо-магия* («Магия. О, бесконечная магия»). Мир вводится в особое состояние восприятия новизны благодаря тому, что сознание научилось воспринимать новые формы.

Вопрос об истине искусства порождает соответствующую мысль о бытии истины в мире. *Письмо* предстает как усилия открытия и сохранения истины. *Письмо* ничего не говорит окончательно — оно *говорит*. Говорит — сохраняя мир. И это «нежелание-ничего-сказать» мало похоже на безобидное упражнение.<sup>25</sup> Иными словами, *письмо* ни к чему идеальному не отсылает — идеальная трансценденция отсутствует. Искусство все время становится *иным* для самого себя, изменяет способы собственного представления, уходит, оставляя следы, но следы ценны потому, что свидетельствуют о возможности соприкосновения с жизнью.

Автор совершает почти невозможное усилие творчества, оперируя приемами, а открывающий событие видения воспринимающий субъект переживает одновременно сопричастность человеческому, вещному и культурному универсуму. Субъект, имеющий дело с поэтическим языком, открывает в себе неизменную человеческую природу.

*Письмо* имеет дело с «*антропологической константой*» — с общим в человеке — его природно-субстанциальным существованием. Но пребывание в жизненном потоке предполагает проекцию в конкретность, поступок, ведь экзистенция имеет признаки неповторимости. Эстетический опыт оказывается необходим как особый экзистенциально-антропологический и герменевтический опыт работы с пределом.

Розанов утверждает тему *письма* как особой оптики русского сознания и русской культуры. Особого смотра и внимания. *Письма* как внимания и понимания. «Мы, в сущности, играли в литературе. „Так хорошо написал“. И все дело было в том, что „хорошо написал“, а что написал — до этого никому дела не было. По *содержанию* литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость бесстыдства и наглости, — как ни единая литература. В большом Царстве, с большой силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить — чтоб этот народ хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для косьбы сделать... Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, „как они любили“ и „о чем разговаривали“. И все „разговаривали“ и только „разговаривали“, и только „любили“ и еще „любили“».<sup>26</sup>

*Письмо* как моральное усилие поименования — это та мораль творчества, которая «раньше онтологии». Оно рождается в эстетическом опыте и рефлексивном постижении таким образом, что и опыт, и рефлексия оказываются постоянно сменяемы с собственных путей и собственных представлений в процессе развертывания события. Одно и то же слово может по-разному «играть» в *письме* как субстанции творчества.

В конечном счете тема *письма* предстает как вопрос о природе литературы.

<sup>25</sup> Деррида Ж. Импликации // Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 27—28.

<sup>26</sup> Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 154.

## КОНТУРЫ ЖАКЕРИИ

(В. В. РОЗАНОВ И МЕРЕЖКОВСКИЕ)

В архиве Розанова пачку писем «семейства» Мережковских предваряет «заметка» — своеобразный ключ к осмыслению личностей бывших корреспондентов: «„Античные люди” — так хочется назвать всех их, — целую колонийку, заблудших в России. Зина, Митя и потом около них Дима, с Бакстом и проч., — все это были какие-то „заморыши” в европейской цивилизации, в христианской цивилизации, — и они расцветали и были „собою” лишь около Таормина и Сиракуз, своей древней и вечной, своей ноуменальной родины. Не Мережковский был холоден, а Мережковскому было холодно. Никто столько не проповедовал Христа: но ни от кого, я думаю, в тайне вещей Христос так не страдал, как от Мережковского, если только...»<sup>1</sup> Когда писалась эта «заметка», к ноябрю 1914 года, отношения между Розановым и «кольцом Мережковских» были разорваны.

Зимой 1913/14 года Мережковским и Философовым разыгрывается история с исключением Розанова из Петербургского Религиозно-Философского общества.<sup>2</sup> На заседании общества, состоявшемся 26 января 1914 года, Дмитрий Философов поставил вопрос ребром: общество должно исключить или Розанова, или их. Как один из недопустимых общественных шагов Философов инкриминировал Розанову статью «Не нужно давать амнистию эмигрантам». Обвинив Розанова в неприличных выступлениях в печати, Философов умолчал о весьма существенной детали: о том, что именно его статья «Заграничные дети», посвященная амнистии политических эмигрантов, послужила поводом к выступлению Розанова.<sup>3</sup> И еще одна любопытная деталь, которая не была озвучена на этом бурном заседании. О ней мы узнаем из письма Мережковского из Парижа к Философову от 17 января 1913 года. Речь идет о визите к Мережковскому известного адвоката А. Ф. Стааля: «Был у меня Сталь (sic!). Просит тебя „от лица всех здешних” написать в „Речи” статью об амнистии, напирая на судьбу детей в изгнании: „дети, мол, ни в чем не повинные, больше всех страдают”. Он уверен, что у тебя это выйдет убедительно. Я тоже думаю, что ты сделал бы доброе дело, если бы такую статью написал. Здешние тебе сказали бы за нее спасибо».<sup>4</sup> Таким образом, статья «Заграничные дети», написанная по просьбе политической эмиграции, и спровоцировала выступление Розанова в печати. «Не надо „погрома” звать и в Россию, — писал Розанов, — ибо „революция” есть „погром” России, а эмигранты — „погромщики” всего русского: русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов».<sup>5</sup>

Конфликт между Розановым и Мережковскими назревал давно. Теперь же он обострился до предела. Кроме истории, связанной с делом Бейлиса, Философов обвинил Розанова в публикации прежде всего этой статьи, предостерегающей Россию от разразившейся через четыре года катастрофы.

Их идейное размежевание началось с 1909 года. Причиной этого было столкновение реального взгляда Розанова на революционные события, происходящие в России, и утопического религиозного максимализма Мережковского. Заметим, что

<sup>1</sup> В. В. Розанов о ближних и дальних (Пометы к письмам корреспондентов) / Вступит. статья, публ. и комм. А. В. Ломоносова // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 89—90.

<sup>2</sup> Иванова Е. В. Об исключении В. В. Розанова из Религиозно-Философского общества // Наш современник. 1990. № 10. С. 104—122.

<sup>3</sup> Философов Д. В. Заграничные дети // Речь. 1914. 3 февр. С. 2.

<sup>4</sup> РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 188. Л. 19.

<sup>5</sup> Розанов В. В. Не нужно давать амнистию эмигрантам // Богословский вестник. 1913. № 3. С. 647.

русское общество начала XX века в подавляющем своем большинстве было увлечено идеей революционного переустройства России. «Полевение» русского общества не прошло мимо Розанова. «Как я смотрю на свое „почти революционное” увлечение 19..., нет 1897—1906 гг.? — Оно было право», — писал он позже.<sup>6</sup> И Розанов, как и большая часть русского общества, приветствовал смерть от эсеровской бомбы министра внутренних дел В. К. Плеве: «Да я сам осуждаю ли убийцу Плеве? Нисколько. Полно радовался тогда».<sup>7</sup> Тогда он явно сочувствовал «левым» настроениям русского общества. Казалось бы, сочувствуя революции, он тем не менее пророчески предвидел бессмысленность надвигающейся на Россию катастрофы: «...все движение выразится в повторении средневековой французской жакерии или немецких крестьянских войн: т. е. совершенно пьяного, ни к чему не приводящего истребления имущества страны и психопатического разлития крови. Кровь, грязь и огонь — вот стихии русской революции. И в конце ее — ничего, решительно ничего, никакого положительного результата, как это было после слепых народных движений в Германии и Франции».<sup>8</sup> Прежде всего сочувствие русского общества террору и оттолкнуло его от освободительного движения. Приблизительно в 1907 году, а может быть и раньше, наметился поворот Розанова — он постепенно отходит от своих либеральных увлечений.

Что касается Мережковских, то они, напротив, к этому времени стремительно «полевели». В разгар первой русской революции Мережковские, присоединив к своей «семье» Дмитрия Философова, уехали во Францию. Это бегство радикала Мережковского из России вызвало позже иронический выпад Розанова: «Но так как он имеет обыкновение сообщать в газеты, что он „выезжает из России” или „въезжает в Россию”, то очень хорошо известно и никто не забыл, что именно в то время, когда еще не настали, но могли наступить „известные события” — он спокойно брал билет в обществе спальных вагонов с кратким маршрутом „S-Petersbourg—Paris”».<sup>9</sup> Действительно, дважды или трижды в год «христианская коммуна» отправлялась на роскошные курорты Ривьеры, Лазурного берега, проводя за границей весьма значительную часть жизни. Эти постоянные отъезды были поводом для язвительных укоров Розанова в их адрес: они — «западники», «иностранны».

Годы, проведенные во Франции, были для триумvirата важнейшим этапом их биографии. Их салон на улице Теофила Готье, куда часто заходят эсеры, превратился вскоре в нечто вроде «штаб-квартиры революции».<sup>10</sup> Новыми фигурами, вошедшими в их орбиту, становятся эсеры — «бомбисты». У новых знакомых «неохристиан» за плечами стояли кровавые покушения в России на министра внутренних дел В. К. Плеве, Великого князя Сергея Александровича, попытки царубийства... Но, как это ни парадоксально, «трио» чувствует мистическую связь террористов с Христом и всячески пытается перевоспитать их в религиозных подвижников, внушая им соблазнительную мысль, что они близки к христианским мученикам. Общий язык символизма еще недавно объединял Мережковского и Розанова. Они развивали метафизику в одних и тех же символах, но теперь они перестали понимать друг друга. Розанов не воспринимал революцию в отвлеченно-мистическом преломлении, он трезво смотрел на террор, называя политическую эмиграцию «парижскими и женевскими убийцами».

<sup>6</sup> Розанов В. В. Опавшие листья. СПб., 1913. С. 198.

<sup>7</sup> Розанов В. В. Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. СПб., 1910. С. 285.

<sup>8</sup> Розанов В. В. Надвигающаяся жакерия // Новое время. 1906. 24 июля. Цит. по: Розанов В. В. Собр. соч. М., 2003. [Т. 15]: Русская государственность и общество. С. 113—114.

<sup>9</sup> Розанов В. В. Литературные симулянты // Новое время. 1909. 11 янв. С. 4.

<sup>10</sup> Об отношениях Мережковских и Д. В. Философова с эсерами в это время см. в нашей публикации: Письма З. Гиппиус к Б. Савинкову: 1908—1909 годы // Русская литература. 2001. № 3. С. 126—162; «Религиозная общественность» и террор // Там же. 2003. № 4. С. 140—161.

Когда в Петербурге прогремел взрыв на даче премьер-министра П. А. Столыпина, Мережковские занимались во Франции подготовкой сборника «Царь и Революция», развенчивающего русскую монархию и православие.<sup>11</sup> Последствия взрыва были ужасающими: погибло 29 человек и 25 человек было ранено.

Предоставим слово очевидцу — В. Розанову, физически почувствовавшему ужас революции и потрясенному увиденным: «Именно, после взрыва на Аптекарском острове я поехал посмотреть на трупы убитых. (...) С ответною запискою о „позволении“ я подошел к часовому с ружьем, он кивнул головой, и я спустился вниз, ступени на три, в какой-то, по моему представлению погреб, полуосвещенный или тускло освещенный, и, сделав два шага, остановился, не в силах будучи оторваться от зрелища. Я увидел колено с вырванной чашечкой... (...) Потом, в последние пять минут, я осмотрел остальные трупы. Но душа уже устала, и я ничего не чувствовал. Но это „колено“ для меня сделалось символом всей революции, слилось с сутью ее».<sup>12</sup> Несколько позже, наблюдая разгул кровавого террора в России, он вывел краткую формулу: *«Революция есть ненавидение»*.

Изменение политического курса Мережковских, их явное «полевение» и соответствующая переориентация Религиозно-философского общества в 1908—1909 годы, после возвращения «трио» из Франции, в сознании Розанова связывалось прежде всего с их парижским кругом общения, о котором он мог только догадываться. Мнение по поводу Мережковских было высказано им в письме к А. Блоку от 19 февраля 1909 года: «Дорогой мой, что же это за цыганство и что же за лакейство, что за „российский нигилизм“ (не лучше Пуришкевича),<sup>13</sup> приехав из Парижа, где они жали руку „может быть самому Азефу“<sup>14</sup> (еще тогда террористу), *сказать в сердце своем*: „Теперь мы довольно высоко поднялись, нас все читают, романы идут, Пирожков торгует,<sup>15</sup> на лекции сбегаются: *все это пойдет еще лучше*, если мы оттолкнем *синодского чиновника Тернавцева*<sup>16</sup> и *нововременца Розанова*, которые решительно нас компрометируют”».<sup>17</sup> Отметим, что в ответном письме Блок высказался за поддержку террора.<sup>18</sup> Это свидетельствовало о типичности определенных общественных умонастроений. Русское общество постепенно свыклось с кровавой оргией политических убийств, бушевавших в России уже несколько лет.

Последнее письмо, полученное Розановым от Гиппиус из-за границы, было написано в июне 1908 года:

«St. Jean de Luz

Милый вы наш друг.

Простите, что так мы вам нехорошо-долго не отвечали. Мы на вас не „сердились“, а во-первых и в главных — мешали нам сборы из Парижа и сопроводительная этим сборам психология. И устали, и огорчились. Второе же, и не главное, —

<sup>11</sup> Об этом сборнике см.: Павлова М. М. Мученики великого религиозного процесса // Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. Царь и Революция. М., 1999. С. 7—56.

<sup>12</sup> Розанов В. В. Перед гробом Столыпина // Новое время. 1911. 1 окт. С. 4—5.

<sup>13</sup> Пуришкевич Виктор Михайлович (1870—1920) — член II, III и IV Государственных дум.

<sup>14</sup> Азеф Евно Фишелевич (1870—1918) — руководитель Боевой организации партии эсеров. В конце 1908 года был разоблачен как провокатор.

<sup>15</sup> Пирожков Михаил Васильевич (1867—1927) — издатель. С 1902 года большинство сочинений Мережковского и Гиппиус издавалось у Пирожкова.

<sup>16</sup> Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — писатель-богослов, с 1907 года — чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, активный участник Петербургского Религиозно-философского общества.

<sup>17</sup> Беляев С. А., Флейшман Л. С. Из блоковской переписки // Блоковский сборник. [II]. Тарту, 1972. С. 403.

<sup>18</sup> См. письмо А. А. Блока к В. В. Розанову от 20 февраля 1909 года (Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 276).



это то, что, действительно, письма ваши такие были, что на них немедленно было нечего отвечать. Мы подумали: что это, как Розанов распустился! Пусть подберется немножко; и *сам* пусть подберется, не стоит ему нотаций читать, не маленький. — Ну вот, вы и подобрались. Весело на точке стоять, *свободно* болтать, но не так, чтобы удержу себе не иметь. Язык малая вещь, а весь круг жизни восплаляет... ежели за ним не смотреть. И когда Розанова „развезло”, — мы и помолчали, с любовью помолчали, чтобы потом еще нежнее его принять в свои объятия. И, повторяю, совсем мы не цензура, и пусть Розанов с нами всеми и с каждым будет свободен, только пусть сам за собой смотрит: распускаться для него худо, для самого, а не для нас.

Не сердитесь же вы на друзей своих верных и напишите скорее, что отпустили им долгое молчание. Мне Тата писала,<sup>19</sup> что Вы ими обижены. А Суворин-старик мне писал, что вы с ним как-то целый вечер проговорили, и о нас хорошо упоминали. За дружеские отзывы — спасибо. Теперь Вы нам черкните строчку в Германию — Homburg V.D.H., *poste restante*, ибо мы из Пиренеев уезжаем скоро и приближаемся к России, где будем в начале июля. Иванов-Рыжий<sup>20</sup> мне писал, что вы один остаетесь в городе, на дачу будете только наезжать. Вот, значит, и свидимся скоро, Бог даст. Мы тоже будем на даче, вместе с девочками<sup>21</sup> моими и с Карташевым,<sup>22</sup> когда он освободится.

Говорят — да и чувствуется — тоска у вас в России непроглядная. Ну что ж, тоска так тоска. Все равно, от России не отречешься.

Как ни тепло чужое море, а все домой пора. Перед отъездом из Парижа видели *Se'verac'a*,<sup>23</sup> он рассказывал, что 24 часа подряд ваше письмо читал, да еще вместе с женой. Очень остался доволен.

Дорогой вы наш кот-Васька, целуем вас все, любим, помним и ждем нежного отклика.

Ваша всегда Зина Гиппиус». <sup>24</sup>

«Трио» возвратилось в Россию после «половинной» революции в середине июля 1908 года, проведя за границей почти три года. За неделю до их возвращения в ряде газет была опубликована в отрывках статья Л. Толстого «Не могу молчать» (1908), прозвучавшая страстным протестом против смертной казни. Почти одновременно появляется и «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева. Русские писатели протестуют против смертной казни. Мережковский, прочтя «Не могу молчать», высказал надежду на то, что теперь вечный бунтарь Л. Толстой сделает шаг навстречу русскому освобождению. Мережковские вернулись в Россию в то время, когда русское общество широко обсуждало и осуждало казнь. Розанов также заявлял свой протест в статье «Лукавые слова», вошедшей в коллективный сборник «Против смертной казни» (1907). Он вполне разделял отрицательное отношение к смертной казни,<sup>25</sup> но его поражало другое — почему русское общество сочувствует только революционерам? Почему отсутствует сострадание к жертвам террористов? В годы, последовавшие за поражением первой русской революции, обозначи-

<sup>19</sup> Речь идет о сестре З. Н. Гиппиус — Татьяне Николаевне Гиппиус (1877—1957).

<sup>20</sup> Прозвище литератора Евгения Павловича Иванова (1879—1942), в это время дружившего с Розановым.

<sup>21</sup> Речь идет о сестрах З. Н. Гиппиус, Татьяне Николаевне и Наталье Николаевне Гиппиус (1880—1963). Характеристику сестер Гиппиус, данную Розановым, см.: В. В. Розанов о близких и дальних. С. 91.

<sup>22</sup> Антон Владимирович Карташев (1875—1960) после окончания Петербургской духовной академии был там же профессором. Под влиянием Мережковских покинул академию. Состоял в духовном союзе с сестрами Гиппиус.

<sup>23</sup> Северак Ж. Б. — французский философ, теоретик социализма, профессор в колледже, парижский знакомый Мережковских. Автор статьи «Антихристианство г. Розанова» (Вестник знания. 1908. № 6. С. 834—842).

<sup>24</sup> РГБ. Ф. 249. Карт. М. 3872. Ед. хр. 3. Л. 3.

<sup>25</sup> См.: *Беляев С. А., Флейшман Л. С.* Из блоковской переписки. С. 402.

лась характерная черта розановских писаний — он явно качнулся «вправо». И этот поворот сопровождался отходом от Мережковских.

«Не мир, но меч» — так назывался сборник статей Мережковского, вышедший в свет в феврале 1908 года. Парафраз из Евангелия от Матфея (10: 34), взятый в качестве заглавия для книги, посвященной рассмотрению русской революции с религиозной точки зрения, был чрезвычайно показателен. В программной статье «Революция и религия», включенной в сборник, «христорборцу» Розанову уделялась X глава. И хотя он рассматривался Мережковским как один из участников Новой Церкви апокалиптического христианства, сам Розанов задавал по этому поводу вопросы: «Вы ведь „апокалиптические“ христиане... А какое же там, в Откровении, христианство?»<sup>26</sup>

Контуры фантастической концепции Мережковского о Третьем Завете, питающейся апокалиптическими представлениями о конце света и наступлении нового мира, наметились еще в конце XIX века.<sup>27</sup> Фактически Третий Завет Мережковского означал преодоление христианства и его орудия — государства. И Мережковский и Розанов — оба центральные фигуры модернистского лагеря. Антихристианская линия Розанова (этим он и был притягателен для «трио») была только отчасти параллельна линии Мережковского в его критике исторической церкви, т. е. православия. Но еще в 1906 году Мережковский пронизательно высказал догадку о религиозной эволюции своего «вечного искusstителя», который вернется в православие и будет противником.<sup>28</sup> Розанов на самом деле, как и Мережковские, долгие годы действительно скользя «по краю ереси», и его отношения с официальной церковью были непросты. За еретические воззрения брошюры «Русская Церковь» (1909) в Синоде было открыто дело о предании Розанова анафеме. Но вскоре в «неистовом богоборце» прозвучит раскаяние: «Как пуст мой „бунт против христианства“»<sup>29</sup> и признание: «Иду в Церковь! Иду! Иду!».<sup>30</sup>

Тема насилия оказалась в эту эпоху необычайно актуальной. Вопрос о понимании в христианстве насилия поднимался еще на Религиозно-философских собраниях весной 1902 года. Мережковский, выступив в прениях по докладу «О свободе совести», говорил о том, что принцип насилия лежит в демоническом начале и союз с насилием — от антихриста. Причем антихрист будет подобен Христу, и в этом кроется опасный соблазн: «Если мы примем меч насилия, то мы отступаем от Христа и попадаем в ложь».<sup>31</sup> В стенографическом отчете Религиозно-философских собраний предельно кратко отмечено возражение Розанова:<sup>32</sup> В «Записках» Е. В. Дягилевой, тетки Философова, дана развернутая реплика Розанова: «„Это ваша иллюзия Д(митрий) С(ергеевич). Неужели Вы думаете, что все до сих пор ошибались, в средние века и сам Лютер? Насилие и наказание вовсе не противны Христианству. Доказательством служат слова Спасителя о том, что камня на камне не останется в Иерусалиме (...)” Мережковский схватился за голову и закричал: „Тут громадное недоразумение!“».<sup>33</sup> Теперь же отношение Мережковского и Розанова к насилию изменилось, они словно поменялись ролями. Идея о революционном насилии под эгидой Христа оказалась неприемлемой для Розанова.

<sup>26</sup> Гиппиус З. Н. Задумчивый странник (О Розанове) // Гиппиус З. Н. Живые лица. Воспоминания: В 2 кн. Тбилиси, 1991. Кн. II. С. 116.

<sup>27</sup> Сохранилась писарская копия сочинения Д. С. Мережковского «Религия духа и чистого разума», относящаяся еще к 1890-м годам (РНБ. Ф. 150. Ед. хр. 381).

<sup>28</sup> Мережковский Д. С. О новом религиозном действии (Открытое письмо Н. А. Бердяеву) // Мережковский Д. С. Больная Россия. Л., 1991. С. 95.

<sup>29</sup> Розанов В. В. Уединенное. М., 2002. С. 295. Запись 14 декабря 1911 года.

<sup>30</sup> Там же. С. 279. Запись 9 декабря 1911 года.

<sup>31</sup> Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.). М., 2005. С. 123.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> ИРЛИ. Ф. 102. Д. 3. Л. 16 об.—17.

Роман «Бесы» для Розанова оказался гениальным пророчеством о катастрофах начала XX века. «Для революции в психологическом и идейном отношении не осталось непройденных путей, новых путей после Достоевского», — писал Розанов.<sup>34</sup> «Бесы» воспринимались как конкретное проявление идеи радикализма. В новых исторических условиях и Розанов, и Мережковский как будто бы перечитывали Достоевского, воспринимая философский смысл романа в контексте революционных событий начала XX века. И Розанов обнаружил глубинное психологическое родство героев «Бесов» с современными «бомбочниками». В Ставрогине, Шигалево, некогда Верховенском (так полагал Розанов) Достоевский гениально набросал штрихи предшественников террористов: «Для действия не было простора, не было обстоятельств. Вот года два, как „простор“ явился: и мы наблюдаем до чего живопись Достоевского угадывала будущее».<sup>35</sup> И в подобном взгляде Розанов полностью расходился с Мережковским, увидевшим в «Бесах» пасквиль на революцию. В статье «Революция и религия» Мережковский переосмыслил евангельский эпиграф, раскрывающий идейно-философский смысл романа: защитники православия и самодержавия «похожи на стадо бешеных свиней, летящих с крутизны в пропасть»,<sup>36</sup> а не «вожди русской революции» (как это трактовалось Достоевским). Его статья «Бес или Бог?», опубликованная в журнале «Образование» (1908. № 8) сразу же после возвращения из Франции, напротив, защищала террор от обвинений в «бесовщине», продолжая центральную идею статьи «Революция и религия». Речь в ней шла о двух казненных террористах. Фрума Мордуховна Фрумкина отточенным ножом ударила в шею генерала Новицкого, начальника киевского жандармского управления. Ее отправили на каторжные работы на 11 лет, но срок вскоре сократили. Она бежала с поселения в Чите и была арестована в Москве, в Большом театре, у ложи московского градоначальника Рейнбота, с браунингом, заряженным отравленными пулями. Фрумкина была заключена в Бутырскую тюрьму, где выстрелом из револьвера ранила тюремного начальника Багрецова. При этом суд пытался всячески спасти ее от казни, но она вынудила судей подписать смертный приговор. Второй изображаемый Мережковским террорист назвал себя Максимом Бердягиным. У него была найдена бомба и браунинг, и он был приговорен к восьми годам каторги. В июле 1907 года он ранил в шею кинжалом, смазанным ядом, начальника Бутырской тюрьмы, в которой содержалась Фрумкина. Накануне казни он диким способом покончил с собой. Сначала Бердягин принял морфий, потом пытался иглой пронзить себе мозжечок, потом налег грудью на гвоздь, пытаясь пробить себе легкое и сердце, и наконец, черенком ложки перерезал себе сонную артерию. К этим явным фактам «бесноватости» давался комментарий, сопровождаемый евангельским текстом: «едва вынимают меч из ножен, как раздается веление: *довольно, оставьте, вложите меч в ножны*. И отсеченное ухо раба Малха исцеляется.<sup>37</sup> Жалят безвредно, как пчелы, чтобы, ужалив, самим умереть. Не убийцы, а жертвы».<sup>38</sup> Вывод Мережковского был, мягко говоря, странен: оказывается, террористы сами жертвы, а их беспомощность (они ведь так никого и не убили!) не простая случайность. Террористы приняли смерть, чтобы возвестить «благую весть», исповедовать новую религию: «Самая тяжкая ноша и есть ноша меча, ноша крови, ноша любви ненавидящей».<sup>39</sup>

Для Розанова подобная интерпретация террора была абсолютно не понятна. Как можно оправдывать обгаряющих руки в крови? Террор — это «сущий яд для

<sup>34</sup> Розанов В. В. На лекции о Достоевском // Новое время. 1909. 4 июля. С. 3.

<sup>35</sup> Розанов В. В. Л. Андреев и его «Тьма» // Новое время. 1908. 25 янв. С. 4.

<sup>36</sup> Мережковский Д. С. Революция и религия // Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. Царь и Революция. С. 155.

<sup>37</sup> Ин. 18:10.

<sup>38</sup> Мережковский Д. С. Бес или Бог? // Мережковский Д. С. В тихом омуте. М., 1991. С. 103.

<sup>39</sup> Там же. С. 108.

России», гибель для ее будущего. Он начал встречаться с Мережковскими с осени 1908 года на заседаниях Петербургского Религиозно-философского общества. Мережковский сразу же внес в заседания общества новый мятежный дух. Радикализм «трио» после возвращения из Франции — их резкое «полевение» — будет очевиден. Розанов, как вспоминала Гиппиус позже, хотя ходил на заседания, но никаких докладов не читал, поскольку острота лежала в чуждом ему вопросе о «религиозной общественности».<sup>40</sup> О намечившихся разногласиях мы узнаем из письма Мережковского к редактору и владельцу газеты «Новое время» А. С. Суворину. Поводом для письма послужила только что вышедшая в свет, в декабре 1908 года, книга Мережковского «В тихом омуте». Характерно название сборника: в мельничном омуте, как известно, обитала нечистая сила («в тихом омуте черти водятся»). 3 января 1909 года Мережковский обратился к Суворину с просьбой дать отзыв на этот сборник:

«Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич.

С Новым Годом! Давно собираемся мы к вам зайти, но все боимся попасть не во время и потревожить — ведь знаем, как вы заняты. Но если бы вы нам в свободную минуту черкнули и назначили время, мы зашли бы непременно и с удовольствием.

Посылаю Вам мою книгу „В тихом омуте“. Очень просил бы дать на нее отзыв в „Новом Времени“. Но кто? — вот вопрос. В. В. Розанов на меня теперь очень сердится — то ли, что я у него не был на именинах — то ли, что я спорю с ним в „рел.-филос. собр.“ (Кстати, в этом году чрезвычайно любопытные). Отдать книгу ему — значит отдать на съедение. Или Меньшикову?<sup>41</sup> — пожалуй, еще хуже. А что Вы сами напишите, я уже и надеяться не смею».<sup>42</sup>

Отклик Розанова появился значительно позже — не на весь сборник, а только на статью «Бес или Бог?», помещенную в нем.

Совершенно очевидно, что идеи «революционного христовства», именуемые Мережковскими «новой религиозной общественностью», были для Розанова неприемлемы, как и весь идейный поворот Религиозно-философского общества и измена духу Религиозно-философских собраний 1902—1903 годов, который он так ценил. В выше цитированном письме Розанов писал Блоку относительно выступления Мережковского в обществе: «... все это ужасно, все это смесь Смердякова с Каинством. И все это в качестве „предисловия“ к выступлению на религиозную проповедь. Можете ли себе представить Иоанна Крестителя, который перед тем, как загреметь о „дереве, корень которого срубает секира“<sup>43</sup> — целую ночь играет в крапленые карты и „подсидел приятелей“. Уверен, что все это идет не от Д(митрия) С(ергеевича), а от „переумничавшей“ (и по сему попавшей в дуры) Зин(аиды) Ник(олаевны)».<sup>44</sup> Собрания, окрашенные политической нетерпимостью, теперь были скучны и чужды Розанову.

Его протест против новых политических тенденций в Религиозно-философском обществе начался в январе 1909 года. 17 января в газете «Новое время» появилось его заявление о выходе из Совета общества. Измена «добрым» и «нужным для России» целям заставляет Розанова покинуть общество и оставить то дело, которое он любил: «Общество, имевшее задачи в России, превратилось в частный,

<sup>40</sup> Гиппиус З. Н. Задумчивый странник (О Розанове). С. 117.

<sup>41</sup> Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — журналист, один из наиболее известных сотрудников газеты «Новое время».

<sup>42</sup> Мережковский Д. С. Письмо к Суворину от 3 января 1909 года // Новое время. 1914. 27 янв. С. 4.

<sup>43</sup> Лк. 3: 7—9.

<sup>44</sup> Беляев С. А., Флейшман Л. С. Из блоковской переписки. С. 403.

своего рода семейный кружок».<sup>45</sup> Через неделю он опубликовал очередную статью, обвинив Мережковского в измене самому себе: «...в каком-то новом оболъщении он решил привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч., слить политику и Евангелие...».<sup>46</sup> Конфликт между Розановым и Мережковским нарастал постепенно. Они должны были столкнуться весной 1909 года в связи с выходом «Вех». В апреле 1909 года на заседании Петербургского Религиозно-философского общества, посвященном «Вехам», Мережковский прочитал знаменитую речь против «Вех» — «Опять об интеллигенции и народе».<sup>47</sup> Было совершенно очевидно, что «Вехи», «грустная и благородная книга», по мнению Розанова, задели самые болезненные точки «трио». Поэтомь Мережковский и сравнил участников сборника с персонажами из сна Раскольникова, забивающими клячу — русскую интеллигенцию. По мнению Мережковского, все «веховцы» идут «в бездонную пропасть». И хотя Розанов присутствовал во время блестящего доклада Мережковского и даже прерывал оратора аплодисментами, в рецензии «Мережковский против „Вех“» он резко выступил против автора. Сам он с сочувствием отнесся к «веховцам», шедшим недавно гораздо левее Мережковского и Философова, и отметил появление «благородных Шатовых» среди «суровых революционеров». Они сказали об интеллигенции все то, что он сам «перешептал» за последние два года. «Веховцы» «не зарезали» русскую интеллигенцию, как убеждал Мережковский, а сами «зарезались». И воскресли. Погреблись и ожили. Как это специалист по „христианским делам“ Мережковский этого не понял?»<sup>48</sup>

В начале мая 1909 года Мережковские вновь уезжают за границу — сначала в Южную Германию, затем в Швейцарию. Побудительным мотивом путешествия было желание встретиться с террористом Борисом Савинковым. Не так давно введенные в научный оборот письма «триумвирата» к «бомбисту» позволяют по-новому взглянуть на причины частых заграничных путешествий «христианской коммуны». Они многое объясняют в поведении «трио». И проливают новый свет и на конфликт с Розановым, завершившийся попыткой его изгнания «лагерем» Мережковского из Религиозно-философского общества.

Приехав в Париж, творцы «новой религиозной общественности» в течение недели ежедневно общаются с «мастером красного цеха» Борисом Савинковым, ищущим у «неохристиан» благословления на возрождение террора, опороченного Азефом. Скандальная история с Азефом широко освещалась в прессе начиная с зимы 1909 года. Карьера этого виртуоза-provокатора, лавировавшего между террористами и сыщиками, протекала в рядах тех самых эсеров, с которыми так тесно общались Мережковские. Розанов откликнулся на сенсационное разоблачение рядом статей.<sup>49</sup> В разгар этого альянса литераторов с Савинковым в Париже была опубликована статья Розанова «Сантиментализм и притворство, как двигатели революции»,<sup>50</sup> сыгравшая важную роль в разрыве отношений. Она имела совершенно явную полемическую установку — антимережковскую направленность. Это была полемика со стремлением Мережковского представить террористов в героическом ореоле, не случайно в текст статьи были вкраплены фрагменты из статьи «Бес или

<sup>45</sup> Розанов В. В. Письмо в редакцию // Новое время. 1909. 17 янв. С. 13. Ответом Розанову было «Письмо в редакцию» (Речь. 1909. 3 февр. С. 5. Подпись: Д. Мережковский и Д. Философов).

<sup>46</sup> Розанов В. В. В Религиозно-философском обществе // Новое время. 1909. 23 янв. С. 3.

<sup>47</sup> Доклад Д. С. Мережковского был опубликован как статья «Семь смиренных» (Речь. 1909. 26 апр.).

<sup>48</sup> Розанов В. В. Мережковский против «Вех» // Вопросы литературы. 1994. № 6. С. 77.

<sup>49</sup> Розанов В. В. Почему Азеф-provокатор не был узан революционерами? // Русское слово. 1909. 27 янв. Подпись: В. Варварин; Розанов В. В. Между Азефом и «Вехами» // Новое время. 1909. 20 авг.

<sup>50</sup> Розанов В. В. Сантиментализм и притворство, как двигатели революции // Новое время. 1909. 17 июля. С. 4.

Бог?». На вопрос Мережковского, заключенный в названии статьи, Розанов давал ответ — бес. «Но какие же *факты*, — задавал вопрос Розанов, — что погибшие Бердягин и Фрумкина любили Россию? *Ни единого факта*. Голый тезис». <sup>51</sup> На каждый тезис Розанов давал антитезис — «ухо раба Малха не исцелялось...». Интерпретация Мережковским Фрумкиной как героини, шедшей на убийства по причине «ангельской доброты», вызвала отповедь Розанова: «...она рвется к убийству, и с револьвером, заряженным отравленными пулями, входит в театр. „Чтобы промахнуться“, — комментирует Мережковский. Вряд ли. Ее арестовали до выстрела, и ведь не для ареста же она пришла сюда». <sup>52</sup> Он советует плеснуть холодной водой на террористку: «...мы чем-то отравлены, как-то искривлены, не видим ничего, и все, что делаем — есть суций яд для России, отравла для народа, гибель для будущего. (...) Мы не спасатели, а губители России, уже потому, что губители *труда и дела* в ней». <sup>53</sup> Опасность, по его мнению, заключалась в том, что печать внушает русскому обществу возможность нравственного оправдания убийства: «...посланец *народный*, думает о себе убийца; так он поверил печати, подтасовавшей собою народную душу, народную волю, народный голос». <sup>54</sup> И Мережковского Розанов числил среди тех, кто давал «разрешение на убой».

В сентябре 1911 года Россию потрясло убийство П. А. Столыпина. Розанов в качестве корреспондента газеты «Новое время» отправился в Киев. По возвращении он опубликовал крайне резкую статью, направленную против Мережковских, взяв не случайно в качестве названия парафраз из Евангелия от Матфея (4:10) «Отойди, сатана»: «Несчастную и благородную семью Столыпина точно распинают... Изуродовали 10-летнюю девочку — молчание; убили отца и мужа — молчание. (...) Почему же „о любви даже к врагам“ (политическим) ничего не говорил в печати Мережковский, ничего не говорила Гиппиус, ничего не говорил Философов, ничего не говорила Соловьева, <sup>55</sup> когда случилось несчастье на Аптекарьском острове? Что, изранение 10-летней девочки сказало ли что-нибудь их сердцу? Ничего. „Не наша кровь пролита, все равно“. „Не наша и *не наших*“». <sup>56</sup> Либеральная печать (Розанов даст резкую характеристику этой печати — «наши социал-сутенеры»), по мнению Розанова, готовила общественное настроение к восприятию террора. «Почему же, пока литературой подготавливалось убийство, Мережковский молчал? — спрашивал Розанов. — Гиппиус не протестовала? Философов „не присоединялся“? (...) Почему они тогда не говорили *устно* в своих редакциях, не выступали гласно с протестом против такого *тона* травли, почему *тогда молчали* о христианской любви?» <sup>57</sup>

Показательно, что статья «Сантиментализм и притворство, как двигатели революции» не получила поддержки и у читателей, но это не остановило Розанова и через неделю появилась новая работа — «О психологии терроризма». «Нет, кто убил — именно убил; кто хотел убить — именно хотел убить. Он чувствовал гадливость к убиваемому — и этого нельзя ни переделать, ни затенить», — настаивал Розанов. <sup>58</sup> Статья Мережковского «Бес или Бог?» настолько задела Розанова за живое, что в «Уединенном», в записи 1909 года, он вновь вспомнил «кровавую Фрумкину»: «Хороша Геся Гельфман, <sup>59</sup> — но кровавая Фрумкина мне органиче-

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Там же.

<sup>53</sup> Там же.

<sup>54</sup> Розанов В. В. «Отойди, сатана» // Новое время. 1911. 14 окт. С. 3.

<sup>55</sup> Поликсена Сергеевна Соловьева (псевдоним — Allegro; 1867—1924) — поэтесса, сестра В. С. Соловьева, близкая приятельница З. Н. Гиппиус.

<sup>56</sup> Розанов В. В. «Отойди, сатана». С. 3.

<sup>57</sup> Там же.

<sup>58</sup> Впервые: Розанов В. В. О психологии терроризма // Новое время. 1909. 25 июля. С. 3.

<sup>59</sup> Гельфман Геся Мироновна (1852—1882) — член партии «Народная воля». Хранила динамит для покушения на императора Александра II в 1881 году.

ски противна, как и тыкающий себя *от злости* вилоккой Бердягин. Все это — чахоточные, с чахоткой в нервах, Ипполиты (из «Идиота» Дост(оевского)).<sup>60</sup>

О том, как восприняли статью «Сантиментализм и притворство, как двигатели революции» Мережковские, мы узнаем из переписки Гиппиус с секретарем новой Христианской секции Религиозно-философского общества С. П. Каблуковым. Тот отметил в своем дневнике: «...я сообщал о гнусном фельетоне „Васьки-Каина“<sup>61</sup> в Нов(ом) Вр(емени) в субб(оту) 18-го июля, по поводу ст(атьи) Д(митрия) С(ергеевича) „Бес или Бог“». <sup>62</sup> Гиппиус в ответном письме обратилась с просьбой о пересылке статьи: «Статью Розан(ова) не читали, ибо Нов(ое) Вр(емя) не видели. Если будете такой добрый, пришлите». <sup>63</sup> Каблуков переслал Гиппиус «гнусный», по его оценке, фельетон Розанова. Любопытно, что отношение между Розановым и Каблуковым вполне дружественны. Но и Каблуков не принимает пафоса антиреволюционных розановских статей. Познакомившись в конце 1908 года, они в 1909 году встречались постоянно. Каблуков помогал в подготовке выхода в свет «Итальянских впечатлений» (1909), «Русской Церкви» (1909), «В темных религиозных лучах». <sup>64</sup> 13 августа он навестил Розанова, недавно переехавшего на новую квартиру. <sup>65</sup> «В это свидание с Вас(илием) Вас(ильевичем) я много укорял его за „Сантиментализм и притворство“ (Н(овое) Вр(емя). 17. 7. 09). Он говорил, отвечая на укоры мои, что написал только то, что думал и думать иначе не может. А укоров за это он слышал множество, и от личных знакомых и от читателей». <sup>66</sup>

Отношение Гиппиус к розановской статье выражено вполне определенно в письме к Каблукову от 7 августа 1909 года: «С удовольствием прочла Ваше письмо, без всякого удовольствия статью Розанова. Хотя не столь она „мерзкая“, сколько плутоватая и бесчеловечная, плюс — бесполезная. Трудно думать, что кого-нибудь она убедит. Меньшиков пишет ловчее. Экий „добрый человек“ Вас(илий) Вас(ильевич)! (он всегда себя так называет). Его возмущает „злость“ человека, убивающего себя перед виселицей, да еще не желающего в этом покаяться! Фу ты, какая доброта! Даже страшно от этой святости! Я слишком близко видела святость обратную (и слишком недавно), чтобы серьезно взглянуть на старческий, жульнический „радогаж“<sup>67</sup> Розанова. Пусть себе, коли стыдочку нет, особенно в Н(овом) Вр(емени)». <sup>68</sup> Как отреагировал Розанов на это письмо? 19 августа 1909 года Розанов вместе с Каблуковым были в гостях у Репина в Куоккале. И там Розанов передал письмо Каблукову. <sup>69</sup> Сам по себе факт передачи письма человеку, с которым он встречался постоянно, любопытен. Розанов понимал, что написанное им станет известно Мережковским. Поэтому в письме декларировались определенные соображения по поводу Мережковских. Ясно, что он читал письмо Гиппиус к Каблукову от 7 августа 1909 года, поэтому в ответ на обвинения Гиппиус писал: «Зиночкино отношение меня не трогает. „И стыдочку нету“. Ах, озорница. Боятся возни мышей под полом, домового на чердаке, а туда же „делают лицо“ революционеров. Все это

<sup>60</sup> Розанов В. В. Уединенное. С. 71.

<sup>61</sup> Так Гиппиус назвала В. В. Розанова в письме к нему от 6 марта 1908 года: (Василий Розанов: pro et contra: В 2 кн. СПб., 1995. Кн. I. С. 207—208). Текст письма был вклеен С. П. Каблуковым в его Дневник за 1909 год.

<sup>62</sup> РНБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 115.

<sup>63</sup> РНБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 8.

<sup>64</sup> Книга В. В. Розанова «В темных религиозных лучах» (СПб., 1910) была арестована.

<sup>65</sup> В августе 1909 года Розанов переехал в Петербурге на новую квартиру по адресу: Звенигородская, д. 18, кв. 23.

<sup>66</sup> С. П. Каблуков о В. В. Розанове // Василий Розанов: pro et contra. Кн. I. С. 214 (сверено с автографом).

<sup>67</sup> От фр. gadotage — вздорная болтовня.

<sup>68</sup> С. П. Каблуков о В. В. Розанове. С. 214.

<sup>69</sup> С. П. Каблуков оставил запись около письма: «Это интересное письмо ко мне передал мне Розанов у И. Е. Репина с предисловием на „Русскую Церковь“ и с афоризмами о „терроре“» (РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 6. Л. 72).

одна порода с Волынским и Минским, хоть и ссорятся. „Милые бранятся”... и проч. „От своей *породы* никуда не уйдешь”. Казнь свою они несут в своей породе». <sup>70</sup>

Розанов возмутило обвинение его в «плутовости», сам «лакейский жаргон» письма Гиппиус. И он расставил акценты: «А эти иностранцы, что понимают в русских делах, в русской душе? Чуть кончили дела, и сейчас в поезд и за границу. Дня лишнего продышать в России не могут. Я космополит, и *включаю* Россию в мою любовь, а их „космополитизм” все *исключает*, кроме личного здоровья, кошелька с деньгами и литературного успеха». <sup>71</sup> Его оценка Мережковских была крайне жесткой: «Из пёкла <sup>72</sup> они вышли — и в пекло возвратятся несчастные». Резко отреагировал он и на укол Гиппиус в адрес «Нового времени», восприняв как оскорбление: «Перед кем же это „плутоватость”? Перед Сувориним, который в деревне, который: *ни разу* за 10 лет *не навевал* на меня ни одной мысли, — за что я и люблю старика, <sup>73</sup> и люблю всех их, *добрейших* и *свободнейших* Сувориных. <sup>74</sup> Ибо иметь такую газету и ни разу никого из сотрудников не „инспирировать”, — конечно, есть свобода. До этой свободы далеко Мережковским». <sup>75</sup>

Не без участия «трио» Розанов в это время получил уничижительный ярлык «нововременца». Но только в январе 1914 года в статье «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский» он, не выдержав поведения Мережковского, обнародовал факты, компрометирующие последнего: «...я перед лицом всей России спрошу Мережковского, почему он упрашивал меня несколько раз доставить ему возможность увидеться с Сувориним, т. е. чтобы я Суворину „что-то поговорил” и расположил его в пользу Мережковского, вследствие чего Суворин согласился бы принять его. Я, зная из разговоров с Сувориним безнадежный взгляд его на умственные способности и литературный дар Мережковского, не решался заговорить с Сувориним на эту тему». <sup>76</sup> Поводом для статьи Розанова явилась статья Мережковского «Суворин и Чехов», <sup>77</sup> где была дана крайне негативная оценка личности знаменитого издателя. Может показаться, что, публикуя эти факты, Розанов пожелал свести счеты с Мережковским как инициатором развернувшейся в это время его травли в Религиозно-философском обществе. Но об этом же Розанов писал еще в марте 1912 года М. Горькому, мотивируя свой отказ от посредничества теми же словами: «Да вы поглядите, как Философов (сын тайного советника и главного военного прокурора) и Мережковский (его отец был *придворным*) перекинулись на социалистов, зная, что только *тут успех*, и что, *не будучи социалистом*, русский писатель подохнет с голоду, *если он не в „Нов(ом) Времени”*». Мережковский несколько раз просил меня устроить ему свидание со стариком Сувориним, „хоть на ½ часа”, но я, зная отвращение Суворина к декадентам и неуважение специально к Мережковскому, как к неумному человеку, и к Философову за его „мужелюбивые” наклонности, не хлопотал о свидании, зная, что ничего не выйдет». <sup>78</sup> Тогда же в 1914 году в «Новом времени» было опубликовано несколько почтительных писем

<sup>70</sup> Василий Розанов: pro et contra. Кн. I. С. 216—217.

<sup>71</sup> Там же.

<sup>72</sup> Пёкло (пекло) — жар, огонь. Также употребляется в значении ада, преисподней (согласно «Толковому словарю» В. И. Даля).

<sup>73</sup> См.: Письма Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913.

<sup>74</sup> Речь идет о сыновьях А. С. Суворина: Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937) с 1888 года фактический редактор «Нового времени», в 1903 году оставил «Новое время» и основал газету «Русь»; Суворин Борис Алексеевич (1879—1940) принимал участие в редактировании газеты «Новое время»; Суворин Михаил Алексеевич (1860—1936) с 1903 года фактический редактор газеты «Новое время».

<sup>75</sup> Текст письма приведен полностью в публикации В. А. Фатеева «С. П. Кабуков о В. В. Розанове» (Василий Розанов: pro et contra. Кн. I. С. 216—217).

<sup>76</sup> Розанов В. В. А. С. Суворин и Д. С. Мережковский // Новое время. 1914. 25 янв. С. 14.

<sup>77</sup> Мережковский Д. С. Суворин и Чехов // Русское слово. 1914. 22 янв.

<sup>78</sup> О «бездвидной дружбе» (письма В. Розанова к М. Горькому) / Публ. И. А. Бочаровой // Вопросы литературы. 1989. № 10. С. 165.



Мережковского к Суворину. Среди них — письмо от 3 января 1909 года, где речь шла о Розанове.

Итак, летом 1909 года разногласия Розанова с «трио» были достаточно серьезными. Любопытно, что в конце августа в письме к Каблукову, который должен был, вероятно, вновь выступить в роли посредника, Розанов пытался как будто бы помириться с Мережковскими, но в заключении письма не сдержал эмоций и высказался откровенно. Текст этого письма сохранился в архиве Каблукова:

«Здравствуйте! Посмотрите — так ли я прибавил? Не лучше ли без прибавки? Если да — пожалуй, и не надо печатать. Не лучше ли и в заглавии:

*Русская церковь.<sup>79</sup>*

*Характеристика.*

А то „Идея. Дух. Судьба. Очарованье и ничтожество. Главный вопрос”<sup>80</sup> — не слишком ли протяженно? Посоветуйте *в деле вкуса* — и с Фарбманом.<sup>81</sup> „Жду совета всегда”. „Вкусовые вещи” он понимает. В субботу — в Спб’е. Милости просим!

Хочу последние годы жизни прожить не ругаясь и не ссорясь, а Вы меня письмами точно „подтыкаете в бок”.

О З(инаиде) Н(иколаевне) я так написал потому, что в дружбе ее *в лицо* называл (смотря по настроению) — „З(инаида) Н(иколаевна)”, „Зина”, „Зиночка” и иногда „Зинка” (игриво и в досаде), и она никогда не сердилась. И в письме — *во все не ругательно*. И за „Вел(икого) кн(язя)” не досаую: „все мы грешны”.<sup>82</sup> Да и вообще не хочу ссориться. Я, вероятно, зимою помирюсь с ними. Дм(итрий) С(ергеевич) положительно хороший, *добрый* человек, да и (вот и вышло опять, почти с любовью) Зинка — ничего. Только эгозиста очень. Но она „отличный товарищ” и больше этого нечего и спрашивать. В конце концов, они „хорошие люди”, которых я „встретил в жизни на пути”: вот мое определение и взгляд на них.

А политику — ну ее к черту: трижды проклиная, как источник злобы, как болото злобы.

А главное — я хочу спокойно умереть. И ни с кем не ссориться. Ведь мне самое большее 5 лет жить! Когда тут „перебирать косточки ближним”. Все это — к черту.

Нумизматика,<sup>83</sup>

Друзья

Родные

Покой

Вот — и все.

Пожалуйста, пишите мне не в спорящем, а *исключительно любящем тоне*: пожалейте мою старость. Ни о чем спорить, вздорить не хочу.

В. Р.

Все-таки М(ережковски)е должны то оценить, что ругался ли, порицал ли я их: всегда я говорил не тем *тоном* о них, как „милые Базаровы”, а совершенно иначе —

<sup>79</sup> Речь идет о брошюре В. В. Розанова «Русская церковь» (1909).

<sup>80</sup> Книга В. В. Розанова «Русская церковь» вышла с подзаголовком: «Дух. — Судьба. — Очарование. — Ничтожество. — Главный вопрос».

<sup>81</sup> Фарбман Михаил Семенович (1880—1933) — заведующий редакцией издательства «Пантеон», в котором в 1909 году вышли «Итальянские впечатления» В. В. Розанова с рисунком на обложке Л. С. Бакста. Розанов в 1909 году сотрудничал с издательством, принимая участие в ряде изданий: Песня Песней Соломона / Пер. А. Эфроса; Предисл. В. В. Розанова. СПб., 1909; *Борхардт Рудольф*. Книга Иорам / Предисл. В. В. Розанова. СПб., 1909.

<sup>82</sup> См. письмо В. В. Розанова к С. П. Каблукову, написанное в середине августа 1909 года (В. В. Розанов: pro et contra. Кн. I. С. 216—217).

<sup>83</sup> О судьбе нумизматической коллекции В. В. Розанова см. подробнее: Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье с 1904—1969 // Русская литература. 1989. № 4. С. 174.

с внутренней и теплой стороны, понимая их и болея за них там, где *думал, что они ошибаются и „безумствуют“*, но они стали хоронить и отречься от лучшего и *важнейшего*, что было сделано в направлении к *свободе* России за 1/4 века, от Рел(игиозно) Фил(ософских) собр(аний) старых, и стали на четвереньки перед „Скабичевским — Писаревым” и их *потомством*. Надо было строить свою башню, а не переходить на чужие подмостки и в чужой театр. Но раз они так убеждены — черт с ними. Но не спорьте: а то я раздражаюсь. В. Р.».<sup>84</sup>

Мережковские вернулись в Россию в конце сентября 1909 года. Мережковский сразу же отказался от должности председателя Религиозно-философского общества, ссылаясь на неблагонадежность с точки зрения русской полиции.<sup>85</sup> Незадолго до их возвращения была опубликована статья Розанова «Представители нового религиозного сознания»,<sup>86</sup> очередной раз задевавшая главного выразителя этого движения. Сравнивая Мережковского с Белинским, Розанов подчеркивал два момента: книжность и ориентацию на Запад, и позже в одном из фрагментов «Апокалипсиса нашего времени» писал, сравнивая его с Вл. Соловьевым: «черный „иностраннный” вид, сухость в кости и зябкость, и „все бы за границу”».<sup>87</sup>

Розанов видел в революционерах и либеральной интеллигенции разрушителей России, ее уклада жизни. Общий смысл происходящего в России он тонко улавливал. Мережковский был для него среди тех, кто разрушал отечество. Отсюда вытекала крайне негативная оценка его личности, выразившаяся в названии статьи, адресованной прежде всего Мережковскому, — «Погребатели России».<sup>88</sup>

Осенью 1909 года Мережковский выступил на заседании Религиозно-философского общества с докладом «Нисхождение и восхождение», напечатанном в виде статьи «Земля во рту».<sup>89</sup> Доклад Д. С. Мережковского был посвящен статье Вяч. Иванова «Русская идея» (1909). Розанова возмутила сентенция Мережковского о России: «Существуют пределы, за которыми нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли *именно сейчас* в России, что близок этот предел, что нисходить нам дальше некуда: еще шаг — и Россия уже не исторический народ, а *историческая падаль*».<sup>90</sup> Розанов запомнил недавние обвинения Мережковского «веховцам» и вернул их ему. В предельно резкой форме, встав в открытую конфронтацию с Мережковским, он дал ему убийственную характеристику: он — современный Смердяков, повторяющий «левые» тезисы о России.

Удушающая роль революции в истории России подчеркивалась Розановым выразительным названием очередной антиреволюционной статьи — «Тьма...», «В русских потемках». В системе философии Розанова «тьма» — понятие символическое. «Тьма» ассоциировалась с тем, что несла с собой революция, подобная монгольскому игу: «Без Чернышевского и „Современника” Россия имела бы конституцию уже в 60-х годах; без Желябова как „благодетеля” она имела бы ее в 1881 году. (...) Без этих благодетелей мы шагнули бы вперед как европейская держава в точности на полвека».<sup>91</sup> «Дела» революционеров — от народовольцев до современных «бомбистов» — ненавистны Розанову. И подобное отношение к революции

<sup>84</sup> РНБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 116—116 об. На письме С. П. Кабуков отметил: «Получено 28 VIII 09 в ответ на мое письмо от 22-го авг(уста) по поводу письма Вас(илия) Вас(ильевича), переданного у Репина» (РНБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 116). Выражаю благодарность О. Л. Фетисенко за помощь в прочтении письма.

<sup>85</sup> РНБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 217.

<sup>86</sup> Розанов В. В. Представители нового религиозного сознания // Русское слово. 1909. 13 сент. (подпись: В. Варварин).

<sup>87</sup> Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 12]: Апокалипсис нашего времени. С. 124.

<sup>88</sup> Розанов В. В. Погребатели России // Новое время. 1909. 19 нояб.

<sup>89</sup> Статья Д. С. Мережковского «Земля во рту» была опубликована в газете «Речь» (1909. 14 нояб. С. 3—4).

<sup>90</sup> Мережковский Д. С. Земля во рту // Мережковский Д. С. Больная Россия. СПб., 1991. С. 199.

<sup>91</sup> Розанов В. В. Тьма... // Новое время. 1910. 4 сент. С. 4.

приобрело в эти годы устойчивый характер. В то время как русское общество повернулось к радикализму, Розанов побрел в противоположную сторону. Линию он вел в этом направлении бескомпромиссную. С присущим ему простодушием он задавал как бы самому себе вопрос: «Когда я читаю о терроре и множество повестушек о том, какие в основе это „идеальные и гуманные личности, возмущенные человеческой несправедливостью и тем, как трудно народу”, то думаю, отчего же они не лечат народ, отчего же не учат в школе мужицких ребят, почему им надо именно разmozжить голову полицейскому или генералу?»<sup>92</sup>

Как раз в то время, когда появляются многочисленные антиреволюционные статьи, осенью 1910 года, и вышел сборник ранних политических статей Розанова «Когда начальство ушло...1905—1906 гг.». Изменившееся отношение Розанова к революции послужило поводом для резкой статьи П. Б. Струве «В. В. Розанов, большой писатель с органическим пороком».<sup>93</sup> Розанов был очень серьезно задет выступлением Струве, назвавшим его писателем, «лишенным признаков нравственной личности». Ответ Розанова на оскорбление «штутгартского филистера» не замедлил появиться.<sup>94</sup> Резюмировать обширную полемику можно следующим образом: Розанов отстаивал право на свой собственный взгляд на революцию, который он волен выражать в печати так, как считает нужным. Он воспринял статью Струве («застрельщика») как начало травли со стороны либеральных кругов. Характерна запись Каблукова, с которым Розанов в 1909 году прекратил общение: «Прекрасная статья П. Б. Струве о Розанове „Большой писатель с органическим пороком”. (...) Сегодня получил от П. Б. Струве 5 экз(емпляров) его статьи о В. Розанове из Р(усской) М(ысли) для раздачи».<sup>95</sup>

В архиве Розанова сохранилось письмо Д. Философова. Поводом к нему послужила широко развернувшаяся на страницах газет полемика между Розановым и Струве. Письмо Философова, адресованное Розанову, интересно тем, что оно отражало не только личное отношение корреспондента к этой проблеме, но, безусловно, в целом позицию «круга» Мережковских. Оно было написано во Франции, куда в конце ноября 1910 года отправляется «семейство». Это очередное заграничное путешествие вновь будет насыщено контактами с эсерами.<sup>96</sup> Было бы странно, если бы антитеррористические статьи Розанова «трио» воспринимало терпимо. Полностью поддерживая Струве в оценке личности Розанова, Философов высказал возмущение не только ответом Розанова Струве, но и в целом антиреволюционными статьями Розанова. Резюме его размышлений — статьи Розанова «*омерзительны*» и циничны по производимому ими впечатлению. Приводим текст этого обширного письма полностью:<sup>97</sup>

«Agay (Var) 15 Дек(абря) 1910.

Дорогой Василий Васильевич.

Записочку Вашу, посланную Вами на городскую квартиру, я получил здесь, на берегу Средиземного моря, в ясный, теплый, солнечный день, когда петербургские туманы кажутся наваждением. Сразу я не понял содержание записки. Так давно

<sup>92</sup> Розанов В. В. Тоска по жертве // Там же. 8 окт. С. 3.

<sup>93</sup> Струве П. Б. В. В. Розанов, большой писатель с органическим пороком // Русская мысль. 1910. № 11. Отд. 2. С. 138—146. О полемике Розанова с П. Б. Струве см.: Простаков О. Г. П. Б. Струве и В. В. Розанов // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994. С. 136—139.

<sup>94</sup> Розанов В. В. Литературные и политические афоризмы. (Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве) // Новое время. 1910. 25 нояб., 28 нояб., 9 дек.; Литературный террор // Там же. 1911. 12 янв.

<sup>95</sup> РНБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 23.

<sup>96</sup> Об общении «трио» с эсерами во время заграничного путешествия 1910—1911 годов см. в нашей публикации: «Революционное христовство»: З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов и Б. В. Савинков в 1911 году // Русская литература. 2005. № 1. С. 187—213.

<sup>97</sup> РГБ. Ф. 249. Карт. М. 3871. Ед. хр. 6.

статья о Боборыкине была написана, что я и забыл о ней.<sup>98</sup> Русской же Мысли у меня под руками не было. Я ей обрадовался, потому что она дает право сказать то, что у меня давно уже на душе и чего я не говорил Вам отчасти из-за петербургской суеты, отчасти потому, что есть темы, о которых *говорить* спокойно, не волнуясь довольно трудно. Через Женю Иванова я знал о тяжелом недуге Варвары Дмитриевны.<sup>99</sup> Это еще больше затрудняло меня.

Но теперь, получив Вашу записку и видя из нее, насколько Вы способны давать волю своему непосредственному доброму чувству по отношению ко мне, я хочу просто и спокойно высказать Вам то, что меня мучает.

Дорогой Вас(илий) Вас(ильевич), должен Вам заявить, что я обеими руками подписываюсь под статьей Струве. Я хотел тоже выступить против Вас в печати, но разные соображения психологического характера меня остановили. Вы знаете, что доктора никогда не лечат своей жены. Медицина суровая вещь, и совершенно немыслимо причинить боль (физическую) жене, прижечь ей что-ли (?) ляписом какую-нибудь болячку. Рука дрогнет. И вот я почувствовал, что не найду подходящего тона. Или буду чрезмерно груб, а потому жесток, или слишком нежен. Найти середину, говоря о человеке, с которым связано столько переживаний, — почти невозможно. И я промолчал. Может быть, это ошибка, недостаток мужества, неумение отделить личных отношений от общественных, но „таков фелица я развратен”, повторяя Вашу цитату.<sup>100</sup>

Я читал Ваш ответ Струве. Он очень убедителен, но совершенно не выясняет дела. Что Вы, как человек впечатлительный, талантливый, многообразный, имее-те тысячу разных мнений об одном и том же предмете, это никому не интересно. Это Ваше *личное* дело. „Широк человек, слишком широк, я бы сузил!”<sup>101</sup>

Но общественность требует *целомудрия*, потому что в ней человек (все равно гений или швейцар) соприкасается с людьми. Вы как-то писали о половом акте, что он невозможен днем, на улице. Любовники запираются ночью, у себя, и если кто-нибудь постучит в дверь — акт становится невозможным. И правы полицейские, которые не позволяют людям совокупляться в Летнем саду, на лавочке. Так вот, Ваши „общественные” выступления страшно нецеломудренны, производят невероятно циничное впечатление. Точно вы ходите по улице с расстегнутыми штанами. Имейте в виду, что политики чистой воды, Милюковы, Гессены<sup>102</sup> и К<sup>о</sup> не обратили на Ваши статьи *никакого внимания*. Для них Вы, как своеобразная личность, *не* существуете. Вы один из „новременских молодцов” для них, и в смысле реакционности, Меньшиков для них гораздо значительнее. Словом, Ваш выстрел был впустую. Революционеры Вас не читают, а отставные генералы, подписчики „Нов(ого) Времени”, уже давно убеждены, что революция сплошная мерзость. Вы *повредили только себе*, умалили себя, *обесценили* свое слово. Заметьте,

<sup>98</sup> В журнале «Русская мысль» (1910. № 12) была опубликована статья Д. В. Философова «П. Д. Боборыкин (1860—1910)». Возможно, речь идет о другой статье, посвященной П. Д. Боборыкину и опубликованной не в «Русской мысли».

<sup>99</sup> Речь идет о жене Розанова, Варваре Дмитриевне Бутягиной (урожд. Руднева; 1864—1923). Ее парализовало 26 августа 1910 года. Об этой семейной трагедии см.: *Розанова Т. В.* «Будьте светлы духом». М., 1999. С. 60; *Розанова Н. В.* Из моих воспоминаний // Российский литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. II. С. 44—45.

<sup>100</sup> Д. В. Философов ссылается на цитату из стихотворения Г. Р. Державина: «Фелица» (1782), используемую В. В. Розановым в статье «Литературные и политические афоризмы» (Новое время. 1910. 25 нояб. С. 4).

<sup>101</sup> Слова Дмитрия Карамазова из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 100).

<sup>102</sup> В письме называются редакторы кадетской газеты «Речь» (1906—1917). Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, политический деятель, один из лидеров партии кадетов; Гессен Иосиф Владимирович (1865/1866?—1943) — юрист, публицист, один из лидеров партии кадетов, депутат II Государственной думы.

кто Вам возразил? Чуковский, который лежит перед Вами на животе,<sup>103</sup> и как человек большого вкуса любящий „художника” Розанова и Струве, который *первый* оценил Вас в прогрессивном лагере, т. е. *восстали ваши друзья*. Врагов же Вы даже не задели. Сказать Струве, что он в руку сморкается, Вы не можете, что он не понимает Вас — также. Когда нападают не уличные хулиганы, не люди совершенно неспособные понять Ваше мирозерцание, надо очень подумать.

Что же Вы Струве ответили? Ваш ответ можно резюмировать в двух словах: *я декадент*.

Да, Вас(илий) Вас(ильевич), Вы оказались типичным декадентом. Декадентство Вы берете не как данное, которое должно быть преодолено, а как все оправдывающее мирозерцание. Ведь в основе декадентства — субъективизм. Настроение меняющееся ежедневно, вечное прислушивание к собств(енным) ощущениям. Разговор не о предмете, а о впечатлениях. Декадент может быть с годами епархистом (?), завтра черносотенником (sic!), после завтра сд-ком. „Я всех и ничей”. Но перенесем это в область пола. Ведь и в том логичный декадент не признает никаких норм, кроме своих ощущений. Сегодня две любовницы, завтра три. Однако, как Вы отстаиваете семью, брак, ложе нескверно, сколько жертв Вы принесли этому нескверному ложу!! В браке Ваше декадентство подавлено и Вы как бы в отместку за „брачное” страдание — разнуздываетесь во всю в общественности, становитесь там подлинным декадентом, *sans foi niloi*.<sup>104</sup> И это Вам не простится, потому что главный враг жизни, которую Вы так любите, именно *цинизм*. Все люди циники, и я первый из них. Но свой цинизм я признаю как данное, как „первородный грех” впадать под власть, которую я не хочу, потому что люблю *себя*, свое святое *я*, чту его, и знаю, что никто этому *я*, кроме меня самого повредить не может. Вы же проявили слишком мало уважения к *себе*, нанесли своему святому *я* пощечину, и потом (нрзб.) ее, уперев руки в боки и ответив Струве: *делаю то, что моя нога хочет*.

И я отлично знаю (по крайней мере, верю в это), что если бы вникли в последнюю драму Сазонова,<sup>105</sup> если бы кто-нибудь из любящих Вас обратил Ваше внимание на нее, Вы бы ужаснулись своему цинизму. Но в том-то и дело, *что вокруг Вас нет любящих*. Есть кровная семейная теплота (телятки, коровки) и куча ненужных неинтересных людей вроде Дризена<sup>106</sup> и Меньшикова, которые пьют у Вас по субботам чай и портят воздух. Остановлюсь несколько на Зерентуйской драме. Сазонов должен был в январе выйти на поселение, т. е. на свободу, потому что с поселения он конечно бежал бы. Уже несколько месяцев назад друзья его стали получать тревожные известия и были убеждены, что *живым* Сазонова не выпустят, тем более, что еще год тому назад, когда возможность быть высеченным стала реальной, заключенные составили протест и заявили, что в случае применения к ним телесного наказания, они покончат с собою. *Первым* подписался Сазонов, и тем дал оружие в руки свои врагам. У Сазонова есть невеста.<sup>107</sup> Она жила в Париже. Спро-

<sup>103</sup> Чуковский К. И. Письма к писателям. Открытое письмо В. В. Розанову // Речь. 1910. 24 окт. С. 3—4.

<sup>104</sup> Без веры, без закона (фр.).

<sup>105</sup> Сазонов (Сазонов) Егор Сергеевич (1870—1910) — эсер, бросивший 15 июля 1904 года бомбу в карету министра внутренних дел В. К. Плеве. За убийство был приговорен к бессрочной каторге. 26 ноября 1910 года, за два месяца до выхода на поселение, покончил жизнь самоубийством в Горнозерентуйской каторжной тюрьме.

<sup>106</sup> Дризен (Остен-Дризен) Николай Васильевич (1863—1935) — редактор «Ежегодника императорских театров», лектор по истории русского театра в театральной школе А. С. Суворина, театровед, драматический цензор.

<sup>107</sup> Речь идет о террористке Марии Алексеевне Прокофьевой (1883—1913). «Три» познакомилось с ней в Париже в 1907—1908 годы. Она была участницей бесед Мережковского, когда он пытался внушить террористам идеи о религиозности террора. Переписка Е. С. Сазонова с М. А. Прокофьевой сохранилась в архиве Мережковских (РНБ. Ф. 481. Оп. 1. Ед. хр. 244, 236).

сите о ней Андреевского.<sup>108</sup> Он ее называет *мадонной*. Она в чахотке и ждала и не дождалась свободы Сазонова. И вот над такой человеческой драмой Вы подхихикиваете. Эта драма переходит и в общественную, потому что последние тюремные факты вызовут нелепые террористические выступления из чувства *мести*. Ведь нет ни одного свободного революционера, у которого бы не был бы оскорблен, или не покончил самоубийством брат, невеста, жених, близкий друг. Революция забывается, политика отходит к черту, начинается *личная месть*, физиологическая потребность так или иначе реагировать на оскорбление. И вот не сегодня завтра, не помнящая себя курсистка — убьет первого ненавистного губернатора, и кажется нелепый, стихийный террор. События в Вологде,<sup>109</sup> в Зерентуе — это грандиозная провокация, и я даже подозреваю не сознательная ли она, потому что прямая выгода правительства провоцировать такие одиночные выступления, чтобы лишить революцию сознательного, культурного характера. Правительство не дает революционерам опомниться, одуматься, и как только они притихли, оно всячески оскорбляет их, чтобы как-нибудь не давать им сговориться, начать действовать разумно, культурно. И Вы над этим издеваетесь, Вы входите в союз с Марковым вторым,<sup>110</sup> Вы цинично утверждаете, что „талант” имеет право быть „декадентом”, сегодня преклоняться, а завтра плевать. Нет, этого права Вы не имеете, если уважаете свое я. Это не настоящая *свобода*, а капризы вольноотпущенного, прихоти мещанина во дворянстве, цинизм Нерона. Это не достойно Вас, и статьи Ваши *омерзительны*, не только по своему содержанию, но и потому, что писали их *Вы*.

Вы настолько талантливы, что конечно пробили себе дорогу. Но Вы признаете, что в Вашем „успехе” есть и капля *моего* меду. Я много из-за Вас вынес. Благодаря мне, Вы стали доступны пониманию многих людей, которые, опять-таки, благодаря мне, преодолели многое чуждое для них в Вас. Зачем же Вы их незаслуженно оскорбили? Они с таким трудом, с такой доброй волей хотели полюбить Вас, и Вы им плюнули в лицо? Этот плевок, кот(орый) очень болезненно почувствовала моя мать.<sup>111</sup> Ради своей „декадентской” свободы, ради „сверхчеловека”, которому все позволено, Вы не побоялись не только оскорбить великие страдания революционеров, но наплевать в бороду мирным и честным людям. В угоду чего? В угоду своей „ноге” и „хозяину” Нов(ого) Вр(емени).<sup>112</sup>

Нет, дорогой Вас(илий) Вас(ильевич). И сверхчеловеку *не все позволено*.

И я вполне понимаю людей, которым претит всякое убийство, которым страдания несчастной, ни в чем не повинной дочери Столыпина<sup>113</sup> так же дороги, как и страдания матери повешенного революционера. Такое отношение к террору достойно уважения. Но оно обязывает к плачу, к гневу, или к молчанию.

Но нельзя около смерти, около крови подхихикивать и самоуслаждаться собственной многогранностью. „Вот я Розанов каков! Живу себе как последний обыватель, с телятками и Дризенном, с думою по сверхчеловечески, имею такую особую гамму ощущений и впечатлений, доступную только избранным декадентам. Дома под себя (?) нельзя. Жена и дети не позволят. Пойду на Невский, в Новое Время,

<sup>108</sup> Андреевский Сергей Аркадьевич (1847/1848?—1918) — приятель Мережковских и Розанова. Был более известен как адвокат, чем как поэт и литературный критик.

<sup>109</sup> Намек на события, описанные В. В. Розановым в статье «Сантиментализм и притворство, как двигатели революции», об убийстве в Вологде девушки, заподозренной революционерами в шпионаже. Судебные отчеты по этому громкому делу были опубликованы в ряде газет.

<sup>110</sup> Марков Николай Евгеньевич (Марков 2-й; 1866—1943) — депутат III Государственной думы, представлявший правые взгляды.

<sup>111</sup> Анна Павловна Философова (урожд. Дягилева; 1837—1912) — видная деятельница либерального движения в 1860-е годы.

<sup>112</sup> Имеется в виду А. С. Суворин.

<sup>113</sup> В момент покушения 12 августа 1906 года пятнадцатилетняя дочь Столыпина Наталья и двухлетний Аркадий Столыпина находились на застекленном балконе. Взрыв обрушил балкон вместе с детьми. У дочери Столыпина были искалечены обе ноги.

там гадить можно, и за это деньги плотят”. Вас(илий) Вас(ильевич)! Опомнитесь! Пожалейте себя, побойтесь внутреннего суда, который страшней всяких статей Струве. Нельзя подходить к мировой трагедии, совершающейся в России, с декадентской эстетикой. Это гнусно, омерзительно и недостойно писателя и мыслителя Розанова!!

Вы имеете полное право обидеться на мое письмо и прекратить со мной всякие сношения. Для меня это будет легче, нежели нежности по пустякам (Ваша записка) при умалчивании о важном. Тогда так и напишите мне: прекращаю с Вами (т. е. со мной) всякие сношения.

Но на дне души у меня есть вера, что Вы все-таки подумаете над моим письмом и образумитесь. Во всяком случае, написать это письмо мне было не легко, но я исполнил лишь свой долг перед проникновенным Розановым, которого я, по старой памяти, отличаю от петербургского обывателя, сотрудника Нов(ого) Вр(емени), Василья Васильевича, который ласково пьет чай, с гнусной статьей в кармане.

Обижать я Вас не хотел. Хотелось только сказать *правду*. Старые наши отношения меня к тому обязывали.

Любящий Вас Д. Философов».

Пройдет немного времени и недавние оппоненты будут свидетелями того, как Россия превратилась на их глазах в «рассыпанное царство». В общем-то об этом и мечтал Мережковский в своем Третьем Завете, окутанном сумраком последнего библейского текста — Откровения. В конце 1917-го и в 1918 году Розанов издал несколько номеров своеобразного философско-публицистического дневника «Апокалипсис нашего времени» — осмысление катастрофы, произошедшей с Россией. В тьме апокалипсиса большевистской России он упрекал и русскую литературу. И среди виновников гибели России назвал и Мережковского: «И высунулось — для меня, его друга, — такое всегда удивлявшее бледностью лицо Мережковского и еще более бледное и какое-то страшное лицо З. Н. Гиппиус. „Вот кто пришел и кто победил...” О, не революция, не „народники.” Даже не социалисты... Победил в „русском народе” тот, чьего имени он не знает, и победил — вещь, громадно, колоссально человек маленького, почти крошечного роста, в черном „циммервальдском” фраке, почти иностранец (...) ...Потухает солнце... О, Мережковский, это — ты в нем. Когда-нибудь вся „русская литература,” — если она продолжится и сохранится, что очень сомнительно, — будет названа „Эпохой Мережковского”. И его мыслей... но главным образом его действительно вещей и трагических ожиданий, предчувствий. Намеков, а самое главное — его „натурки,” расхлябанной, сухой, ледащей, узенькой... Его ломанья искреннего, его фальши непритворной и всего, всего, его».<sup>114</sup>

<sup>114</sup> Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 124.

## ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ ПЕРЕЕЗДА В. В. РОЗАНОВА В ПЕТЕРБУРГ: ПИСЬМО РОЗАНОВА К Т. И. ФИЛИППОВУ

(ПУБЛИКАЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ © О. Л. ФЕТИСЕНКО)

Известно, как не любил Розанов свои первые петербургские годы. Уже через пять лет жизни в столице, осенью 1898 года, он написал С. Ф. Шарапову: «...я... весь свой петербургский период считаю не неверным, но литературно-бестактным.

Кстати, в одном давнем письме (весной) как Вы угадали мотив моей петербургской испорченности: „Вы были нравственно задушены людьми, в угоду которых сюда попали”.<sup>1</sup> Да, этот контроль, этот „дом Ефимова, угол Павловской и Большого”, с его „25 №”; этот Аксаков,<sup>2</sup> который чувствует себя „obligé”<sup>3</sup> принадлежать к славянофилам в силу печальной своей фамилии; этот безмозглый и безмолвный, яко „дядя Аким” (из «Власти тьмы»), Аф(анасий) Вас(ильев),<sup>4</sup> с претензиями играть роль и с мучительною завистью ко всему умнее и даровитее его — да, это задушило меня на 5 лет. <...> Даже наилучшие мои петербургские статьи, пламенные, по мысли верные — просто взволнованно-раздраженным тоном своим мне противны. Много отнял у меня Петербург».<sup>5</sup>

Надо сказать, что еще до переезда Розанов мог иметь предубеждение по отношению к столице. «Анти-петербургски» был настроен знакомый ему пока только по переписке, незадолго до того обосновавшийся в Петербурге киевлянин И. Ф. Романов.<sup>6</sup> Ср. в его письме к Розанову от 12 сентября 1892 года: «Мерзкий, скверный Петербург. Все здесь противно: и погода, и квартиры, и топография, и люди!»<sup>7</sup>

Розанов был принят на службу в Государственный контроль. Его биограф так описал историю переселения в Петербург: «Известный сановный „славянофил”-меценат Т. И. Филиппов, обратив по публикациям в консервативных изданиях внимание на Розанова, пытался именно через Рачинского встретиться с ним. Однако Розанов, после неблагоприятной оценки Филиппова Рачинским, уклонялся от этой встречи, пока сельский педагог предпринимал усилия, чтобы устроить его в помощники к К. П. Победоносцеву. <...> И только когда выяснилось, что у „всемогущего” главы Св. Синода вакансий нет и не предвидится, Розанов обратился к Филиппову и вскоре был переведен в Петербург».<sup>8</sup>

Далее<sup>9</sup> рассказывается о глубоком отторжении, возникшем между Розановым и Филипповым.<sup>10</sup> Филиппов скоро стал в глазах Розанова чуть ли не его злым гением, душителем всего яркого и свободного, человеком, не лишенным тщеславия.

Естественно, что биограф смотрит на происходящее глазами своего героя. Попробуем, однако, внести некоторые уточнения, выступив если не адвокатом Филиппова, то хотя бы «свидетелем защиты».

<sup>1</sup> Розанов вспоминает здесь слова Шарапова из письма от 22 апреля 1898 года: «Петербург на Вас подействовал скверно. Окруженный здесь всяческими негодьями, Вы потеряли меру, отчасти потеряли благоговение и уважение к своему слову» (Гос. архив Смоленской области. Ф. 121. Оп. 1. Д. 1054. Л. 57).

<sup>2</sup> Николай Петрович Аксаков (1848—1909) — публицист, литературный критик, писатель славянофильского направления.

<sup>3</sup> Обязанным (фр.).

<sup>4</sup> Афанасий Васильевич Васильев (1851—1929) — публицист, общественный деятель, секретарь Славянского благотворительного общества.

<sup>5</sup> Гос. архив Смоленской области. Ф. 121. Оп. 1. Д. 396. Л. 18—19.

<sup>6</sup> Иван Федорович Романов (1858—1913) — публицист, писавший под псевдонимом «Рцы».

<sup>7</sup> Литературная учеба. 2000. Кн. 4. С. 151. В письме от 7 марта 1893 года оценка совсем резкая: «Вообще же СПб. = старое раздавленное г-но!» (Там же. С. 170).

<sup>8</sup> Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика // В. В. Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. Кн. 1. С. 21—22. Коллега и соавтор Розанова в его «переводческих» трудах отзывался о Филиппове мягче, чем современный исследователь, и не стал бы брать слово «славянофил» в кавычки. Ср.: Филиппов, «которого не только по фамилии, но и по имени-отчеству знала вся тогдашняя интеллигенция» (Первов П. Д. Философ в провинции (Из литературно-педагогических воспоминаний) // Там же. С. 100).

<sup>9</sup> Там же. С. 23.

<sup>10</sup> Подробнее об этом см.: Фатеев В. А. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002.



Филиппов не просто желал пополнить Розановым свою богатую коллекцию литераторов — чиновников Государственного контроля. Для него покровительство Розанову было продолжением многолетних попечений о Леонтьеве.<sup>11</sup>

Ну а сам Леонтьев писал Розанову 13 июня 1891 года о своем друге-благодетеле: «Вы не знаете, что *значил* для меня этот человек в течение 10 и более лет. — Ведь нельзя же дойти до такой ненормальности, чтобы писать только для себя; а я некоторые *подобия* откликов стал слышать только лет 6—7 тому назад. — Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей, и горячее, твердое, деятельное участие».<sup>12</sup>

Справедливо отмечена В. А. Фатеевым роль С. А. Рачинского — он «физиологически» не выносил Леонтьева, поэтому некоторые его инвективы в адрес Филиппова могут быть обусловлены именно желанием отвести Розанова от мощного леонтьевского влияния. Но нельзя забывать, что Рачинский признавал пользу от знакомства с Филипповым, о чем в марте 1891 года писал Розанову: «Полагаю, что знакомство с Т. И. может быть вам приятным и полезным, под условием, чтобы он не вовлек вас в писание, под своим внушением, о вопросах церковно-политических».<sup>13</sup>

Для полноты картины нужно упомянуть еще одно лицо, послужившее посредником в деле знакомства Розанова с Филипповым. Этим посредником стал один из близких учеников Леонтьева — поэт и литературный критик, в скором времени редактор «Русского обозрения» Анатолий Александрович Александров (1861—1930).

Осведомленный о Розанове, как и все молодые друзья Леонтьева, Александров еще в 1891 году, практически сразу после смерти учителя, стремится вовлечь Розанова в «осиротевшую молодую семью» (И. Фудель, Я. Денисов, Н. Уманов и др.). 15 января 1892 года он пишет Розанову письмо, поводом к которому, что интересно, послужила просьба Филиппова передать Розанову книгу «Современные церковные вопросы», сборник статей, вышедший еще в 1882 году, — основной труд Филиппова. Со стороны последнего это очень яркий жест, приглашающий к общению на равных.

«Москва  
15 янв(аря) 1892 г.

Прежде всего, уважаемый Василий Васильевич, крепко жму вашу руку за статью Вашу „Эстетическое понимание истории“...<sup>14</sup> Я имел случай познакомиться с ней еще в рукописи в Оптиной Пустыни, у покойного К. Н. Леонтьева, а теперь вновь пробежал наскоро эту первую, знакомую мне, часть и отложил внимательное ее чтение до напечатания второй, незнакомой мне, половины, чтобы прочитать тогда всю статью разом и получить цельное, законченное впечатление.

Затем покорнейше прошу Вас сообщить мне Ваш *адрес* (подлинный и подробный), потому что теперь я не уверен, так ли я Вам пишу, как следует, и найдет ли Вас мое письмо...

<sup>11</sup> В письмах к нему Леонтьева о Розанове как будто ничего не говорится, но разговор о новообретенном собрате, вероятно, велся при последней встрече оптинского «отшельника» с Филипповым. Косвенным подтверждением этому может послужить фрагмент из письма Леонтьева к Розанову от 19 июня 1891 года, где он предлагает переговорить с Филипповым о переводе Розанова в одну из московских гимназий во время приезда государственного контролера в Оптину в начале июля.

<sup>12</sup> *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. Н. К. Леонтьев. М., 2001. С. 355—356.

<sup>13</sup> Русский вестник. 1902. № 10. С. 610.

<sup>14</sup> В первом номере «Русского вестника» за 1892 год вышло начало этой, посвященной Леонтьеву, статьи Розанова.

А я имею к Вам поручение от Т. И. Филиппова (Государственного Контролера): переслать Вам в подарок его книгу „Современные церковные вопросы”... Не зная же наверное Вашего адреса, я этого сделать не решаюсь...

Извините, что, не будучи лично с Вами знаком, я решаюсь писать Вам... Но я так много слышал о Вас *такого*, что необыкновенно сблизило меня с Вами духовно и что дает мне смелость поскорее перешагнуть через эту стену личного незнакомства и поторопиться завязать с Вами сношения в надежде, что они могут скоро перейти и в более теплые и дружеские...

Нам, осиротевшим друзьям покойного К. Н. Леонтьева и, видимо, единомышленникам очень во многом, необходимо, по моему мнению, сплотиться по возможности в единую тесную дружескую семью: ведь кучкою биться гораздо сподручнее и легче, чем в одиночку. Да, я знаю Вас заочно и начинаю уже уважать и любить... Думаю, что и Вы кое-что слышали обо мне от покойного Конст(антина) Ник(олаевича); по крайней мере, он мне писал, что у него с Вами была обо мне речь.<sup>15</sup> Летом я собирался даже заехать к Вам в Елец, так как был в тех краях, — и только известие, что Вы были в это время в Москве, помешало мне исполнить мое намерение.

Ваш Анатолий Александров

Адрес мой: Москва, Остоженка, 3-й Ушаковский пер., д. Истоминой, кв. 1, Анатолию Александровичу Александрову (приват-доценту Императорского Московского Университета).<sup>16</sup>

Розанов «тепло и сердечно» отозвался на это письмо,<sup>17</sup> и Александров продолжил эпистолярное общение письмом от 4 февраля.

«Дорогой Василий Васильевич!

(позвольте мне этим более теплым и сердечный эпитетом заменить несколько холодноватое, натянутое и неуклюжее „многоуважаемый”, чтобы выразить тем большую степень духовной близости, в которой не могу себя не чувствовать по отношению к Вам...)

Спасибо Вам, что Вы так скоро, тепло и сердечно отозвались на мое письмо.

На днях я отправил Вам ту книгу Филиппова, о которой писал в прошлый раз; присоединил к ней еще (под той же бандеролью) и № „Московской” Иллюстрированной Газ(еты)” (от 21 ноября), посвященный моим стараниям памяти незабвенного К(онстантина) Н(иколаевича),<sup>18</sup> а также и № „Гражданина”<sup>19</sup> с очень лестным и вполне заслуженным отзывом о Вашей последней статье в „Русском Вестнике”.<sup>20</sup>

7 апреля в письме к Филиппову Александров сообщал: «Розанову отослал Вашу книгу и получил от него восторженный отзыв о ней, как и ожидал.»<sup>21</sup> Лыщу

<sup>15</sup> Александров упоминается в письмах Леонтьева к Розанову от 20 июля, 3 и 13 сентября; Розанов — в письмах к Александрову от 3 мая и 19 июля 1891 года.

<sup>16</sup> РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 727. Л. 6—7.

<sup>17</sup> См. его ответ: РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15.

<sup>18</sup> В этом номере были помещены написанный Александровым некролог (А. А. [Александров А. А.] К. Н. Леонтьев // Московская иллюстрированная газета. 1891. 21 ноября. № 331. С. 2—3) и его речь «На могиле К. Н. Леонтьева» (Там же. С. 3).

<sup>19</sup> Речь идет о статье: Южный М. [Зельманов М. Г.] Еще о К. Н. Леонтьеве // Гражданин. 1892. 28 янв. № 29. С. 4.

<sup>20</sup> РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 727. Л. 8.

<sup>21</sup> Ср. с отзывом Розанова 1902 года (в примечании к письму Рачинского от 17 марта 1892 года): «Книгу эту, в той части ее, которая касается не греческой церкви... а нашего русского старообрядчества, я считаю и до сих пор превосходною и правильною, хотя, пожалуй, слишком детальною. Превосходная эта книга внушила мне самые светлые воззрения на Т. И. Филиппова, как радикального, чисто русского человека, москвича и трудолюбца» (Русский вестник. 1902. № 10. С. 608).

себя надеждой, что Вы, улучая свободную от занятий минутку, найдете возможным по временам, хоть изредка, радовать меня Вашими письмами. Мне почему-то думается, что Вам предстоит сделаться объединяющим центром и надежным руководителем и вдохновителем нашей осиротевшей после смерти Леонтьева молодой семьи». <sup>22</sup>

Но еще до этого, 19 марта, Розанов и сам написал автору «Современных церковных вопросов». Первое письмо к нему, по рассеянности, он забыл отправить. И уже 11 мая Страхов поощряет Розанова: «Если Т. И. Филиппов читал Ваши статьи и очень хорошего о них мнения, то вот Вам покровитель, который может Вас совершенно устроить. Он великий любитель литературы и постоянно благотворит писателям». <sup>23</sup>

Благорасположенность Филиппова к Розанову в этот период заочного знакомства очень велика. В его дневнике не случайно появляются слова о человеке, подержавшем Леонтьева в последний год его жизни: «...он (Леонтьев. — О. Ф.), как не сотворивший себе кумира, и не мог ожидать шумного признания своих даров и заслуг и оскорбительного для христианского чувства воплей и рукоплесканий при его похоронах. Зато он не лишен был истинных и трогательных перед кончиною утешений в любви и глубоком уважении своих юных последователей, в восторженной оценке В. В. Розанова, в напутствии святого старца Варнавы». <sup>24</sup>

Публикуемое письмо Розанова к Филиппову интересно как документ, относящийся к периоду, о котором известно меньше, чем о каком-либо другом в жизни мыслителя. Розанов сразу переходит в этом письме к разговору о самом главном — о вере, о своем «возвратном» пути к Церкви — и этим, вероятно, располагает к себе своего будущего покровителя.

Что же произошло при знакомстве в Петербурге? Для Филиппова было естественным при первой встрече, произошедшей в пасхальные дни, подойти к пришедшему к нему человеку похристосоваться. Замешательство Розанова, будто позабывшего, что нужно говорить и делать, переросло в дурное отношение к Филиппову, невольно поставившему его в неловкую ситуацию. <sup>25</sup> С таких мелочей (будто мелочей) иногда начинаются очень серьезные расхождения.

Письмо печатается по автографу: РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 1—3.

<sup>22</sup> ГАРФ. Ф. 1099. Ед. хр. 1340. Л. 3 об.

<sup>23</sup> Розанов В. Литературные изгнанники. С. 109.

<sup>24</sup> РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.

<sup>25</sup> См.: Фатеев В. А. С русской бездной в душе. С. 125.

## Письмо В. В. Розанова Т. И. Филиппову

[19 марта 1892]

Высокоуважаемый  
Тертий Иванович!

Теперь я вижу, что ошибся, написав и запечатав, но не отослав Вам письма, в котором благодарил Вас за книгу «Современные церковные вопросы», пересланную мне по Вашему желанию Ан. Ал. Александровым и мною почти уже дочитанную. Но я так много делал ошибок при начале своей деятельности на поприще слова, и так горьки мне были эти ошибки потом, что стал нерешителен во всяком намерении, боясь сделать что-либо неуместное.

О тесной дружбе с Вами покойного К. Н. Леонтьева я знал из писем его ко мне, в которых он с величайшею горячностью говорил о «многолетней и неусыпной заботливости» Вашей о нем, о том, что «в долгие годы его одиночества Вы один никогда не уставали его поддерживать и ободрять».<sup>1</sup> Не видав никогда покойного, я так привязался (по письмам) к самой личности его, в высшей степени независимой и чистосердечной (не говоря уже об уме), что его смерть почувствовал как величайшую *свою* утрату. И более всего было мне грустно, что его желание увидеть себя оцененным еще при жизни так и осталось неисполненным по моей медлительности. А между тем эта надежда согреть сердце человека, стоящего почти уже на краю могилы и столь достойного, наполнила всего меня последнее время. Когда жена, прочтя в газете роковую надпись *К. Н. Леонтьев †*, заплакала при мысли, что вот нашим общим надеждам не удалось сбыться, — все, чем я мог утешить ее, — это уверением, что покойный, умирая, знал, что никогда не забуду я его и вечно останусь верен его имени и памяти.

А между тем немного технической умелости и настойчивости в печатном деле — и его идеи, мне думается, уже давно бы стали общераспространенными; но эта настойчивость и умелость как-то досталась в удел людям, во всех отношениях ничтожным, Суворину, Павленкову<sup>2</sup> и пр., которые засыпают Россию своими изданиями.

Не могу и не считаю уместным *лично* от себя что-либо сказать о предмете Ваших интересов и видимых стремлений, как они выражены в «Современных церковных вопросах»; но беслично, как один из миллионов людей, слушающих литургию и в то же время думающих об общих делах в нашей истории и в Церкви, считаю и возможным, и уместным выразить искреннее и глубокое уважение к Вашим мыслям. Не буду неискренен и скажу прямо, что той *верности* собственного душевного строя исторически-установившейся Церкви, какой желал бы я очень, очень глубоко — у меня еще нет, она не достигнута. Через воспитание, в течение долгих годов учения — мы отходим от Церкви; но когда в зрелом возрасте пытаемся возвратиться к ней — путь слишком длинен, чтобы его быстро пройти; однако дойти до желанной цели я не теряю надежды, ибо «стучащим отверзется».<sup>3</sup> Пока же, на этом длинном возвратном пути, сколько есть во мне сил и умения, стараюсь будить во всем нашем обществе, столь совершенно атеистическом, это течение к закрытой для него двери; сколько Бог даст мне выполнить — это будет видно в будущем.

С какою благодарностью читал я в письме Вашем одобрение моих трудов — не буду говорить, Вы это поймете без слов. А я-то трудился, ожидая и для себя со временем участи Константина Николаевича, с простою радостью выразить то, что занимало мой ум и тяготило сердце. Есть великая отрада в этом труде, незаменимая, ни с чем не сравнимая; но видеть, что и там, вдали, этот труд признается, что мысли, вот здесь зародившиеся, проходят через чью-то далекую мысль и тревожат чужое сердце, — это награда, которая могла быть заслужена лишь гораздо более продолжительным трудом, чем мой. Слова же Ваши «о *времени*, когда божественный дар слова ценился как святыня» — я приму как завет, и предостережение, и указание. Думаю, что если не несчастье какое-нибудь в жизни, сумею и смогу сохранить его.

С истинным и глубоким уважением

остаюсь В. Розанов

Г. Белый, Смол(енской) губ(ернии), 19 марта 1892 г.

<sup>1</sup> Розанов вспоминает здесь надпись Леонтьева на полях одной из тетрадей с наклейками отзывать о нем — примечание к статье Филиппова (без подписи) в рубрике газеты «Гражданин» «Дневник» (1887. 30 апреля): «Он человек очень смелый; независимый; очень умный и ученый. — Познакомившийся со мною в 77 году — *лично*; но знакомый с сочинениями мои-

ми еще гораздо прежде, он был с тех пор *истинным* мне другом и *благодетелем* даже. — Заботился обо мне, даже без вызова с моей стороны; неусыпно следил за моими веществ(енными) и служебными интересами; ободрял меня *самыми лестными* для писательского самолюбия письмами; ставил меня много выше Каткова и Аксакова...» (частная коллекция). Ср. с приведенной выше цитатой из письма Леонтьева к Розанову от 13 июня 1891 года. Кроме того, Розанов использует здесь выражение из леонтьевского посвящения Филиппову сборника «Восток, Россия и Славянство»: «Посвящается Третью Ивановичу Филиппову в знак невыразимой признательности за неизменную поддержку в долгие дни моего умственного одиночества».

<sup>2</sup> Флорентий Федорович Павленков (1839—1900) — издатель. Интересен здесь отзыв об А. С. Суворине, которого позднее Розанов будет считать своим истинным благодетелем.

<sup>3</sup> Неточная цитата: Мф. 7: 7.

## ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. О ПРИРОДЕ СЛОВА

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ © А. Г. МЕЦА)

Задача критического издания прозы Мандельштама остается, несмотря на существование нескольких собраний его сочинений, реализованной в очень небольшой степени. Но и на таком фоне текст статьи «О природе слова» в посмертных изданиях представлен наименее удовлетворительно. Настоящая работа — попытка приблизиться к решению насущной задачи.

Статья была написана в Харькове в феврале 1922 года. В Харьков поэт попал на пути из Закавказья в Киев (через Новороссийск и Ростов-на-Дону). Появление его в Харькове можно датировать относительно точно — 5—6 февраля. 7 февраля он «неожиданно для всех (появился) на одном литературном вечере, экспромтом произнес речь о Блоке» (письмо Л. Э. Ландсберга М. А. Волошину 3 марта 1922 года<sup>1</sup>), а 12 февраля харьковская газета «Коммунист» анонсировала его вечер с докладом «об акмеизме», темы которого — «пути русской литературы», «Бергсон, Розанов, Белый», также поднимаемые в статье, — отметил в цитированном письме корреспондент Волошина. Следовательно, в промежутке между этими двумя датами (7 и 12 февраля) и началась работа над статьей. Хотя Ландсберг пишет, что в Харькове Мандельштам оставался «неделю», отъезд поэта в Киев датируется нами временем после 18 февраля, когда было восстановлено железнодорожное сообщение с Киевом, но не позднее конца месяца (в Киеве Мандельштам появился не позднее первых чисел марта). Как видно из следующего письма Ландсберга к тому же корреспонденту, статья была сдана поэтом редактору журнала «Грядущий мир» и заверстана (а следовательно, прошла редактору, однако публикации в журнале воспрепятствовал высокопоставленный цензор; верстка (набор) группой молодых людей была использована для подготовки статьи отдельным изданием в частном издательстве «Истоки».<sup>2</sup> Н. Я. Мандельштам, в своей «Второй книге» опи-

<sup>1</sup> «Недавно в литературной жизни Харькова и в моей личной произошло радостное событие. Здесь на неделю остановился Мандельштам, проездом из Тифлиса в Киев (потом Москва — Петроград). Появился он неожиданно для всех на одном литературном вечере, экспромтом произнес речь о Блоке, свою, особенную, немного неуклюжую, но грациозную, из удивительных своих афоризмов. Был устроен его вечер, собравший лучшую харьковскую публику. Мандельштам говорил о путях русской литературы, о Бергсоне, Розанове, Белом — искренно, страстно, как подвижник и боец за живую плоть слова. Все свое бескорыстие и волю отдает он на то, чтобы разоблачить и заклеить тех, кто умучивает и убивает слово. Новых стихов у него мало (почти все посылаю Вам). Много пишет статей, фельетонов и корреспонденций, отлично зарабатывает. Трогательно нежен с женой, вообще стал лучше — мягче и терпимее» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 756. Л. 4—4 об.). Леонид Эммануилович Ландсберг (ок. 1899—1957) был знаком с Мандельштамом по Феодосии, где поэт жил в 1919—1920 годах. О встречах с ним см. в «Воспоминаниях» (М., 1989) и «Второй книге» (М., 1990) Н. Я. Мандельштам (по именным указателям). Дата вечера памяти Блока — 7 февраля — устанавливается по анонсу в харьковской газете «Коммунист» (1922. 3 февр.).

<sup>2</sup> «Харьков немного зашевелился и в литературном отношении начинает оживать. На днях выходит первый номер толстого журнала „Грядущие дни“ (типа «Кр(асной) Нови»), издаваемый ЦК КПУ под редакцией Вал. Рожицына. У него вышел курьез со стихами и статьей Мандельштама, который оставил их здесь проездом в Киев месяца три тому назад. Секретарь ЦК Мануильский потребовал на просмотр материал в гранках и разразился по поводу стихов, где встречается „Кому жестоких звезд соленые приказы“, „Лунный луч, как соль на топоре“ — „Какая соль? При чем здесь топор? Ничего не понимаю! Что Ленин скажет?“. Предложено изъять,

савшая харьковский эпизод этой поездки и сообщившая о том, что «эпиграф к статье (из стихотворения Н. Гумилева «Слово». — А. М.) прибавили харьковские издатели»,<sup>3</sup> никаких сведений об издательских перипетиях не приводит, поскольку ее и мужа в это время в Харькове уже не было. Книга вышла из печати во второй половине года: О природе слова. [Харьков]: Истоки, 1922 (далее — ОПС).

Это издание по объему текста является наиболее полным (в следующих публикациях были сделаны купюры), однако в значительной мере несовершенным. В отличие от статей 1910-х годов, стилистически выверенных безупречно, текст ОПС чрезвычайно «сырой», а в некоторых местах и с утратой связного смысла, что было следствием спешки, вызванной непродолжительностью пребывания Мандельштама в Харькове и необходимостью сдать работу еще до отъезда из города. Неисправности текста были в значительной мере устранены при подготовке книги «О поэзии» (см. ниже).

Во второй раз статья была помещена (с большой купюрой<sup>4</sup>) в берлинской газете «Накануне» под заглавием «О внутреннем эллинизме в русской литературе» (Накануне: Лит. прил. Берлин, 1923. 10 июня. № 56. С. 3, 5—7 (далее — ОВЭ)).

Анализ текста ОВЭ показывает, что он — более ранний, чем ОПС. Аргументов для такого заключения два. Будучи идентичен с ОПС почти на всем протяжении (не принимаем во внимание купюры), текст содержит и такие стилистические погрешности, которые в ОПС уже были устранены (примеры: «Если русская литература одна и та же литература» при «Если русская литература всегда одна и та же» (ОПС); «Для того же, чтобы спасти принцип» при «Чтобы спасти принцип» (ОПС); «как бы сделать то дело, которое они хотят сделать» при «как выполнить свое жизненное дело» (ОПС) и некоторые другие). В то же время в ОВЭ имеются правильные чтения слов, искаженных при подготовке ОПС, — см., например, прим. 27. Приведенные данные и позволяют утверждать, что текст-источник ОВЭ предшествовал ОПС, а не наоборот. При этом в ОВЭ имеется несколько существенных в смысловом отношении мест, в ОПС отсутствующих (см. прим. 14, 15, 18), а значит, исключенных в процессе подготовки ОПС (неясно, автором или редактором и в силу каких причин; часть исправлений носит характер сделанных с учетом требований цензуры, см. прим. 18, 27). Название «О внутреннем эллинизме в русской литературе» совпадает с одним из тезисов доклада Мандельштама, напечатанных в киевской газете, и тем самым согласуется с нашим выводом.

Исходя из сказанного и зная повседневный обиход поэта, можно предположить, что, воспользовавшись тем, что издание ОПС было малотиражным и, следовательно, малоизвестным, Мандельштам дал в «Накануне» сохранившуюся в его архиве невыправленную подкопирочную машинопись.<sup>5</sup>

Следующий этап работы над текстом относится к 1927 году, когда поэт собирал книгу «О поэзии». Он отражен в наборной рукописи<sup>6</sup> (далее — НР) и в самой книге: О поэзии: Сб. статей. Л.: Academia, 1928 (далее — ОП).

а также и статью, признанную неудобовразумительной. Ее мы хотим издать отдельной книжкой, благо есть готовый бесплатный набор, но и то трудно достать денег» (письмо Л. Э. Ландсберга М. А. Волошину от 29 апр. 1922 года // ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 756. Л. 5—5 об.). Название журнала в письме приведено неточно.

<sup>3</sup> Мандельштам Н. Я. Вторая книга. С. 66—67.

<sup>4</sup> От слов «Задачу построения такой поэтики» до конца статьи; из этого отрывка был оставлен фрагмент: «Литературные школы... без всяких идей», которым заканчивался текст второй публикации.

<sup>5</sup> Об аналогичной ситуации рассказал в своих воспоминаниях Э. Л. Миндлин, в то время сотрудник «Накануне»: Мандельштам пытался поместить в газете уже напечатанное стихотворение, см.: Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 101. Текст ОПС был дан поэтом в редакцию в виде машинописи, об этом нам сообщил в 1976 году А. М. Лейтес (1899—1976), в то время председатель Всеукраинского ЛИТО, — он и передал статью редактору журнала «Грядущий мир» В. С. Рожицыну.

<sup>6</sup> ИРЛИ. Ф. 172. Оп. 1. Ед. хр. 636.

Наборная рукопись представляет собой машинописную копию ОПС, но с уже сделанными в двух местах купюрами (при дальнейшей работе объем купюр расширен<sup>7</sup>). Правка внесена преимущественно рукой Н. Я. Мандельштам, в некоторых местах — рукой поэта, а отдельные исправления — рукой третьего лица, которого условно назовем «редактором». В НР внесено 2/3 общего объема правки, 1/3 — в не дошедших до нас корректурах<sup>8</sup> (что устанавливается при сличении с текстом ОП). По характеру исправлений можно выделить: 1) купюры, сделанные по соображениям житейской тактики (история возникновения акмеизма и содержание его «программы») или учитывающие требования цензуры (полностью устранены слова «церковь», «Бог»<sup>9</sup>). К этой группе можно присоединить: исправления, внесенные соответственно новой литературной ситуации, — изменение времени глаголов, причастий с настоящего на прошедшее и наклонения с изъявительного на сослагательное; 2) правку пунктуации (не всюду последовательную); 3) исправление опечаток (*любым на любимой* и некоторые другие), ошибок (*Журдень* вм. *Жорж Данден*), смысловых и стилистических погрешностей (*надолго* вм. *на долгое время, речи* вм. *языка, целостности* вм. *целости, деятельное познание* вм. *познавательная деятельность* и др.); внесение стилистически улучшающих текст поправок (*пошатнулось* вм. *заколебалось*); сюда же относим поправку, уточнившую место придаточного предложения «вне всякой заботы о стиле»; 4) вставки (стих о Евлалии, цитата из Гете и некоторые другие).

В то же время в НР и в ОП, сравнительно с ОПС, возникли новые опечатки, не замеченные при редактуре (*немедленно* вм. *правильного надменно; погружает нас* вм. *правильного погружается; движения* вм. *правильного сближения*).

В настоящей публикации текст приводится по ОПС как соответствующий взглядам поэта в культурной, литературной и политической ситуации времени его создания. В нескольких местах он дополнен по современному ему тексту ОБЭ (все дополнения указаны в примечаниях). Из правки, проведенной при составлении ОП, учитываются изменения соответственно включенным выше в пункты 3 и 4. Пунктуацию, за некоторым исключением, приводим по современным нормам.

<sup>7</sup> В ОП по сравнению с ОПС сделаны следующие купюры: «Задачи построения... в новом организмом понимании», «Подъемная сила акмеизма... своими органами», «Акмеизм не только... „мужа“», «Но я вижу... вещественного мира».

<sup>8</sup> В ИРЛИ сохранились корректурные гранки статьи (Ф. 172. Оп 1. Ед. хр. 1935), однако — без правки.

<sup>9</sup> Один из примеров: вместо «в поэзии, в мистике, в политике, в богословии» (ОПС) в ОП напечатано: «в поэзии, в хозяйстве, в политике и т. д.».

## О ПРИРОДЕ СЛОВА

Я хочу поставить один вопрос — именно: едина ли русская литература? В самом деле, является ли русская литература современная продолжением литературы Некрасова, Пушкина, Державина, или Симеона Полоцкого? Если преемственность сохранилась, то как далеко она простирается в прошлое? Если русская литература обладает свойством непрерывности, то чем определяется ее единство, каков существенный ее<sup>1</sup> принцип, так называемый «критерий»?

Поставленный мною вопрос приобретает особенную остроту благодаря ускорению темпа исторического процесса. Правда, должно быть преувеличение считать каждый год нынешней истории за век, но нечто вроде геометрической прогрессии, правильного и закономерного ускорения замечается в бурной реализации накопленных и растущих потенций исторической силы, энергии. Благодаря изменению количества колебательных волн — событий, происходящих на известный проме-



жуток времени,<sup>2</sup> пошатнулось понятие единицы времени, и не случайно современная математическая наука выдвинула принцип относительности.

Чтобы спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, современная философия в лице Бергсона,<sup>3</sup> чей глубоко иудаистический ум одержим настойчивой потребностью практического монотеизма,<sup>4</sup> предлагает нам учение о системе явлений. Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их *пространственной протяженности*. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени,<sup>5</sup> но в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию.<sup>6</sup>

Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь, и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и надолго поработившей умы европейских логиков, выдвигает *проблему связи*, лишенную всякого привкуса метафизики и именно поэтому более плодотворную для научных открытий и гипотез.

Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне — теории прогресса.<sup>7</sup> Движение бесконечной цепи явлений без начала и конца есть именно дурная бесконечность, ничего не говорящая уму, ищущему единства и связи, усыпляющая научную мысль легким и доступным эволюционизмом, дающим, правда, видимость научного обобщения, но ценою отказа от всякого синтеза и внутреннего строя.

Расплывчатость, безархитектурность европейской научной мысли XIX века к началу наступившего столетия совершенно деморализовала научную мысль. Ум, который не есть знание и совокупность знаний, а есть хватка, прием, *метод*, покинул науку, благо он может существовать самостоятельно и найдет себе пищу где угодно. И тщетно было бы искать именно этого ума в научной жизни старой Европы. Свободный ум человека отделился от науки. Он очутился всюду, только не в ней: в поэзии, в мистике, в политике, в богословии.

Что же касается до научного эволюционизма с теорией прогресса, то, поскольку он сам не свернул себе шеи, как это сделала новая европейская наука, он, продолжая работать в том же самом направлении, выбросился на берег теософии, как обессиленный пловец, достигший безрадостного предела.

Теософия — прямая наследница старой европейской науки. Туда ей и дорога. Та же дурная бесконечность, то же отсутствие позвоночника в учении о перевоплощении (карма), тот же грубый и наивный материализм в вульгарном понимании сверхчувственного мира, то же отсутствие воли и вкуса к деятельному познанию, и какая-то ленивая всеядность, огромная тяжелая жвачка, рассчитанная на тысячи желудков, интерес ко всему, граничащий с равнодушием, — всепонимание, граничащее с ничегонепониманием.

Для литературы эволюционная теория особенно опасна, а теория прогресса прямо-таки убийственна. Если послушать историков литературы, стоящих на точке зрения эволюционизма, то получается, что писатели только и думают, как бы расчистить дорогу идущим впереди себя, а вовсе не о том, как выполнить свое жизненное дело, или же что все они участвуют в конкурсе изобретений на улучшение какой-то литературной машины, причем неизвестно, где скрывается жюри и для какой цели эта машина служит.

Теория прогресса в литературе — самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая смена, каждое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого «лучше», никакого прогресса в литературе быть не может, про-

сто потому, что нет никакой литературной машины и нет старта,<sup>8</sup> куда нужно скорее других доскакать. Даже к манере и форме отдельных писателей неприменима эта бессмысленная теория улучшения — здесь каждое приобретение также сопровождается утратой и потерей. Где у Толстого, усвоившего в «Анне Карениной» психологическую мощь и конструктивность флюберовского романа, звериное чутье и физиологическая интуиция «Войны и мира»? Где у автора «Войны и мира» прозрачность формы, «кларизм» «Детства» и «Отрочества»? Автор «Бориса Годунова», если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов, совершенно так же, как теперь никто не напишет державинской оды. А кому что больше нравится — дело другое. Подобно тому, как существуют две геометрии — Евклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна — говорящая только о приобретениях, другая — только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же.

Возвращаясь к вопросу о том, едина ли русская литература, и, если да, то каков принцип ее единства, мы с самого начала отбрасываем теорию улучшения. Будем говорить только о внутренней связи явлений, и прежде всего попробуем отыскать критерий возможного единства, стержень, позволяющий развернуть во времени разнообразные и разбросанные явления литературы.

Таким критерием единства литературы данного народа, единства условного, может быть признан только язык народа, ибо все остальные признаки сами условны, переходящи и производны. Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое, — от точки и до точки, ослепительно ясной в сознании филологов, и в пределах всех своих изменений остается постоянной величиной, «константой», остается внутренне единым. Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в применении к самосознанию языка.

Когда латинская речь, распространившаяся по всем романским землям, зацвела новым цветом и пустила побеги будущих романских языков, началась новая литература — детская и убогая по сравнению с латинской, но уже романская. Когда прозвучала живая и образная речь «Слова о полку Игореве», насквозь светская, мирская и русская в каждом повороте, — началась русская литература. А пока Велемир Хлебников, современный русский писатель, погружает нас в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература «Слова о полку Игореве». Русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний, но в одном он останется верен самому себе, пока и для нас не прозвучит наша кухонная латынь и на могучих развалинах не взойдут бледные молодые побеги новой жизни, подобно древне-французской песенке о св. Евлалии:

Buona pulcella fut Eulalia,  
bel auret corps, bellezour anima.<sup>9</sup>

Русский язык — язык эллинистический. По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Западу латинским влияниям и не надолго загаживаясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью.<sup>10</sup>

Если западные культуры и истории замыкают язык извне, огораживают его стенами государственности и церковности и пропитываются им, чтобы медленно гнить и зацветать в должный час его распада, — русская культура и история со всех сторон омыты и опоясаны грозной и безбрежной стихией русской речи, не вмещающейся<sup>11</sup> ни в какие государственные и церковные формы.

Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полного бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие. Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как во всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти. Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному значению. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обим.

Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы русского языка, и совершенно безразлично, будет ли это тенденция к телеграфному или стенографическому шифру ради экономии и упрощенной целесообразности, или же утилитаризм более высокого порядка, приносящий язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению.

Андрей Белый, например, — болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка только потому, что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообщаясь исключительно с темпераментом своего спекулятивного мышления. Захлебываясь в изощренном многословии, он не может пожертвовать ни одним оттенком, ни одним изломом своей капризной мысли, и взрывает мосты, по которым ему лень перейти. В результате, после мгновенного фейерверка, — куча щебня, унылая картина разрушения вместо полноты жизни, органической целостности и деятельного равновесия. Основной грех писателей вроде Андрея Белого — неуважение к эллинистической природе слова, беспощадная эксплуатация его для своих интуитивных целей.

В русской поэзии чаще, чем в какой-либо другой, повторяется тема старого сомнения в способности слова к выражению чувств:

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?<sup>12</sup>

Так язык предохраняет себя от бесцеремонных покушений.

Скорость развития языка несоизмерима с развитием самой жизни. Всякая попытка механически приспособить язык к потребностям жизни заранее обречена на неудачу. Так называемый футуризм, понятие, созданное безграмотными критиками и лишенное всякого содержания и объема, — не только курьез обывательской литературной психологии. Он получает точный смысл, если разуместь под ним именно это насильственное, механическое приспособление, недоверие к языку, который одновременно и скороход, и черепаха.

Хлебников возится со словами, как крот, он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие, между тем представители московской метафорической школы, именующие себя имажинистами, выбивающиеся из сил, чтобы приспособить язык к современности, остались далеко позади языка, и их судьба — быть выметенными, как бумажный сор.

Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений,<sup>13</sup> упустил из виду одно обстоятельство, именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык — не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение

от языка. «Онемение» двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Язык — наша телеология.<sup>14</sup> Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краюшку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова.

Из современных русских писателей живее всех эту опасность почувствовал Розанов, и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение нашей связи со словом, за нашу<sup>15</sup> филологическую культуру, которая твердо стоит на фундаменте эллинистической природы русской речи. Анархическое отношение ко всему решительно, полная неразбериха, всё ни по чёму, только одного не могу — жить бессловесно, не могу перенести отлучение от слова! Такова приблизительно была духовная организация Розанова. Этот анархический и нигилистический дух признавал только одну власть — магию языка, власть слова. И это, заметьте, не будучи поэтом, собирателем и нанизывателем слов, а будучи просто разговорщиком или ворчуном, вне всякой заботы о стиле.

Одна книга Розанова называется «У церковных стен».<sup>16</sup> Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте,<sup>17</sup> стараясь нащупать, где же стены русской культуры. Подобно некоторым другим русским мыслителям, вроде Чаадаева, Леонтьева, Гершензона, он не мог жить без стен, без акрополя. Всё кругом подается, всё рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек кремля, акрополя, всё равно как бы ни называлось это ядро, государством, обществом или церковью.<sup>18</sup> Жажда орешка и какой бы то ни было символизирующей этот орешек стены определяет всю судьбу Розанова и окончательно снимает с него обвинения в беспринципности и анархичности.

«Тяжело человеку быть целым поколением — ему ничего больше не остается, как умереть — мне время тлеть, тебе цвести».<sup>19</sup> И Розанов не жил — он умирал разумной и мыслящей смертью, как умирают поколения. Жизнь Розанова — смерть филологии, увядание, усыхание словесности, и ожесточенная борьба за жизнь, которая теплится в словечках и разговорчиках, в кавычках и цитатах, но в филологии и только в филологии.

Отношение Розанова к русской литературе самое что ни на есть нелитературное. Литература — явление общественное, филология — явление домашнее, кабинетное. Литература — это лекция, улица; филология — университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни. Вот почему тяготение Розанова к домашности,<sup>20</sup> столь мощно определившее весь уклад его литературной деятельности, я вывожу из филологической природы его души, которая в неутомимом искании орешка щелкала и лушила свои слова и словечки, оставляя нам только шелуху. Немудрено, что Розанов оказался ненужным и бесплодным писателем.<sup>21</sup>

«Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — „смерть”. Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя уже определение, уже „что-то знаем”».<sup>22</sup> Так своеобразно определяет Розанов сущность своего номинализма: вечное познавательное движение, вечное щелканье орешка, кончающееся ничем, потому что его никак не разгрызть. Да какой же Розанов литературный критик? Он всё только щиплет, он случайный читатель, заблудившаяся овца — ни то, ни сё...

Критик должен уметь проглатывать томы, отыскивая нужное, делая обобщения, Розанов же увязнет с головой в строчке любого русского поэта, как он увяз в

строчке Некрасова «Еду ли ночью по улице темной» — первое, что пришло в голову ночью на извозчике. Розановское примечание — вряд ли сыщется другой такой русский стих во всей русской поэзии.<sup>23</sup> Церковь Розанов полюбил за ту же самую филологию, что и семью, вот что он говорит: «Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге, то есть она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так „около души“, как только мать может почувствовать свое умершее дитя. Как же ей не оставить за это всё?..»<sup>24</sup>

Антифилологический дух, с которым боролся Розанов, вырвался из самых глубин истории; это в своем роде такой же неугасимый огонь, как и огонь филологический.

Есть такие вечные огни на земле, пропитанной нефтью: где-нибудь случайно загорится и горит десятки лет. Нет нейтрализующего состава, погасить абсолютно нечем. Лютер был уже плохой филолог, потому что вместо аргумента он запустил в черта чернильницей.<sup>25</sup> Антифилологический огонь изъязвляет тело Европы, пылая горящими сопками<sup>26</sup> на земле Запада, навеки опустошая для культуры ту почву, на которой он вспыхнул. Ничем нельзя нейтрализовать голодное пламя. Нужно предоставить ему гореть, обходя заклятые места, куда никому не нужно, куда никто не станет торопиться.

Европа без филологии — даже не Америка, это — цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения. По-прежнему будут стоять европейские кремли и акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди будут смотреть на них, не понимая их, с бессмысленным испугом недоуменно спрашивая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры.

Да что говорить, Америка лучше этой, пока что умопостигаемой, Европы. Америка, растратив свой филологический запас, вывезенный из Европы, как бы ошалела и призадумалась, и вдруг завела свою собственную филологию, откуда-то выкопала Уитмена, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам, дал образец первобытной; номенклатурной поэзии, подстать самому Гомеру.

Россия — не Америка, к нам нет филологического ввозу; не прорастет у нас диковинный поэт вроде Эдгара По, как дерево от пальмовой косточки, переплывшей океан с пароходом. Разве что Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе; переводчик по призванию, по рождению, в оригинальнейших своих произведениях.

Положение Бальмонта в России — это иностранное представительство от несуществующей фонетической державы, редкий случай типичного перевода без оригинала. Хотя Бальмонт и москвич, между ним и Россией лежит океан. Это поэт совершенно чужой русской поэзии, он оставит в ней меньший след, чем переведенный им Эдгар По или Шелли, хотя собственные его стихи заставляют предполагать очень интересный подлинник.

У нас нет акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький кремль, крылатая крепость номинализма, освященная<sup>27</sup> эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории.

Поскольку Розанов в нашей литературе — представитель домашнего, юродствующего и нищенствующего, эллинизма, постольку Анненский — эллинизма героического, филологии воинствующей. Стихи и трагедии Анненского можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь удельными князьями для защиты от печенегов, навстречу хазарской ночи.

На темный жребий мой я больше не в обиде:  
И наг, и немощен был некогда Овидий.<sup>28</sup>

Неспособность Анненского служить каким бы то ни было влияниям, быть посредником, переводчиком прямо поразительна. Оригинальнейшей хваткой он когтил чужое, и еще в воздухе, на большой высоте надменно выпускал из когтей добычу, позволяя ей упасть самой. И орел его поэзии, когтивший Еврипида, Малларме, Леконта де Лиля, ничего не приносил нам в своих лапах, кроме горсти сухих трав.

Поймите, к вам стучится сумасшедший,  
 Бог знает где и с кем всю ночь проведенный,  
 Блуждает взор, и речь его дика,  
 И камешков полна его рука;  
 Того гляди, другую опростает,  
 Вас листьями сухими закидает.<sup>29</sup>

Гумилев назвал Анненского великим европейским поэтом.<sup>30</sup> Мне кажется, когда европейцы его узнают, смиренно воспитав свои поколения на изучении русского языка, подобно тому, как прежние воспитывались на древних языках и классической поэзии, они испугаются дерзости этого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры и возложившего с нежностью, как подобает русскому поэту, звериную шкуру на всё еще забнувшего Овидия.

Как удивительна судьба Анненского! Прикасаясь к мировым богатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вернее — поднял горсточку праха и бросил ее обратно в пылающую сокровищницу Запада. Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Не было еще «Весов». Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена и писал по-латыни монографию о римских налогах. И в это время директор царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеинный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал.

И для Анненского поэзия была домашним делом, и Еврипид был домашний писатель, сплошная цитата и кавычки. Вся мировую поэзию Анненский воспринимал как сноп лучей, брошенный Элладой. Он знал расстояние, чувствовал его пафос и холод, и никогда не сближал внешне русского и эллинского мира. Урок творчества Анненского для русской поэзии — не эллинизация, а внутренний эллинизм, адекватный дух русского языка, так сказать, домашний эллинизм. Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, всё окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любим, и с тем же самым чувством священной дрожи, с каким —

Как мерзла быстрая река  
 И зимни вихри бушевали,  
 Пушистой кожей прикрывали  
 Они святого старика.<sup>31</sup>

Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется всё нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя как веер

явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое «я».

В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом. Спрашивается, нужен ли поэтому сугубый, нарочитый символизм в русской поэзии? Не является ли он грехом против эллинистической природы нашего языка, творящего образы, как утварь, на потребу человека?

По существу нет никакой разницы между словом и образом. Символ<sup>32</sup> есть уже образ запечатанный; его нельзя трогать. Он не пригоден для обихода, как никто не станет прикуривать от лампадки. Такие запечатанные образы тоже очень нужны. Человек любит запрет, и даже дикарь кладет магическое запрещение, «табу», на известные предметы. Но, с другой стороны, запечатанный, изъятый из употребления образ враждебен человеку, он в своем роде чучело, пугало.

Alles Vergänglichliches Ist nur ein Gleichnis. Всё преходящее только подобие.<sup>33</sup> Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы, голубка — подобие девушки, а девушка — подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического «леса соответствий» — чучельная мастерская.

Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс<sup>34</sup> «соответствий», кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой.

Весьма замечательную в русской поэзии эпоху символистов группы «Весов», развернувшуюся за два десятилетия в колоссальную, хотя на глиняных ногах, постройку, лучше всего определить как эпоху лжесимволизма. Пусть настоящее определение не будет понято как ссылка на классицизм, унижительная для этой прекрасной поэзии и плодотворного стиля Расина. Ложноклассицизм — кличка, данная школьным невежеством и прилепившаяся к большому стилю. Русский лжесимволизм — действительно лжесимволизм. Журдень открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой.<sup>35</sup> Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь.

Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить — не абсолютное значение). Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти. Как же быть с прикреплением слова к его значению — неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь. Его значимость нисколько не перевод его самого. На самом деле, никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, назвал ее придуманным именем. Наоборот, какой-то правильный филологический институт исстари подсказывал человеку, что в начале было Слово. Слова в мире — гости, так же как и вещи, и еще неизвестно, кто раньше пришел, а<sup>36</sup> самое удобное и в научном смысле правильное — рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содержании, буде фонетика — форма, всё остальное — содержание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее — значимость слова<sup>37</sup> или его звучащая природа. Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, «система». Значимость слова

можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре.

Старая психология умела только объективировать представления и, преодолевая наивный солипсизм, рассматривала их как нечто внешнее. В этом случае решающим моментом был момент данности. Данность продуктов нашего сознания сближает их с предметами внешнего мира и позволяет рассматривать представления как нечто объективное. Чрезвычайно быстрое очеловечение науки, включая сюда и теорию познания, наталкивает нас на другой путь. Представления можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце.

В применении к слову такое понимание словесных представлений открывает широкие новые перспективы и позволяет мечтать о создании органической поэтики, не законодательного, а биологического характера, уничтожающей канон во имя внутреннего сближения организма, обладающей всеми чертами биологической науки.<sup>38</sup>

Задачи построения такой поэтики взяла на себя органическая школа русской лирики, возникшая по творческой инициативе Гумилева и Городецкого в начале 1912 года, к которой официально примкнули Ахматова, Нарбут, Зенкевич и автор этих строк. Очень небольшая литература по акмеизму и скупость на теорию его вождей затрудняет его изучение. Акмеизм возник из отталкивания: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» — таков был его первоначальный лозунг. Городецким в свое время была сделана попытка привить акмеизму литературное мировоззрение, «адамизм», род учения о новой земле и новом Адаме.<sup>39</sup> Попытка не удалась, акмеизм мировоззрением не занимался — он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений, гораздо более ценных, чем идеи, и,<sup>40</sup> главным образом, вкус к целостному словесному представлению, образу, в новом органическом понимании. Литературные школы живут не идеями, а вкусами: принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов — значит не сделать новой школы, а лишь основать поэтику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей. Не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма. Идеи оказались отчасти перенятыми у символистов, и сам Вячеслав Иванов много способствовал построению акмеистической теории. Но смотрите, какое случилось чудо для тех, кто живет внутри русской поэзии: новая кровь потекла по ее жилам.<sup>41</sup> Говорят, вера движет горы, а я скажу в применении к поэзии: горы движет вкус. Благодаря тому, что в России в начале столетия возник новый вкус, такие громады, как Рабле, Шекспир, Расин,<sup>42</sup> снялись с места и двинулись к нам в гости. Подъемная сила акмеизма в смысле деятельной любви к литературе, ее тяжести, ее грузу — необычайно велика, и рычагом этой деятельной любви и был именно новый вкус, мужественная воля к поэзии и поэтике, в центре которой стоит человек, не сплюснутый в лепешку лжесимволическими ужасами, а как хозяин у себя дома, истинный символист,<sup>43</sup> окруженный символами, то есть утварью, обладающий и словесными представлениями как своими органами.

Не раз русское общество переживало минуты гениального чтения в сердце западной литературы. Так Пушкин, и с ним всё его поколение, прочитал Шенье. Так следующее поколение, поколение Одоевского, прочитало Шеллинга, Гофмана и Новалиса. Так шестидесятники прочитали своего Бокля, и хотя обе стороны звезд с неба не хватало, но и здесь идеальная встреча состоялась.

Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на «Федре», Гофман — на «Серрапионовых братьях». Раскрылись ямбы Шенье и гомеровская «Илиада». Акмеизм — не только литературное, но и общественное явление в русской истории. С ним вместе в русской поэзии возродилась нравст-



венная сила. «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья; и Господа, и дьявола равно прославлю я»<sup>44</sup> — сказал Брюсов. Это убогое «ничевочество» никогда не повторится в русской поэзии.

Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до «гражданина», но есть более высокое начало, чем «гражданин» — понятие «мужа». В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и «мужа». Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Всё стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире.

Отшумит век, уснет культура, переродится народ, отдав свои лучшие силы новому общественному классу, и весь этот поток увлечет за собой хрупкую ладью человеческого слова в открытое море грядущего, где нет сочувственного понимания, где унылый комментарий заменяет свежий ветер вражды и сочувствия современников. Как же можно снарядить эту ладью в дальний путь, не снабдив ее всем необходимым для столь чужого и столь дорогого читателя? Еще раз я уподоблю стихотворение египетской ладье мертвых. Всё для жизни припасено, ничего не забыто в этой ладье.

Но я вижу возможность многочисленных возражений и начало реакции на акмеизм в этой первоначальной его формулировке, подобно кризису лжесимволизма. Чистая биология не подходит для построения поэтики. Биологическая аналогия хороша и плодотворна, но в результате ее последовательного применения получается биологический канон, не менее давящий и нестерпимый, чем лжесимволический. «Души готической рассудочная пропасть»<sup>45</sup> глядит из физиологического понимания искусства. Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию.<sup>46</sup>

На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник, мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира.

<sup>1</sup> Местонаимение «ее» замещает не слово «литература» (как предшествующее «ее»), а слово «непрерывность» — ниже в тексте говорится о «принципе непрерывности».

<sup>2</sup> *изменению количества колебательных волн... промежутков времени.* В ОПС было плеонастическое: «количества содержания... волн... приходящихся на известный промежуток времени». Необходимость исправления подчеркнутого нами места в НР определена правильно, однако по недосмотру удалены оба слова, что привело к утрате смысла. Сохраняем слово «количество» по ОПС.

<sup>3</sup> Имеются мемуарные сведения о том, что Мандельштам читал Бергсона и «помнил его назубсть» в юношеские годы (*Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 84). Исследователи Мандельштама указывали на отдельные заимствования из сочинений Бергсона (из последних работ см.: *Видгоф Л. М.* О «чертежнике пустыни» Мандельштама // Видгоф Л. М. Москва Мандельштама. М., 2005. С. 404 и след.).

<sup>4</sup> Замечание о «глубоко иудаистическом уме» Бергсона корреспондирует с оценкой Н. Бердяева: «Философия Бергсона — тончайшая паутина, напоминающая мышление Зиммеля и изобличающая в нем еврейский склад ума» (*Бердяев Н. А.* Смысл творчества // Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 540). Считается вероятным, что Бергсон, наряду с другими источниками, опирался на мистическое учение хасидов (*Блауберг И. И.* Анри Бергсон и философия длительности // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1992. Т. 1. С. 40).

<sup>5</sup> Подобный образ находим в стихотворении «Еще далеко асфodelей...» (1916): «И раскрывается с шуршаньем Печальный веер прошлых лет...».

<sup>6</sup> Дж. Харрис, систематически исследовавшая «Творческую эволюцию», в том числе в связи с этим образом в «О природе слова», пришла к выводу, что Мандельштам «неверно ин-

терпретировал» Бергсона (*Harris J. G. Mandelstamian «Zlost», Bergson, and a new acmeist esthetic?* // *Ulbando Review*. 1978. Vol. 2. № 2. P. 116). Н. Я. Мандельштам пыталась обнаружить источник обсуждаемого образа с помощью своих знакомых-филологов; о безуспешности этих попыток свидетельствует одно из ее писем к Л. Я. Гинзбург, в котором упоминается «бергсоновский веер времени, который нагло выдумал Оська в своих статьях» (*Звезда*. 1998. № 10. С. 135).

<sup>7</sup> *от дурной бесконечности... теории прогресса*. Опосредованный источник этих воззрений, вероятно, статья С. Булгакова «Основные проблемы теории прогресса» (сб. «Проблемы идеализма», 1903), автор которой раскрыл существо определяемой им «религии прогресса» и «его божество» — «Человечество», субъект «бесконечного прогресса». «Дурная бесконечность» — определение Гегеля (в «Йенской логике»).

<sup>8</sup> *старта*. Правильно: финиша. В этом месте, по-видимому, у автора отразились зрительные впечатления от бегах на ипподроме, где место старта нередко совпадает с местом финиша.

<sup>9</sup> «*Buona pulcella fut Eulalia, bel auret corps, bellezour anima*. Цитата из «Кантилены о св. Евлалии» (ок. 880 г.). «Хорошая девушка была Евлалия, красивая телом, прекрасная душой» (старофранц., пер. Л. Г. Степановой). В ОП цитата с неточностями, исправлено по изд.: *Шушмарев В.* Книга для чтения по истории французского языка IX—XV вв. М.; Л., 1956. С. 22. «Французский памятник имитирует латинскую литургическую секвенцию, существовавшую уже в IX в. Она написана в 80-х годах этого столетия на основе гимна Пруденция (IV в.) и мартирологии Беды Достопочтенного. Евлалия из Мериды — христианская мученица конца III—начала IV в.; замучена при Максимиане (286—305 гг.)» (Там же. С. 22).

<sup>10</sup> *русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью*. Ср. в статье «Скрябин и христианство»: «Скрябин — следующая после Пушкина ступень русского эллинизма, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа».

<sup>11</sup> *стихий русской речи, не вмещающейся*. Принято чтение ОП (с заменой времени глагола с прошедшего на настоящее). В ОПС было: «стихией русского языка, не вмещающегося».

<sup>12</sup> Из стихотворения Тютчева «Silentium!».

<sup>13</sup> Имеется в виду «Письмо первое» «Философических писем» Чаадаева. В связи с этим письмом см. статью «Петр Чаадаев» и примечания к ней в кн.: *Мандельштам О.* Камень. Л., 1990. (Лит. памятники).

<sup>14</sup> *Язык — наша телеология*. Фраза восстановлена по ОВЭ.

<sup>15</sup> *за сохранение нашей связи со словом, за нашу... Слова «нашей», «нашу» восстановлены по ОВЭ.*

<sup>16</sup> Речь идет об издании: *Розанов В.* Около церковных стен. В 2 т. СПб., 1906.

<sup>17</sup> Характеристика основывается на следующем высказывании Розанова: «странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении пустоты около себя — пустоты безмолвия и небытия вокруг и везде, — что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне „современничают“ другие люди» (*Розанов В.* Уединенное. СПб., 1912. С. 215).

<sup>18</sup> *церковью*. Слово восстановлено по ОВЭ.

<sup>19</sup> Источник цитаты не установлен. «Мне время тлеть, тебе цвести» — из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

<sup>20</sup> Тема «домашности» у Розанова была освещена В. Шкловским в работе «Розанов» (опубл. 1921): «Тема последней домашности, домашнего отношения к вещам {...} не подымалась или почти никогда не поднималась в „большой свет“ литературы {...}» (*Шкловский В.* Гамбургский счет. М., 1990. С. 122). О взаимной связи названных статей Мандельштама и Шкловского см.: *Тоддес Е. Я.* Мандельштам и опоязовская филология // *Тыняновский сб.: Вторые Тыняновские чтения*. Рига, 1986. С. 81—82.

<sup>21</sup> *Немудрено, что Розанов... писателем*. В ОВЭ: «Розанов многим кажется ненужным и бесплодным писателем: это для тех, кто не умеет делать того же, что он сам: им остаются только скорлупки».

<sup>22</sup> Цитата из кн.: *Розанов В.* Опавшие листья. СПб., 1913. С. 88.

<sup>23</sup> См.: *Розанов В.* Уединенное. С. 29. Еще раз к тому же стиху Некрасова Розанов обратился в кн.: *Опавшие листья: Короб 2-й*. Пг., 1915. С. 320.

<sup>24</sup> См. в кн.: *Розанов В.* Опавшие листья. Короб 2-й. С. 178.

<sup>25</sup> По легенде, черт явился Лютеру в замке Вартбург, где Лютер укрывался после осуждения на Вормсском соборе. В одной из комнат замка по сей день показывают туристам пятно на стене, оставшееся от брошенной в черта чернильницы.

<sup>26</sup> Здесь *сопки* имеют второе словарное значение — вулканы. При редактировании ОП это значение не было учтено, почему был заменен сопутствующий эпитет — «горящими» на «горячими».

<sup>27</sup> *освященная*. В ОПС и ОП: *оснащенная*. Чтение дается по ОВЭ.

<sup>28</sup> Из стихотворения П. Верлена «Вечером» в переводе И. Анненского.

<sup>29</sup> Из стихотворения И. Анненского «Кошмары». У Анненского в соответствующем стихе: «Оборванный, и речь его дика».

<sup>30</sup> Имеется в виду рецензия Н. С. Гумилева на «Кипарисовый ларец»: «Читателям „Аполлона“ известно, что И. Анненский скончался 30 ноября 1909 г. И теперь время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов» (Аполлон. 1910. № 8. С. 46).

<sup>31</sup> Из поэмы Пушкина «Цыганы» (рассказ Старика об Овидии).

<sup>32</sup> *Символ*. Чтение дается по ОП; в предшествующих источниках ошибочно: слово.

<sup>33</sup> *Alles... Gleichnis. Всё преходящее только подобие*. Цитата из второй части «Фауста» Гете и ее перевод. Мандельштам обращается к этой цитате как к показательной, поскольку ею пользовался Вяч. Иванов в двух программных статьях: «Две стихии в современном символизме» (По звездам. СПб., 1909. С. 270); «Заветы символизма» (Ворозды и межи. М., 1916. С. 135). «По звездам» Мандельштам читал и отозвался об этой книге в письме к Вяч. Иванову от 13 (26) августа 1909 года, см.: *Мандельштам О. Камень*. С. 206—207.

<sup>34</sup> *контреданс* — старинный танец, род кадрили; от франц. contre-danse. Слово транслировалось также как контрданс и контраданс (так в ОП). Этимологически возводилось к английскому country-dance (деревенский танец).

<sup>35</sup> Подразумевается эпизод из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», герой которой, Журден, узнает от своего учителя о делении речи на стихи и прозу и признается в том, что «не подозревал, что вот уже более сорока лет говорит прозой». В ОПС вм. «Журдень» было ошибочное «Жорж Данден» (герой другой комедии Мольера, «Жорж Данден, или Одураченный муж»). Исправление внесено в НР рукой «редактора».

<sup>36</sup> *Наоборот, какой-то... кто раньше пришел, а...* Фраза восстановлена по ОВЭ.

<sup>37</sup> *что первичное — значимость слова*. Исправлено по ОП. В ОПС было: «что первичная значимость — слово...».

<sup>38</sup> *биологической науки*. В ОВЭ после запятой следовало продолжение: «включая одну: отказ от разгадки основной биологической тайны жизни и, следовательно, биологической тайны слова, построенной (посторонней? — А. М.), для познания не существенной, и нисколько не меняющей сути дела».

<sup>39</sup> О роли С. Городецкого в формировании мировоззрения акмеистов см.: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // *Russian Literature*. 1974. № 7/8. С. 24—31. Следует отметить, что Мандельштам, автор программных статей «О собеседнике» и «Франсуа Виллон», напечатанных в «Аполлоне» (1913. № 2 и 4), статьи «Утро акмеизма» (1914, опубл. 1919, см. примечания в кн.: *Мандельштам О. Камень*. С. 334—337), «был предназначен» Гумилевым «написать поэтику» (Осип Мандельштам в записях дневника и материалах архива П. Н. Лукницкого // *Звезда*. 1991. № 2. С. 112), а название его статьи (написанной в том же 1922 году, что и рассматриваемая нами) «Письмо о русской поэзии» свидетельствует о его намерении выступить продолжателем дела Гумилева после его гибели.

<sup>40</sup> *чем идеи, и*. Вм. «и» в ОПС противительная частица «а». Необходимость конъектуры вызывается тем, что в данном месте предложения смысл требует не противопоставления, а соединения.

<sup>41</sup> *Но смотрите, какое случилось... по ее жилам*. Пунктуация источника исправлена нами по смыслу фразы.

<sup>42</sup> *Рабле, Шекспир, Расин*. Имена Шекспира и Рабле назвал Гумилев в статье «Наследие символизма и акмеизм» в качестве близких акмеизму (Аполлон. 1913. № 1). В связи с обращением Мандельштама к творчеству Расина см. примечания к стихотворению «Я не увижу знаменитой „Федры“...» и к переводу начала «Федры» в изд.: *Мандельштам О. Полн. собр. стихотв.* СПб., 1995. С. 538, 673.

<sup>43</sup> *символист*. Конъектура; в ОПС (единственный источник текста): символизм. Исправление внесено по смыслу фразы.

<sup>44</sup> *«Хочу, чтоб всюду плавала... прославлю я»* — из стихотворения В. Брюсова «Неколебимой истине...» (1901).

<sup>45</sup> Автор цитирует свое стихотворение «Notre Dame».

<sup>46</sup> Сальери, в его противопоставлении Моцарту, избран Мандельштамом в данном случае, по-видимому, в связи с бытовавшими в литературной среде Петербурга оценками его и Н. С. Гумилева творчества. Так, Л. Рейснер, цитируя стихотворение Мандельштама «Silentium», писал: «„Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись“, — вот зарок, данный новым Сальери. Для Моцарта он не существует» (*Рейснер Л. М.* Райнер М. Рильке // *Летопись*. 1917. № 7/8. С. 313). Второе сравнение принадлежит Э. Голлербаху и относится к тому же 1922 году: «Если можно противопоставить Блоку кого-нибудь из современников, то в качестве антипода назовем Н. Гумилева. Блок и Гумилев не только разные мироощущения, это — разные стихии творчества. Это Моцарт и Сальери нашей поэзии. Блок вешал, Гумилев выдумывал. Блок творил, Гумилев изобретал. Блок был художником, артистом. Гумилев был мастером, техником. Блок был больше поэтом, чем стихослагателем: поэзия была ему дороже стихов. Гумилев был версификатором, филологом по преимуществу» (*Голлербах Э.* Петербургская Камена: (из впечатлений последних лет) // *Новая Россия*. 1922. № 1. С. 87).

# ПОЛЕМИКА

© *Фредерик Х. Уайт (Канада)*

## ТАК БЫЛ ЛИ БОЛЕН Л. АНДРЕЕВ?

(О ПРАВДЕ, ПРАВДОПОДОБНОСТИ И ПРАВЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ДИАГНОСТИКУ)\*

До сих пор помню то огромное, не лишнее страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии: говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном, юношеском отчаянии восклицал: «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?»

*Леонид Андреев. Мои записки*

Начать прежде всего хотелось бы со слов благодарности в адрес коллектива уважаемых ученых — Л. Э. Айнгорн, О. В. Володиной, В. Я. Гречнева, Л. А. Иезуитовой, Л. Н. Кен и Л. И. Шишкиной, — нашедших время внимательно прочесть две моих статьи о Л. Андрееве, в которых высказывается предположение о том, что писатель мог страдать формой маниакально-депрессивного расстройства.<sup>1</sup> Мне кажется, что мои коллеги высказали целый ряд важных контраргументов, представили иные интерпретации и даже указали на факты, ранее не попадавшие в поле моего внимания, что, несомненно, заставит меня пересмотреть некоторые из высказанных положений. Свою задачу я изначально видел отнюдь не в том, чтобы посягнуть на статус Андреева-писателя или состряпать для читателя историю в духе бульварной прессы. Цель моя — комплексно рассмотреть биографию и творчество Андреева, с тем чтобы попытаться предложить, по возможности, правдоподобное объяснение крайним перепадам его настроения, запоям, попыткам самоубийства и кочующей из произведения в произведение теме безумия, а также систематизировать свидетельства многочисленных мемуаристов, представляющие Андреева как неустойчивую личность с эмоционально разрушительным началом.

---

\* **От редакции.** Публикуя статью профессора Фредерика Х. Уайта «Так был ли болен Л. Андреев? (О правде, правдоподобности и праве на литературную диагностику)», считаем необходимым сказать, что редакция и редколлегия журнала «Русская литература» разделяют мнение участников полемики с профессором Ф. Х. Уайтом (см.: Русская литература. 2005. № 4. С. 103—114): право на медицинскую диагностику имеют не литературоведы, а медики.

<sup>1</sup> *Уайт Фредерик Х.* 1) Леонид Андреев: лицедейство и обман / Пер. с англ. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. 2004. № 69. С. 130—143; 2) «Тайная жизнь» Леонида Андреева: история болезни // Вопросы литературы. 2005. № 1. С. 323—339; *Айнгорн Л. Э., Володина О. В., Гречнев В. Я., Иезуитова Л. А., Кен Л. Н., Шишкина Л. И.* Заблуждение или обман: о так называемом сумасшествии Леонида Андреева // Русская литература. 2005. № 4. С. 103—114.

Мои достопочтенные критики, будучи специалистами по творчеству Андреева, вряд ли станут отрицать тот факт, что у Андреева была весьма непростая жизнь.<sup>2</sup> Тем не менее наше убеждение состоит в том, что ни одно из предложенных до сих пор описаний адекватно не идентифицирует источник самой проблемы. Еще в 1908 году Вацлав Воровский и Анатолий Луначарский предположили, что Андреев просто оградил ту историческую обстановку, в которой жил.<sup>3</sup> Однако готовы ли мы допустить, что человеческое сознание до такой степени определяется социумом? Георгий Чулков и Максим Горький после смерти писателя высказали идею, что его пессимизм был навеян чтением работ Артура Шопенгауэра в гимназические годы.<sup>4</sup> Впрочем, и здесь трудно согласиться с тем, что подхваченные на лету философские идеи продолжали влиять на жизнь Андреева на протяжении последующей четверти века. Павел Андреев, со своей стороны, в качестве объяснения выдвигает причины социологического толка — бедность и тяготы, вызванные вынужденной поддержкой семейства после смерти отца.<sup>5</sup> Но насколько принимает он во внимание зрелую жизнь Андреева, когда тот стал вполне состоятельным и известным? Высказывавшиеся по этому поводу обычно приводили ту или иную версию, удовлетворительно объясняющую один-два этапа в жизни Андреева, хотя очевидно, что фрагментарные толкования не способны заменить аккуратного целостного описания.

Из ранних дневников Андреева, ведшихся им в гимназические годы, нам известно, что уже тогда он бывал подвержен периодическим спадам настроения, злоупотреблял алкоголем в качестве способа самолечения от угнетенного состояния, а также страдал навязчивыми идеями, в которых доминирующую роль играли амурные связи (особо здесь стоит упомянуть Зинаиду Николаевну Сибилеву). Будучи студентом университета, Андреев продолжал испытывать приступы тяжелой де-

<sup>2</sup> Например, В. Гречнев пишет: «Пессимистические настроения, неверие в свои силы, мрачные прогнозы и высказывания Андреева отчасти могли быть объяснены одиночеством писателя. Единственно близким другом своим он считал только Горького, хотя и понимал, что они очень разные. В спорах с ним Андреев, с предельной искренностью обнажая свои взгляды, лелеял тайную мысль обратиться друга в свою веру, идейно и душевно сблизиться с ним и тем самым бросить непосильно тяжелый груз одиночества» (*Гречнев В. Жанр литературного портрета в творчестве М. Горького (Воспоминания о писателях)*. М.; Л., 1964. С. 97); Л. Иезуитова пишет: «Андреев прожил трудную жизнь. Особенно жестокими были годы детства и юности. Пьянство отца, нужда, изнуряющая повседневная борьба за кусок хлеба и за человеческое достоинство наложили отпечаток на характер писателя, болезненно чуткого, легко ранимого» (*Письма к невесте: Из неизданной переписки Леонида Андреева / Предисл. Л. А. Иезуитовой // Звезда. № 1. С. 180*). В материале, подготовленном к публикации Л. Кен, Анна Ивановна Андреева (сводная сестра Л. Андреева) пишет: «Л. Н. пьет третьи сутки. Он ходит, говорит, все время в движении. Он устал — но лечь не хочет. В борьбе с самим собой чувствует сильное нервное напряжение. И ни на минуту не замирает в нем сознание своего „я“ (...). Самыми страшными днями Л. Н. были дни отрезвления — возвращения к жизни и людям. Он пить переставал, но не выходил еще из комнаты — к нему входила только мать. Первый его выход к общему столу был тяжелым для всех, кто знал его душевное состояние. Грань отчуждения стояла между ним и всеми живущими. Он ни с кем не говорил — траур еще лежал в доме. Тягостное, давящее молчание нарушал только Павел Николаевич. Сначала резко, фальшью звучали слова о постороннем — как слова о постороннем над гробом умершего. Но врожденная деликатность Пав. Ник., его нежная любовь к брату и боль за него находили верные пути к замкнувшейся, сурово настроенной душе Л. Н. К концу обеда Л. Н. начинал разговаривать — грань отчуждения уже была разбита» (Леонид Андреев в воспоминаниях Анны Ивановны Андреевой / Публ. Л. Н. Кен // *Русская литература*. 1997. № 2. С. 85).

<sup>3</sup> *Орловский П.* [В. Воровский]. В ночь после битвы: Л. Андреев, Ф. Сологуб // О веяниях времени. СПб., 1908. С. 3—17; *Луначарский А.* Тьма // *Литературный распад: Критический сборник*. Вып. 1. СПб.: Зерно, 1908. С. 153—178.

<sup>4</sup> *Чулков Г.* Воспоминания // Книга о Леониде Андрееве. 2-е доп. изд. Берлин; Пб.; М., 1922. С. 105—124; *Andreev L.* Sashka Jigouleff / Translated by Luba Hicks. Ed. and Introduced by Maxim Gorky. New York, 1925. P. V—XI.

<sup>5</sup> *Андреев П.* Воспоминания о Леониде Андрееве // *Литературная мысль: Альманах*. Л., 1925. Т. 3. С. 140—205.

прессии; по крайней мере трижды пытался совершить самоубийство; впадал в состояние, которое один из его друзей охарактеризовал как «патологическое пьянство». <sup>6</sup> Когда Андреев, наконец, познал вкус литературной славы, сопровождавшейся финансовым успехом, казалось, что-то по-прежнему терзало его и не давало ему покоя. Как следует из воспоминаний Риммы Андреевой и Владимира Азова, в 1901 году он предпринял попытку амбулаторного лечения. <sup>7</sup> Достаточно обратиться непосредственно к сочинениям Андреева, в которых фигурируют персонажи, страдающие потерей рассудка, и в которых описаны психические заболевания, дома для умиренных и тому подобное. Частичный список включает: «Большой шлем», <sup>8</sup> «Набат», <sup>9</sup> «Мысль», <sup>10</sup> «Жизнь Василия Фивейского», <sup>11</sup> «Бездна», <sup>12</sup> «Красный смех», <sup>13</sup> «Призраки», <sup>14</sup> «К звездам», <sup>15</sup> «Рассказ о семи повешенных», <sup>16</sup> «Мои записки», <sup>17</sup> «Царь Голод», <sup>18</sup> «Черные маски», <sup>19</sup> «День Гнева», <sup>20</sup> «Gaudeamus», <sup>21</sup> «Сашка Жегулев», <sup>22</sup> «Мысль» <sup>23</sup> и т. д. На мой взгляд, тема, которой посвящен столь внушительный реестр, достойна более пристального рассмотрения. Главный вопрос стоило бы сформулировать так: почему в литературном творчестве Андреева столь притягивала тема безумия? Напомним, что уже при жизни Андреева нашлись критики, посчитавшие, что писателю с профессиональной точностью удалось в своих рассказах схватить тонкости психических расстройств. <sup>24</sup>

Смерть первой жены оказалась для Андреева сильным шоком и, как следствие, вызвала понятные переживания психологического характера. К 1908 году Андреев повторно женился и зажил новой жизнью в северной столице. Тем не менее, даже укрепив литературный успех и построив дом своей мечты в Финляндии, Андреев не узнал покоя. Здоровье его оставляло желать лучшего, болезнь служила причиной отчуждения от семейства, <sup>25</sup> в то время как сам он продолжал практико-

<sup>6</sup> Фатов Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 87.

<sup>7</sup> Андреева Р. Трудные годы // Орловская правда. 1971. 21 нояб. № 275. С. 3; Азов В. Отрывки об Андрееве // Вестник литературы. 1920. № 9. С. 5.

<sup>8</sup> Андреев Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990—1996. Т. 1. С. 149.

<sup>9</sup> Там же. С. 41—42.

<sup>10</sup> Там же. С. 382—420.

<sup>11</sup> Там же. С. 550—554.

<sup>12</sup> Там же. С. 366.

<sup>13</sup> Там же. Т. 2. С. 22—73.

<sup>14</sup> Там же. С. 74—99.

<sup>15</sup> Там же. С. 367, 370.

<sup>16</sup> Там же. Т. 3. С. 89—93.

<sup>17</sup> Там же. С. 141, 152, 154.

<sup>18</sup> Там же. С. 283—285; 291—292.

<sup>19</sup> Там же. С. 352—395.

<sup>20</sup> Там же. С. 219—221.

<sup>21</sup> Там же. С. 556, 562.

<sup>22</sup> Там же. Т. 4. С. 192—196.

<sup>23</sup> Там же. Т. 5. С. 87—134.

<sup>24</sup> Аменитский Д. Анализ героя «Мысли»: К вопросу о параноидной психопатии. М., 1915;

Иванов И. Г-н Леонид Андреев как художник-психопатолог // Вопросы нервно-психиатрической медицины (Киев). 1905. Вып. X. № 1. Январь—март. С. 72—103; Галант И. 1) Психопатологический образ Леонида Андреева. Леонид Андреев — истероневрастенический гений // Клинический архив гениальности и одаренности. 1927. Т. 3. Вып. 2; 2) Евроэндокинология великих русских писателей и поэтов. Л. Н. Андреев // Там же. Т. 3. Вып. 3; Муромцев А. Психопатические черты в героях Леонида Андреева. СПб., 1910. (Отд. оттиск Литературно-медицинского журнала); Ткачев Т. Я. Патологическое творчество. (Леонид Андреев). Харьков, 1913; Шайкевич М. Психопатология и литература. СПб., 1910; Янишевский А. Герой рассказа Л. Андреева «Мысль» с точки зрения врача-психиатра: Публичная лекция, читанная в актовом зале Казанского университета 12 апреля 1903 г. в пользу пансионата Общества взаимопомощи сельских и городских учителей и учительниц // Неврологический вестник. 1903. Т. XI. Вып. 2. Прил. С. 1—31.

<sup>25</sup> Андреев Валентин. Что помню об отце // Андреевский сборник: Исследования и материалы / Под ред. Л. Афонова. Курск, 1975. С. 234; Андреев Вадим. Детство: Повесть. М., 1963. С. 41.

вать самолечение алкоголем.<sup>26</sup> Некоторое время Андреев провел под присмотром докторов Герзони и Абрамова в Петрограде. Подавляющее большинство посмертных мемуаров о нем замечают беспокойное поведение Андреева в быту, его склонность к пьянству, мрачные настроения и многое другое в этом роде. Ясно, что друзья и коллеги чувствовали необходимость пролить свет на столь нестандартное поведение. Подчеркнем, что ни рассказ, ни письмо, ни эпизод воспоминаний, разумеется, сами по себе еще не способны служить доказательством того, что Андреев страдал хроническим заболеванием, хотя все эти факты в своей совокупности, несомненно, свидетельствуют о крайне запутанной и психологически неустойчивой жизни. Позволю себе при этом напомнить моим критикам, что родная внучка Андреева утверждает в своих мемуарах, что Андреев, вероятно, страдал маниакально-депрессивным синдромом.<sup>27</sup>

Проблемы не только терминологического характера (перевод с английского на русский язык), но и культурной рецепции возникают при одной попытке предположить, что Андреев мог страдать той или иной формой душевного расстройства. Кроме того, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что любая попытка поставить диагноз ретроспективно будет неизбежно связана с риском.<sup>28</sup> Возникают вопросы — насколько применима современная диагностическая классификация к прошлой эпохе, насколько она надежна и независима от нашей собственной социокультурной ситуации. Существующие альтернативы состоят в следующем: во-первых, можно продолжать пользоваться диагнозом, поставленным Андрееву при жизни (*острая неврастения*); во-вторых, не «именовать» его состояние вообще (что, по моему мнению, во многом и способствовало нынешней путанице) либо применить современную диагностику, но не затем, чтобы запятнать репутацию замечательного писателя, а для того, чтобы, в первую очередь, понять «надломленного и мучительно нешего жизнь»<sup>29</sup> художника. Каков бы диагноз в итоге ни получился, нельзя не признать, что некая форма заболевания повлияла на жизнь, литературное творчество и окружающих Андреева людей, вплоть до формирования посмертного образа и рецепции наследия писателя. Пытаясь подойти к решению данной задачи, я сознательно выбрал в качестве несущей методологической конструкции современное понимание психиатрической проблематики. Даже если наша классификация окажется некорректной, мне кажется гораздо более ответственным рассматривать жизнь и творчество Андреева с помощью медицинского инструментария, нежели посредством расплывчатых концепций, вроде утверждений, что в его душе царили «хаос»<sup>30</sup> или «мучительное беспокойство и какой-то бунт».<sup>31</sup>

Андреев не был, что называется, стумасшедшим, и я далек от подобного утверждения. Моя позиция выражается в стремлении прояснить патофизиологическую основу приступов мании (кстати, в этом термине нет и тени негативной коннотации на английском языке) и меланхолии Андреева, эмоциональные колебания ко-

<sup>26</sup> Беклемишева В. Воспоминания // Реквием: Сборник памяти Леонида Андреева / Под ред. Д. Л. Андреева и В. Е. Беклемишевой. М., 1930. С. 211; Леонид Андреев в воспоминаниях Анны Ивановны Андреевой. С. 85.

<sup>27</sup> Carlisle Olga Andreyev. Far from Russia. A Memoir. New York, 2000. P. 147.

<sup>28</sup> Существует довольно обширный корпус (в основном западных) исследований, объединенных единой концепцией о том, что понимание болезни — это продукт социальной и культурной конструкции самого общества. Назовем наиболее репрезентативные, на наш взгляд, работы, затрагивающие социальные аспекты этой проблемы: Ziporyn T. Nameless diseases. NJ: Rutgers University Press, 1992; Waxler N. Learning to be a leper: A case study in the social construction of illness // Social Contexts of Health, Illness, and Patient Care / Ed. by Elliot G. Mishler and Lorna Amara Singham. Cambridge, 1981; Engelhardt H. The Disease of Masturbation: Values and the Concept of Disease // Sickness and Health in America: Readings in the History of Medicine and Public Health / Ed. by J. W. Leavitt and R. L. Numbers. Madison, 1978. P. 5—19.

<sup>29</sup> Зайцев Б. Молодость Леонида Андреева // Возрождение. 1929. 24 февр. № 1362. С. 3.

<sup>30</sup> Блок А. Воспоминания // Книга о Леониде Андрееве. С. 93—104.

<sup>31</sup> Чулков Г. Воспоминания // Там же. С. 109.

торых за пределами обычно допустимого уровня позволяют причислить андреевский случай к числу «клинических».

Хорошо известно, что многие люди, подверженные подобному типу расстройств, вполне успешно продолжают функционировать как полноправные члены общества. Даже находясь в состоянии болезненно-повышенного возбуждения или прогрессирующей депрессии, они отвечают на корреспонденцию, посещают театры и участвуют в литературно-художественной деятельности. Лишь на нижнем и верхнем экстремумах протекающей болезни они могут быть выключены (и лишь на короткое промежуток времени) из нормальной общественной жизни.

Учеными установлено, что маниакально-депрессивным расстройством страдает один процент от общего населения человечества, в то время как пять процентов испытывают более или менее регулярные депрессивные приступы.<sup>32</sup> Нарушения маниакально-депрессивного характера в равной степени беспокоят пациентов обоих полов, и более трети всех зарегистрированных случаев отмечены в возрастной категории до двадцати лет. Любопытно, что подобного мнения придерживались и российские ученые — современники Андреева. В частности, видный психиатр В. М. Бехтерев в 1909 году писал: «Дело в том, что в некоторых случаях и мания, и меланхолия, развиваясь впервые в инволюционном периоде или даже в молодом возрасте, не обнаруживают никакой склонности к повторным возвратам, и случается, что больной, заболев однажды меланхолической формой, доживает до глубокой старости, не обнаружив никаких признаков возобновления психоза в последующей жизни (...) Сюда относятся такие особенности клинического течения периодических психозов, как возникновение отдельных приступов болезни без особых внешних поводов, сходство отдельных приступов в развитии и течении, повторность приступов через более или менее правильные промежутки времени, быстрое начало и быстрое обрывание приступов, относительная краткость отдельных приступов, существование коротких просветлений в течение приступов и неполнота нервно-психического здоровья в промежутках между приступами периодических форм и, наконец, существование abortивных кратковременных приступов психоза в течение так называемых светлых промежутков и т. п.»<sup>33</sup> По совпадению, Бехтерев и Андреев были соседями по Черной речке на Финском заливе.

Было бы ошибкой приклеивать каждому эксцентрику или легко поддающемуся переменам настроения человеку ярлык больного. Стоит в то же время отметить, что недавние исследования показали, что многие известные художники отвечают диагностическому критерию маниакально-депрессивного расстройства.<sup>34</sup> Кей Джеймисон поясняет: «Сумасшествие или психоз, на самом деле, представляют собой только радикальное проявление депрессивно-маниакального континуума; на деле же состояние большинства пациентов так и не перерастает в безумие. Творческая работа, проделанная больным в состоянии слабого, а иногда даже острого депрессивного эпизода, позже редактируется, когда автор возвращается к своему нормальному состоянию. Для такого человека критически важными становятся взаимодействие, напряжение и переходные периоды между фазами нормализации и обострения болезни, равно как воля и самодисциплина в периоды здорового функционирования. Именно это напряжение и транзитные состояния зачастую снабжают больного зарядом творческой энергии, из которой и рождается искусство».<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Goodwin F., Jamison K. R. Manic-Depressive Illness. New York; Oxford, 1990. P. 64.

<sup>33</sup> Бехтерев В. М. О маниакально-меланхолическом психозе // Обзорные психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1909. № 11.

<sup>34</sup> Goodwin F., Jamison K. R. Manic-Depressive Illness and Creativity // Scientific America. 1995. February. P. 64. Также см.: Ludwig A. Creative Achievement and Psychopathology: Comparison among Professions // American Journal of Psychotherapy. 1992. № 46. P. 330—356.

<sup>35</sup> Jamison K. R. Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament. New York, 1993. P. 5—6.



Следует оговорить, что быть подверженным депрессивно-маниакальному синдрому не значит для больного, что он постоянно находится в состоянии меланхолии либо крайнего возбуждения. Зачастую внешние проявления рецидива даже не заметны для окружающих или не интерпретируются ими как болезненные. Например, в периоды обострения синдрома человек может испытывать подъем настроения и завышенную самооценку. Обычно это совпадает с приливами энергии: человек более продуктивен и меньше спит. Речь его убыстряется, он возбужден, мысли перескакивают с одного предмета на другой. Убежденность в собственной правоте и непрерываемости сочетается с импульсивным и порой претенциозным поведением.<sup>36</sup> Мысли человека в это время приобретают четкость, и деятельность его, несмотря на недостаток отдыха, невероятно плодотворна, а органы чувств вдвойне восприимчивы к раздражителям.<sup>37</sup> Многие больные демонстрируют чудеса комбинаторного мышления, категоризации отдаленно связанных между собой абстрактных концепций и прочие когнитивные операции. Опыты показали, что вместе с этим повышается расположенность индивидуума к рифмовке, игре каламбурами и звуковыми ассоциациями, а также способность к решению сложных задач, кроссвордов и загадок. Необузданность и скорость ассоциаций, как и оригинальное мышление, по свидетельствам самих больных описываемым недугом, помогают им в решении различных творческих задач.<sup>38</sup>

Но, как при любой мании, человек сталкивается и с упадком душевных сил. Последний может выражаться в депрессиях, характеризующихся навязчивыми мыслями о самоубийстве, замедленной психомоторикой, самоуничижением, чувством вины, смятении, физическим утомлением, приступами патологической одержимости или иррационального страха. Депрессия в стадии психоза протекает с более серьезными побочными эффектами, например галлюцинациями.<sup>39</sup>

Тяжелые случаи депрессии осложняются периодами апатии, сонливостью (или, наоборот, бессонницей), чувством безнадежности, провалами в памяти и неспособностью сконцентрироваться на чем-то определенном; человек перестает получать наслаждение от того, что раньше обычно служило ему источником удовольствия.<sup>40</sup> В дневниках и прозе Андреева нет недостатка в описаниях, вроде цитируемого пассажа, на основании которых вполне можно предположить наличие у их автора определенного депрессивного уровня: «Опять бессмысленные, бесконечные страдания, опять бесцельные жалобы. Страшные дни, ужасные ночи, когда весь мир далек от тебя и ты один с этой безумной тоскливой головой. .... Безумная, смертная тоска. Страшно, когда на утро ожидает мучительная казнь. А быть приговоренным к мучительной жизни; жить тоскуя и плача, мучаясь, как грешник в аду; жить, сознавая всю пустоту и нелепость, бесконечную, безотрадную мучительность этой жизни, жить, все жить и жить. О, если бы умереть. Застыть в тишине и неподвижности. Не тоскует сердце, не бьются в мозгу мысли, от которых кажется разрывается голова. Страшны, мучительны эти мысли, которых нельзя передать словами. .... Да, горе бесконечно и глубоко, как море. И все глубже я погружаюсь в него и знаю, что не достал еще дно, что еще более ужасные ночи ожидают меня. .... Люди ловят надежду на жизнь, а я ишу надежды на смерть».<sup>41</sup>

Более того, результаты исследований показывают, что среди страдающих разными формами маниакально-депрессивного расстройства высок процент потребляющих алкоголь или наркотические средства. Часто зависимость от алкоголя выше у больных, находящихся не в тяжелой депрессии, а в состоянии простой эмоцио-

<sup>36</sup> Goodwin F., Jamison K. R. Manic-Depressive Illness and Creativity. P. 65.

<sup>37</sup> Ibid. P. 66—67.

<sup>38</sup> Jamison K. R. Touched with Fire. P. 107—108.

<sup>39</sup> Goodwin F., Jamison K. R. Manic-Depressive Illness. P. 37—40.

<sup>40</sup> Goodwin F., Jamison K. R. Manic-Depressive Illness and Creativity. P. 64.

<sup>41</sup> Русский Архив Лидского университета (Англия). Далее: РАЛ. MS 606\G. 8. ii.

нальной встряски. Пьянствуя, люди пытаются продлить состояние эйфории или, напротив, погрузить гиперактивную работу своего взвинченного мозга в искусственную спячку.<sup>42</sup> Злоупотребление алкоголем для многих пациентов неразрывно связано с суицидом. По словам Гудвина и Джеймисона, риск самоубийства в условиях приглушенного чувства самоконтроля особенно повышен среди больных мужского пола.<sup>43</sup> Еще раз уточним: одна из отличительных черт описываемого синдрома (отличающих его, скажем, от шизофрении — болезни хронической, при которой больной почти никогда не способен ясно и логически мыслить) в том, что его носители сочетают приступы болезни с долгими стабилизационными периодами.<sup>44</sup> Периоды запоев, обострение чувства тоски, сменяющееся повышенной веселостью, могут активизироваться, затем сходить на нет; длительность этих периодов различна в каждом индивидуальном случае.

Мои оппоненты довольно убедительно возразили на некоторые мои аргументы, часть их мне даже, как было сказано выше, придется пересмотреть. Я благодарен им за критику и еще больше заинтересован в продолжении академического диалога. В конце концов при работе с мемуаристикой, частной перепиской или дневниковыми текстами трудно полностью избежать субъективных суждений. Следует также учесть и то, что западные ученые не всегда имеют постоянную возможность доступа к архивам и российским библиотечным ресурсам, а потому открытость для сотрудничества и конструктивной критики должна лишь приветствоваться — особенно когда в оборот вводятся неизвестные до сего времени документы. В то же время можно заметить, что и мои уважаемые критики не избежали в своих интерпретациях тенденциозных оценок.

В полемическом запале они почему-то предпочитают одни мемуары другим. Скажем, о В. Б. Катониной говорится: «Что-то она видела своими глазами, что-то слышала, а чего-то недопоняла и домыслила».<sup>45</sup> На мой взгляд, то же может быть повторено о большинстве мемуарных свидетельств, и как решить, каким именно эпизодам воспоминаний следует доверять больше, а каким меньше? Похожее пренебрежение высказывается и в отношении ученых, исследовавших психологическую составную прозы и биографии Андреева. Но даже если можно не соглашаться с такими авторами, как Галант и Иванов,<sup>46</sup> следует признать, что они подняли воп-

<sup>42</sup> Jamison K. R. Touched with Fire. P. 39.

<sup>43</sup> Goodwin F., Jamison K. R. Manic-Depressive Illness. P. 226.

<sup>44</sup> Jamison K. R. Touched with Fire. P. 154.

<sup>45</sup> Айнгорн Л. Э., Вологина О. В., Гречнев В. Я., Иезуитова Л. А., Кен Л. Н., Шишкина Л. И. Заблуждение или обман: о так называемом сумасшествии Леонида Андреева. С. 105.

<sup>46</sup> Галант пишет: «Читая эти свидетельства матери о душевной жизни ее сына в ранние годы детства и отрочества, можно было бы подумать, что Леонид страдал в ранние годы жизни чуть ли не маниакально-депрессивным психозом. Это подозрение имеет тем более основание, если учесть тот факт, что состояние меланхолии у Леонида носило тяжело патологический характер, сопровождаясь чувством ужаса и напряженной работой мысли, в то время как маниакальные состояния представляли собой бурные детские возбужденности. Но, конечно, очень трудно решиться на такой диагноз, не имея в руках более точных сведений, не зная, сменялись ли состояния „меланхолии” и „мании” в строго циркулярном порядке, сколько времени продолжался и как и чем кончился этот „маниакально-депрессивный психоз”. Я скорее склонен видеть в упомянутых состояниях „меланхолии” и „мании” подчеркнутые болезненные колебания душевной жизни молодого Леонида, склонной к патологической, точнее неврастенической пассивности и слабости. (...) Что это именно так, легко узреть из всего дальнейшего развития психической жизни Леонида. „Бурные шалости” видимо играли весьма ничтожную роль в этом развитии, и одно только меланхолическое начало продолжало развиваться, принимая все новые и новые формы и углубляя свои корни во все более омрачающуюся душу Леонида» (Галант И. Психопатологический образ Леонида Андреева. С. 148); Иванов пишет: «Возникает теперь вопрос, насколько с научной точки зрения верно в деталях это произведение г. Л. Андреева! (...) На это, мне кажется, можно ответить следующим образом: я думаю, что рассказ „Мысль” по верности и реальности изложения соответствует всем требованиям современ-

рос, отмахнуться от которого, как от несуществующего в науке об Андрееве, было бы элементарно некорректно.

Коллеги Л. Э. Айнгорн, О. В. Вологина, В. Я. Гречнев, Л. А. Иезуитова, Л. Н. Кен и Л. И. Шишкина утверждают, что Андреев на самом деле никогда не писал своему другу С. С. Голоушеву о периодах депрессии и душевного упадка, однако я бы посоветовал поближе ознакомиться со следующим отрывком, который содержит признания, легко подпадающие под клинические описания маниакально-депрессивных типов, предложенные и обсуждавшиеся выше (хотя самооценка «идиот», разумеется, употреблена Андреевым здесь не в терминологическом смысле, а скорее в духе Достоевского): «Бывает: Нароботаешь, нашумишь, наболтаешь и наболтаешься, проскачешь на нервах таким галопом неделю или две — и вдруг скукишься. Так вот и сейчас. Сперва, с половины августа, бессонно и безотдышно работал, потом две недели кувырчался в Петербурге, принимая громаднейшия дозы людей и телефона, антипирина и театра. Приехал домой, все еще взбудораженный, как попугай после купанья, с пылким намерением немедленно писать огромный рассказ и огромную комедию, дня три еще форсил и брал третье до, а вот теперь — слабость и томность, как у родившей кошки. Все не нравится, ничего не хочу и не желаю, мысли выцвели и с горечью думаю, что я действительный тайный идиот». <sup>47</sup>

Критики утверждают, что обнародованная мною медицинская справка 1905 года о психическом состоянии Андреева была написана с единственной целью, чтобы вызвать писателя из тюрьмы. В качестве подтверждения они цитируют письмо Ф. А. Доброва (врача и андреевского шурина), который якобы нарочно усугубил состояние пациента в своем диагнозе. <sup>48</sup> Мне кажется вполне возможным, что Доброва, а затем и Г. И. Прибыткова действительно попросили «сгустить краски» в формулировках, но это не доказывает того, что мнение двух профессиональных медиков и медицинский сертификат сами по себе сфабрикованы. Другими словами, факт использования медицинской справки в определенных обстоятельствах (риск тюремного заключения) еще не заставляет полностью игнорировать ее прагматическое содержание. Ведь никто не станет отрицать того, что документ, подписанный независимым экспертом Г. И. Прибытковым, весьма аккуратно описывает многие симптомы (такие, как суицидальные наклонности, депрессию, алкогольные пристрастия и т. п.), наличие которых красноречиво демонстрируется в корреспонденции и дневниковых записях Андреева задолго до инцидента 1905 года.

Мне также кажется натяжкой пытаться выдвигать попытки самоубийства Андреева за знак времени. Среди российской молодежи на пороге XX века действительно существовала «мода» на самоубийство, однако неправомерно было бы относить многократные неудачные попытки человека покончить с собой исключительно к веяниям эпохи. В конце концов чего хотел Андреев — свести счеты с жизнью или просто привлечь внимание? Если последнее, то для чего? И в чем истоки его подавленности? Гораздо плодотворнее для понимания личности писателя и реконструкции его биографии было бы попытаться ответить на эти и другие вопросы, чем просто списывать суицид за счет распространенного культурного феномена.

Подведем итог рассуждениям. Задача наша не в том, чтобы доказать релевантность сути проблемы той или иной приведенной выше цитаты и отнюдь не дискредитировать предположения уважаемых коллег-специалистов по творчеству Л. Андреева. Главная цель видится мне в необходимости объяснения загадки объекта

ной психиатрии, и в этом отношении неизмеримо превышает обычные, шаблонные и полные курьезных ошибок изображения помешательств, встречающиеся даже у крупных художников» (*Иванов И. Г.-н Леонид Андреев как художник-психопатолог.* С. 100).

<sup>47</sup> РАЛ. MS 606\Ф. 24. i. (26).

<sup>48</sup> *Айнгорн Л. Э., Вологина О. В., Гречнев В. Я., Иезуитова Л. А., Кен Л. Н., Шишкина Л. И.* Заблуждение или обман: о так называемом сумасшествии Леонида Андреева. С. 105.

нашего исследования. Можно, конечно, продолжать говорить, что Андреев вел здоровую и счастливую жизнь, но для этого придется передергивать факты, закрывать глаза на многочисленные мемуары и важнейшие критические исследования, посвященные писателю. Я не первый, кто выдвинул гипотезу о том, что Андреев мог страдать душевным недугом, и, разумеется, не первый обращаю внимание на его злоупотребление алкоголем, на рецидивы самоубийства и пессимистическое мировоззрение. Попытку связать накопившиеся факты с психологическими проблемами, которые в избытке обнаруживаются в художественном мире писателя, также трудно назвать пионерской. Предлагаемое мною новшество заключается в том, что для более ясного понимания поставленных выше вопросов я использую медицинскую диагностику; таким образом, согласно идентифицируемым симптомам, Андреев может быть сегодня диагностирован как человек с выраженным маниакально-депрессивным синдромом. Если мои критики готовы предложить четкую альтернативу этой гипотезе, я буду рад продолжить начатую дискуссию. Огульное же порицание, напоминающее о не столь отдаленных временах коллективных протестов, увы, мало помогает продуктивному научному диалогу. Надеюсь, что суть предмета еще не исчерпана, я верю в то, что другие ученые присоединятся к обсуждению заявленной проблематики.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© Н. Д. Кочеткова

## ХЕРАСКОВ В «МОСКОВСКОМ ЖУРНАЛЕ» КАРАМЗИНА

В. Э. Вацуру обратил внимание на интереснейшие письма Е. В. Херасковой к И. П. Тургеневу 1795 года, в которых содержится следующий отзыв о Карамзине: «Н. М. часто бывал у нас, мы с ним гораздо больше прежнего спознакомились и более узнали цену его. Без лести сказать, что он редко хороший человек во всех отношениях; мы любим его много и очень, очень много<...>».<sup>1</sup> Как справедливо отметил В. Э. Вацуру, в отношениях с Херасковыми вполне проявилась этическая позиция Карамзина: «Разорвав идейные связи с масонскими кружками Москвы, став предметом их резкой критики, он счел необходимым почти демонстративно подчеркнуть неизменность своих личных отношений с жертвами политических преследований».<sup>2</sup> До сих пор, однако, недостаточно изучены и личные, и творческие связи Карамзина и Хераскова.

В кружке московских масонов, с которым был тесно связан юный Карамзин, авторитет Хераскова был чрезвычайно высок. Об этом свидетельствует и отзыв Карамзина в письме к И. К. Лафатеру от 20 апреля 1787 года, в котором автор «Россияды» и «Владимира» был назван «первым и лучшим» из современных русских писателей.<sup>3</sup> Позднее об этих поэмах так же высоко Карамзин отзывался во время своего пребывания в Германии в разговоре с лейпцигскими учеными, о чем сообщил в «Письмах русского путешественника» (письмо от 16 июля 1789 года): «Говоря о наших оригинальных произведениях, прежде всех наименовал я две эпические поэмы, Россияду и Владимира, которые должны имя творца своего сделать незабвенным в истории российской поэзии».<sup>4</sup>

Намерение Карамзина по возвращении из европейского путешествия издавать «Московский журнал», в котором, как говорилось в объявлении об издании, не будут помещаться «теологические, мистические, слишком ученые, педантические сухие пиесы», вызвало отрицательное отношение многих участников Новиковского кружка, прежде всего Николая Никитича Трубецкого, сводного брата Хераскова, с которым писатель был очень дружен в течение многих лет: их семьи жили в одном доме в Москве, а летом в общем подмосковном имении. После появления первой книжки журнала 20 февраля 1791 года Н. Н. Трубецкой писал А. М. Кутузову: «Касательно до общего нашего приятеля, Карамзина, то мне кажется, что <...> чужие край, надув его гордостью, сделали, что он теперь никуда не годится. <...> я его дерзновенным называю потому, что, быв еще почти ребенок, он дерзнул предложить свои сочинения публике и выдумал, что он уже автор и что он в числе великих писателей в нашем отечестве, и даже осмелился рецензию делать на „Кадыма“ <...>».<sup>5</sup> А. М. Кутузов отвечал 22 марта, вполне соглашаясь с мнением Трубец-

<sup>1</sup> Письма Н. М. Карамзина к В. М. Карамзину (1795—1798) / Публ. В. Э. Вацуру // Русская литература. 1993. № 2. С. 87.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 469. (Серия «Литературные памятники»).

<sup>4</sup> Там же. С. 66.

<sup>5</sup> Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915. С. 94—95.

кого о Карамзине: «Смешно и больно безумное его предприятие ценить книги, которых без всякого сомнения он ни мало не разумеет (...)».<sup>6</sup>

Рецензия Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония, древнее повествование», вышедший анонимно в 1789 году, появилась в самом первом январском выпуске «Московского журнала».<sup>7</sup> Это была очень серьезная статья, содержащая немало важных наблюдений. Поддерживая анонимность публикации, Карамзин не упоминал имени Хераскова, называя его «почтенным автором». Рецензент отметил в романе «прекрасные пиитические описания, любопытные завязки, интересные положения, чувства возвышенные и трогательные». Карамзин процитировал из «Кадма» высказывание, которое явно было ему очень близко: «Может быть, не важно для вас, о, вельможи! мое песнопение; может быть, и дарования мои в моем только понятии некоторую цену составляют; но для меня они важны и неоценены, ибо они блаженство моей жизни соделывают». Правда, рецензент нашел, что повествование «противно духу тех времен, из которых взята басня», а также привел некоторые неудачные выражения. Хотя общий тон рецензии был вполне почтительным, она вызвала возмущение Трубецкого и Кутузова.

Как отметил еще В. В. Виноградов, отношение далеко не всех московских маэстросов к журналу Карамзина было столь негативным.<sup>8</sup> В «Московском журнале» приняли участие такие члены Новиковского кружка, как Д. И. Дмитриевский, Ф. П. Ключарев, А. А. Петров, И. П. Тургенев. О сотрудничестве Хераскова в журнале существует свидетельство И. И. Дмитриева. Что же именно напечатал писатель в карамзинском издании? В. В. Виноградов говорил о трех произведениях Хераскова.

Бесспорна атрибуция стихотворения «Время», открывающего самую первую книжку журнала, поскольку произведение вошло в 7-ю часть «Творений» поэта. В стихотворении развиваются характерные для Хераскова мотивы противопоставления благам внешним нравственных ценностей:

О ты, который блеском мира  
И суетами ослеплен!  
Представь, что золото и порфира  
Есть жертва времени и тлен.<sup>9</sup>

Очевидно, Карамзин очень дорожил участием Хераскова, открывая этим произведением свой журнал. Маститый поэт, всегда очень доброжелательный к молодым литераторам, поддержал «дерзкое предприятие» Карамзина. Несмотря на толки, возникшие в масонском кружке после публикации рецензии на «Кадма», и откровенное возмущение брата, Н. Н. Трубецкого, Херасков не прекратил печататься в журнале.

В. В. Виноградов обратил внимание на то, что стихотворение «Время» подписано необычным для Хераскова псевдонимом: «И. К.» (чаще всего он подписывал свои публикации «М. Х.»). Эта же подпись стоит и после басни «Осел и лира», напечатанной в февральской книжке первой части журнала. В связи с этим В. В. Виноградов также атрибутирует ее Хераскову, замечая, что криптоним «едва ли можно истолковать (...) иначе, как: *Истинный каменьщик*».<sup>10</sup> О своем несогласии с таким истолкованием мне уже пришлось упомянуть в статье о двух изданиях «Московского журнала».<sup>11</sup> Разверну свою аргументацию. Херасков был человеком

<sup>6</sup> Там же. С. 106.

<sup>7</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 80—101.

<sup>8</sup> Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 249—251.

<sup>9</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 7.

<sup>10</sup> Виноградов В. В. Указ. соч. С. 249.

<sup>11</sup> Кочеткова Н. Д. Два издания «Московского журнала» Н. М. Карамзина // XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19. С. 182.

очень осторожным, особенно когда дело касалось его принадлежности к масонству. К 1791 году участники Новиковского кружка уже очень хорошо ощущали, что тучи над ними сгущаются. И. В. Лопухин свидетельствовал, что «в конце 1784 года открылись давно уже продолжавшиеся негодования и подозрения двора против нашего общества». <sup>12</sup> Во время процесса по делу Новикова в декабре 1791 года Херасков писал Г. Р. Державину: «Когда мне думать о маргинистах и подобных тому вздорах? Когда? — будучи вседневно занята моей должностью — моими музами — чтением стихотворцев, моих руководителей. Введена на меня убийственная ложь, лишающая меня чести». <sup>13</sup> Заметим, что масонские темы и мотивы в произведениях Хераскова достаточно искусно скрыты от непосвященных.

Итак, возникает несколько вопросов: что мог значить криптоним, выбранный Херасковым, как он отнесся к рецензии Карамзина и продолжал ли он участвовать в «Московском журнале» после ее публикации, учитывая, что реакция Трубецкого была ему, конечно, хорошо известна. Начнем с последнего. В. В. Виноградов предполагает, что Хераскову принадлежит прозаический этюд «Альфида», напечатанный в 4-й части журнала. К публикации сделано примечание издателя: «Хотя почтенный сочинитель и не сказывает нам своего имени, однако ж читатели легко могут его узнать по слогу пиесы». <sup>14</sup> В сочинении речь идет о пастухе Зоандре, любящем пастушку Альфиду, которая могла любить только Бога. В. В. Виноградов указывает, что публикация имеет подзаголовок: «Сочинение Х.». Однако этот подзаголовок появился лишь во втором издании «Московского журнала» (1801); в первом же издании было указано: «Сочинение Из. К\*». Точно такая же подпись сопровождает еще одну, не отмеченную В. В. Виноградовым публикацию в январской книжке за 1792 год — стихотворение «Тщета» с подзаголовком «К Г. Л.». В стихотворении опять-таки развивается одна из излюбленных тем поэта:

Все корысти в мире тленны:  
Бисер, золото, серебро.  
Делай и люби добро —  
В нем все благи заключенны. <sup>15</sup>

Принадлежность этого стихотворения Хераскову тоже подтверждается включением его в «Творения» (часть 7). Подзаголовок нетрудно расшифровать: «К господину Лопухину». Известно, что Херасков был в самых дружеских отношениях с И. В. Лопухиным, который очень высоко ценил творчество поэта. Их связывали не только масонские интересы. Свой перевод «Речи, говоренной в академии французской...» А. Тома (1782) Лопухин посвятил «почтенному творцу бессмертных Россияды». Самый факт, что стихотворения «Время» и «Тщета» впоследствии вошли в «Творения», куда взыскательный автор включил очень немногое из своих журнальных публикаций, показателен: для Карамзина поэт дал не случайные вещи, но те, которыми он дорожил. Подпись Хераскова «Из. К\*» явно соотносится с его криптонимом «И. К.»: и то и другое можно расшифровать как «Издатель Кадма», что для Карамзина могло быть знаком благосклонного отношения писателя к молодому рецензенту.

Итак, Херасков продолжал сотрудничать в «Московском журнале» после появления рецензии Карамзина независимо от реакции на нее других масонов, даже любимого брата Трубецкого. Контакты Хераскова с издателем «Московского журнала» не прерывались. Еще 23 апреля 1791 года Карамзин писал И. И. Дмитриеву,

<sup>12</sup> Записки сенатора И. В. Лопухина. М., 1990. С. 26.

<sup>13</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1876. Т. 5. С. 828.

<sup>14</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 4. Кн. 3. С. 258.

<sup>15</sup> Там же. 1792. Ч. 5. Кн. 1. С. 5.

что Х. «все обещает» участвовать в журнале, а «теперь он переделывает своего „Владимира” и прибавляет 10 песней новых».<sup>16</sup> Вскоре после этого Херасков и прислал свои сочинения «Альфида» и «Тщета». При публикации стихотворения «Тщета» в издательском примечании вновь говорилось: «Почтенный сочинитель обещает и впредь присылать к издателю Московского журнала некоторые из новых своих творений».<sup>17</sup> В июле 1792 года Карамзин передавал Дмитриеву хвалебный отзыв Х. о его песне «Стонет сизый голубочек...», называя ее «прекраснейшей пиейсой». Между тем в это время уже полным ходом шел процесс по делу Новикова и его «злых товарищей», как выразился ведший расследование А. А. Прозоровский, — Трубецкого и Лопухина. Известная угроза нависла и над Карамзиным, смело заступившимся в оде «К Милости» за обвинявшихся, и еще в большей степени над Херасковым, которого давно уже хотели «отставить от университета». Общие волнения и тревоги еще больше сблизили их.

К рецензии же молодого критика Х. отнесся со вниманием и спустя много лет в предисловии к 3-му изданию писал: «Замеченные ошибки одним рецензентом в Кадме — оные признаю справедливыми. Некоторые мною поправлены, а прочие оставлены по прежнему изданию; к ним уже привыкли. Впрочем, я опасался, желая сделать лучше, не сделать хуже (...).»

Свидетельством того, что у Карамзина и Хераскова в период издания «Московского журнала» сохранялись постоянные контакты, служит еще один интересный факт, имеющий отношение к тексту «Писем русского путешественника». В одном из швейцарских писем, опубликованных на страницах журнала, путешественник рассказывает, как он слушал проповедь в кафедральной церкви: «Проповедник был распудрен и разряжен; в телодвижениях и в голосе актерствовал до крайности. Все поучение состояло в высокопарном пустословии, а комплимент начальникам и всему красному городу Лозане был заключением. Я посматривал то на проповедника, то на слушателей; вообразил себе нашего П\*, Знам. священника, Лафатера — пожал плечами и вышел вон».<sup>18</sup> Этот отрывок в тексте «Московского журнала» имеет разночтение, не отмеченное в самом авторитетном издании в серии «Литературные памятники» (1984) и соответственно никак не прокомментированное: вместо «Знам. священника» было «Греб. священника».<sup>19</sup> Немецкий исследователь Х. Роте в своем фундаментальном труде, посвященном Карамзину, обратил внимание на разночтение и попытался его объяснить.<sup>20</sup> По мнению ученого, «Знам.» — это, конечно, «знаменитый» — определение к имени, скрытому под буквой «П», т. е. знаменитый проповедник митрополит Платон. При этом совершенно непонятным осталось для исследователя сокращение в «Московском журнале» — «Греб. священника». Однако эту загадку нетрудно разгадать. Известно, что у Хераскова и Трубецкого было имя Гребенево (Гребнево). Бывавший там Г. Р. Державин написал знаменитое стихотворение «Ключ», в котором восхвалялся «творец бессмертной Россияды» и «священный Гребеневский ключ».<sup>21</sup> Н. И. Новиков в своих письмах к Я. И. Булгакову просил передавать привет «Гребеневским», т. е. Трубецким и Херасковым. Итак, совершенно очевидно, что в «Письмах русского путешественника» «Греб. священник» означает «гребеневский священник», хорошо известный многочисленным гостям Хераскова, среди которых был и Карамзин. Последующий вариант — «Знам. священник» — может быть соответственно расшифрован

<sup>16</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 17—18.

<sup>17</sup> Московский журнал. 1792. Ч. 5. Кн. 1. С. 3.

<sup>18</sup> Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 154—155.

<sup>19</sup> Московский журнал. 1792. Ч. 6. Кн. 1. С. 52—53.

<sup>20</sup> Rothe H. N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Berlin; Zürich, 1968. S. 162.

<sup>21</sup> Санктпетербургский вестник. 1779. Ч. 4. Октябрь. С. 267; перепечатано: Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. 3.



не как «знаменитый», а как «Знаменский священник», поскольку известно, что Карамзин много времени проводил в Знаменском, орловском имении своих ближайших друзей Плещеевых, также тесно связанных с масонским кружком. Писатель внес это изменение в отдельное издание «Писем», посвященное Плещеевым (1797. Ч. 1). Все это были реалии, хорошо понятные литераторам той поры, близким к Новиковскому кружку. Упоминание «Гребеневского священника» в «Московском журнале» — это еще одно свидетельство тесных контактов Карамзина и Хераскова в 1791—1792 годах. Вполне закономерно, что автор «Кадма» принял участие и в альманахе Карамзина «Аглая», состоявшем в основном из произведений самого издателя, позднее и в поэтической антологии «Аониды». Творческие связи двух писателей — большая и интересная тема, которая ждет своего исследования. Этическая позиция Хераскова в не меньшей степени заслуживает внимания и уважения, чем этическая позиция Карамзина, о которой так хорошо написал В. Э. Вацуро.

© *Илья Серман (Израиль)*

### ЗАГАДКА КРЫЛОВА

В 3-м Лотмановском сборнике вновь поставлен вопрос, над разрешением которого трудится уже несколько поколений исследователей Крылова: «...как только речь заходит о бытовых чудачествах Крылова, ставших притчей во языцех и основой множества исторических анекдотов, его образ начинает как бы двоиться. В контексте расхожих представлений о невоздержанности Крылова в еде неожиданным выглядит замечание Булгарина о том, что он был „разборчивым гастрономом“; известно также, что он любил лакомиться устрицами, хотя прилюдно демонстрировал страсть к обильной и тяжелой русской кухне. (...) Из безобидных чудачеств и житейской мудрости и сложилась маска добродушного творца дидактических миниатюр. До сих пор не только в массовом сознании, но и в восприятии специалистов баснописец остается практически тем же „дедушкой“ Крыловым, каким он виделся современникам. Непроницаемая литературность этого образа постепенно превратилась в подобие раковины, надежно защищающей своего хозяина и в то же время изолирующей его от внешнего мира».<sup>1</sup> Удивительна теперь почти двухвековая устойчивость этого образа, над разгадкой которого трудились, хотя и без положительных результатов, поколения литераторов, начиная с его современников.

Интересно проследить, когда сложилось такое мнение о нем. В сорок лет он уже получил репутацию «чудака». Об этом говорили не только недруги, но и друзья. В 1809 году Батюшков, любивший Крылова и восхищавшийся им, писал 1 ноября Гнедичу: «Крылов родился чудачком. Но этот человек загадка, и великая! (...) Играть и не проигрываться, скупость уметь соединить с дарованиями, и редкими, ибо если б он более трудился, более занимался... Но я боюсь рассуждать, чтоб опять не завраться».<sup>2</sup> При этом следует повторить, что Крылов сам как бы «работал» над созданием образа чудака и ленивца. Он охотно распространял о себе анекдотические рассказы и по мере возможности держался привычного и всем известного образа жизни. Вышеприведенные слова Батюшкова еще и потому могут показаться неожиданными, что именно в это время Крылов появился в новом виде, как баснописец, т. е. в 1808—1809 годах он усиленно работал над баснями и выпустил в 1809 году их первый сборник.

<sup>1</sup> *Лямина Е., Самовер Н.* Поэт на балу // Лотмановский сборник. М., 2004. С. 158—159.

<sup>2</sup> *Батюшков К. Н.* Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 108.

Как на фоне такой усиленной работы создавался образ Крылова — неряхи и обжоры? Кому принадлежит инициатива этого вымысла? Кому он понадобился? Естественно, возникает предположение, что это дело литературных врагов.

В дневнике Жихарева 10 февраля 1807 года записаны стихи Д. И. Хвостова о Крылове, в которых он впервые предстает в образе, ставшем позднее стереотипным:

Небритый и нечесаный,  
Взвалившись на диван,  
Как будто неотесанный  
Лежит совсем разбросанный  
Зоил Крылов Иван:  
Объелся он иль пьян?<sup>3</sup>

Известны ли были эти стихи Батюшкову, когда он писал свое «Видение на берегах Леты»? Возможно, что он их знал — об этом говорит очевидное сходство образа Крылова в «Видении на берегах Леты» и в стихах Хвостова:

Тут тень к Минусу подошла  
Неряхой и в наряде странном,  
В широком шлафроке издранным,  
В пуху, с нечесаной главой,  
С салфеткой, с книгой под рукой.<sup>4</sup>

В эпоху исповедей, записок, путешествий, когда рассказ о себе самом стал неременной принадлежностью большинства литературных жанров, в первую очередь прозаических, но не в меньшей степени и стихотворных, басни Крылова, вместо того чтобы показать или хотя бы намекнуть на душевную жизнь автора, ее закрывали, прятали, таили.<sup>5</sup> Возможна и другая точка зрения на элементы исповедальности в это время. По мнению В. Э. Вацура, «русская проза двадцатых и даже тридцатых годов — еще не психологическая проза». Душа человеческая, как утверждает исследователь, «еще частное дело, область эмпирического быта, еще не вызванная к жизни литературным сознанием».<sup>6</sup> И все же Батюшков, вопреки мнению авторитетного исследователя, пишет Гнедичу пространные письма, в которых «исповедуется» в своих литературных, философско-исторических и иных увлечениях, т. е. потребность разделить с другом заботы своего духа уже утвердилась если не в литературном сознании эпохи, то в сознании литераторов-поэтов.

Новое начало литературной деятельности Крылов осуществил в таком возрасте, когда, как правило, ее полагалось кончать. Характерно для возрастных критериев эпохи суждение Пушкина: «*Ноты русской истории* свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен, и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».<sup>7</sup> Как заметил В. Э. Вацура об Измайлове, «в описываемое время (в начале 1820-х годов. — И. С.) ему было около сорока лет. Это была уже почти старость: в „Притворной неверности“ Жандра и Грибоедова осмеивался „старый франт“, который пытается волочиться „с лишком в сорок лет“».<sup>8</sup>

Карамзин «постригся в историки», как он сам говорил, в 1803 году, т. е. на исходе четвертого десятка жизни. Его друг и единомышленник Дмитриев закончил свою литературную деятельность в 1803—1805 годах, т. е. на пятом десятке

<sup>3</sup> Жихарев С. П. Записки современника. Л., 1989. Т. 2. С. 129—130.

<sup>4</sup> Батюшков К. Н. Соч. Т. 1. С. 376—377.

<sup>5</sup> Серман И. Э. Крылов-баснописец // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975. С. 223.

<sup>6</sup> Вацура В. Э. С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской эпохи. М., 1989. С. 39.

<sup>7</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 8. С. 67.

<sup>8</sup> Вацура В. Э. С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской эпохи. С. 39.

лет. Крылов сменил драматургию, так удачно им разработанную в 1805—1807 годах, на басенное творчество в 1808 году, т. е. тогда, когда и Карамзин и Дмитриев из литературы ушли, а ему было около сорока! Это был не просто переход к другому жанру, это был решительный шаг в другую область литературы, со своими законами и традициями. Это был смелый шаг в другую эпоху.

В это время можно даже отметить некоторую нерешительность Крылова — так в «Драматическом вестнике» он печатает басни и среди них рецензию на драму П. И. Сумарокова «Марфа Посадница», т. е. как бы сохраняет свое отношение к театру, хотя и косвенное.<sup>9</sup>

В числе его драматургических опытов, написанных на рубеже двух столетий, кроме «Подщипы», памфлетность которой очевидна, есть еще две комедии, о направленности их как будто не спорят: в «Пироге» видят, и вполне основательно, антисентименталистскую комедию, а в незаконченном «Лентяе» — антидворянскую сатиру. Как верно указал Фомичев, «в „Подщипе” Крылов показывает героев в их плотской сущности. Доминирующим мотивом пьесы является мотив обжорства и его последствий. (...) Любое событие в восприятии действующих лиц соотносится именно с пищей».<sup>10</sup>

В другой комедии, написанной в это же время, «в основе интриги лежат не какие-то чрезвычайные события или разоблачения, а обыкновенное и очень натуральное происшествие — слуги съели начинку пирога».<sup>11</sup> Вся комедия вертится вокруг наполовину съеденного пирога. Он в центре сценической интриги. Незаконченная комедия «Лентяя» получила незаслуженно высокую оценку в монографии Коровина: «Лелеемая Лентулом лень обогащена новой гранью: она осознана социальной „болезнью”, „недугом” дворянской молодежи, переживающей глубокий духовный кризис. Эта молодежь не приемлет мелкой суеты, связанной с поисками доходного местечка, удачной женитьбы, высокого покровительства. (...) В результате он отказывается от всякой деятельности. Крылов подметил „недуг”, который затем паразит пушкинского Онегина».<sup>12</sup> Увлеченный сомнительной аналогией с Онегиным исследователь забыл, что Лентул просто спит все время и никакого протеста, никакого недовольства жизнью он не проявляет.

Интересно, что «Подщипа» вновь приобрела актуальность и почти злободневность в кругу читателей вольных рукописей. По воспоминаниям Свербеева, в салоне Пономаревой Гнедич «в другой раз по просьбе всех прочел он нам остроумную комедию Крылова, которая тогда только что появилась в рукописи и, как переполненная злой иронией над правительством и высшим обществом, никогда не могла быть напечатана».<sup>13</sup> Мемуарист ошибается, датируя «Подщипу» началом 1820-х годов. Как поясняет Вацуро, «„Подщипа”, написанная еще в павловское царствование... была, конечно, запретным чтением; за нее однажды исключили из корпуса трех кадетов, однако, в 1816—1817 годах ее ставят на сцене петербургского театрального училища, и будущая знаменитость петербургской трагической сцены — В. А. Каратыгин — играет Трумфа».<sup>14</sup>

Чтение это происходило, возможно, в 1822 году, т. е. тогда, когда Трумф своей сатирой на фронтонию и шагистику вновь стал злободневным явлением, и, видимо, не без помощи автора, его мог получить, конечно в рукописи, Гнедич.

Никчемные ссоры из-за недоеденного пирога или беспробудный сон Лентула — это еще безвредные слабости, хотя и достойные осмеяния. Позднее, в баснях,

<sup>9</sup> *Альшуллер М. Г.* Крылов в литературных объединениях 1800—1810-х годов // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. С. 154.

<sup>10</sup> *Фомичев С. А.* Драматургия Крылова начала XIX века // Там же. С. 133.

<sup>11</sup> *Коровин В.* Поэт и мудрец. М., 1996. С. 229.

<sup>12</sup> Там же. С. 233.

<sup>13</sup> Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. М., 1899. Т. 1. С. 228.

<sup>14</sup> *Вацуро В. Э. С. Д. П.* Из истории литературного быта пушкинской эпохи. С. 29—30.

Крылов выступает строгим судьей человеческих слабостей, которые в его изображении превращаются в пороки, распространенные во всех сословиях русского общества — от «корней» до «листьев». Что вдохновляло Крылова так строго мерить наблюдаемую им жизнь? Откуда он брал критерий? Стоит задуматься над тем, что люди XVIII века не любили рассказывать о себе и своих впечатлениях в 1820-е или 1830-е годы. Возможно, что было небезопасно об этом говорить. В самом деле, Юсупов мог вспомнить только непристойный каламбур Фонвизина,<sup>15</sup> хотя в его памяти могли жить и более острые, но потому нежелательные шутки его русских и французских знакомых. Ведь русская придворная жизнь XVIII века содержала в себе множество соблазнительных эпизодов, о которых говорилось неохотно и вполголоса. На этом фоне характерно то увлечение, с которым Пушкин записывал рассказы Загряжской. Русский восемнадцатый век оставался закупоренным, и только в мемуарах иностранцев о нем возникала его история, становившаяся по-настоящему доступной только во второй половине XIX века.

О скрытности людей XVIII века, об их отчужденности от новых поколений по собственным наблюдениям написал Герцен, которому пришлось жить близко с человеком XVIII века: «Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями ренегатства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в „окно“ гильотины. (...) В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного влияния, не вышли историческими людьми, а — людьми оригинальными».<sup>16</sup>

О своем отце, который, по его убеждению, принадлежал к категории людей «оригинальных», Герцен писал, так объясняя его характер: «Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. (...) Он уважал, правда, Державина и Крылова; Державина за то, что написал оду на смерть его дяди, князя Мещерского, Крылова за то, что вместе с ним был секундантом на дуэли Н. Н. Бахметева. (...) Людей он презирал откровенно, открыто — всех... он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное, и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит...»<sup>17</sup>

Мне кажется, что все эти наблюдения мемуариста над людьми прошлого столетия имеют прямое отношение к Ивану Андреевичу и к тому, что казалось странностями его поведения и привычек. Убежденность отца Герцена в том, что «всякий человек способен на все дурное», представляет вариацию гельвецианского разумного эгоизма, а «Письмо о пользе страстей», написанное Крыловым в 1805 году, в смягченном виде высказывает то же представление о человеке, которое разделял отец Герцена, русский дворянин Яковлев, не литератор, но мыслящий человек:

И что тогда лишь люди стали жить,  
Когда стал ум страстям людей служить.<sup>18</sup>

Одно случайное обстоятельство помогло Герцену хоть отчасти проникнуть в закрытые от него тайны молодости его отца. По приезде в Петербург Герцен должен был отвезти письмо отца Ольге Александровне Жеребцовой, сестре последнего фаворита Екатерины II Зубова. Нудная, как предполагал Герцен, старуха оказалась женщиной удивительной судьбы и замечательного характера. Пересказывая Тьера, Герцен так излагает рассказ о молодости Жеребцовой: «Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется убитого во время войны, страстная и деятельная

<sup>15</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1941. Т. XIV. С. 142—143.

<sup>16</sup> Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1946. С. 45—46.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Крылов И. А. Полн. собр. соч. М., 1946. Т. III. С. 308.

натура, избалованная положением, одаренная необыкновенным умом и мужским характером, она сделалась средоточием недовольных во время дикого и безумного царствования Павла. У нее собирались заговорщики, она подстрекала их, через нее шли сношения с английским посольством. Полиция Павла заподозрила ее, наконец, и она, вовремя извещенная, может быть самим Паленом, успела уехать за границу».<sup>19</sup> И далее Герцен судит о Жеребцовой, как о человеке XVIII века, как о современнице своего отца: «Странная оригинальная развалина другого века, окруженная выродившимся поколением на бесплодной и низкой почве петербургской придворной жизни, она чувствовала себя выше его и была права. (...) Ее ошибка состояла не в презрении ничтожных людей, а в том, что она принимала произведение придворного огорода за все наше поколение».<sup>20</sup>

Как отец Герцена, как Ольга Александровна Жеребцова, Иван Андреевич Крылов был человеком прошлой эпохи, о которой не любили или не хотели вспоминать ее современники. Он попал в салон Оленина уже сложившимся человеком. А вся сложность его натуры, прикрытая анекдотическими подробностями, объяснялась тем, что он был человеком XVIII века, которому надо было найти свое место (не в смысле службы) и положение в новом и чужом ему, современнику Французской революции, новом веке. Вот сохранились случайные отрывки из воспоминаний Крылова о своей литературно-журнальной деятельности. Быстров так рассказывает о появлении этого мемуарного воспоминания: «Однажды я принес к Ивану Андреевичу „Зрителя“ и „Меркурия“, в коих находились... статьи его. Иван Андреевич хорошо помнил свое прошедшее время, но захотел снова прочесть прежние свои сочинения в стихах и прозе. Между тем я обратил внимание его на стихи „К счастью“: „Иван Андреевич, за что вы пеняете на фортуна, когда она так милостива к вам?“ — „Ах, мой милый, со мной был случай, о котором теперь смешно говорить; но тогда... я скорбел и не раз плакал, как дитя... Журналу не повезло; полиция и еще одно обстоятельство... да кто не был молод и не делал на своем веку проказ...“»<sup>21</sup>

По-видимому, эти слова были сказаны где-то в начале 1830-х годов, т. е. через несколько десятков лет, может быть через сорок лет... И это все или почти все, что вспомнил Крылов о своей литературной молодости! Любопытно, что так же немногословен оказался Юсупов, когда Пушкин просил его вспомнить остроты Фонвизина.

Десять лет жизни Крылова, с 1793 по 1803 год, когда он в конце концов переиздал «Почту духов», были полны различных обстоятельств, подчиняясь которым Крылов должен был надевать на себя личину или маску.

Нам известны только три, да и то чрезвычайно кратких, мемуарных высказывания Крылова в ответ на вопросы его молодого сослуживца Быстрова: «Помнится, мой милый, что раз поссорились мы с Рахмановым за то, какое название дать журналу... Пельский, кажется, помирил нас... Ну, Рахманов хорошо был учен: знал языки, историю, философию... Он давал нам материалы... После еще ближе сошелся я с Клушиным... Он был умный, услужливый человек... мы с ним много писали в тогдашних журналах...»<sup>22</sup>

В разговоре с Жихаревым Крылов вспомнил Клушина: «„Он точно был умен... и мы с ним были искренними друзьями до тех пор, покамест не пришло ему в голову сочинить оду на пожалование Андреевской ленты графу Кутайсову...“ — „А там поссорились?“ — „Нет, не поссорились, но я сделал ему некоторые замечания на счет цели, с какою эта ода была сочинена, и советовал ее не печатать из уважения к самому себе. Он обиделся и не мог простить мне моих замечаний до самой своей смерти, случившейся года три назад“».<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Герцен А. И. Указ. соч. С. 235.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 237.

<sup>22</sup> Там же. С. 236.

<sup>23</sup> Там же. С. 114.

Как сообщает «Сводный каталог русской книги XVIII века» (М., 1975. [Т. VI]. С. 72), это была «Ода на пожалование ордена св. апостола Андрея его сиятельству графу Ивану Павловичу Кутайсову» (СПб., 1800). Репутация Кутайсова при Павле была достаточно известна, и потому ода в его честь должна была возмутить Крылова, в отличие от Клушина, не сделавшего в павловское время служебной карьеры.

Скрытность Крылова, его скупость в рассказах о своей литературной молодости, о целом десятилетии его жизни, требует объяснения. Если оно будет найдено, то, может быть, разъяснится и «загадка» Крылова, о которой с таким изумлением писал Батюшков, а за ним и почти все мемуаристы.

«Авторы воспоминаний нередко буквально повторяют одни и те же анекдоты, одними и теми же словами описывают характерные черты облика и поведения знаменитого баснописца. (...) Такое „однообразие“ воспоминаний весьма характерно и многозначительно. Похоже, что речь идет не о живом человеке, изменчивом и многообразном, но о литературном персонаже или театральной роли».<sup>24</sup>

Иногда Крылов прорывался сквозь привычную маску и высказывался откровенно и неожиданно. Сосед и собеседник Крылова Гнедич записал для себя, имея в виду Крылова: «Есть люди (и таков мой почтенный сосед), которые, не имея понятия об лучшем состоянии общества или правительства, с гордостью утверждают, что иначе и быть не может. Они согласны в том, убеждаясь очевидностями, что существующий порядок соединен с большим злом; но утешают себя мыслью, что другой порядок невозможен. — Соседу моему вспоминал я того императора японского, который едва не умер со смеху, когда ему рассказывали об образе правления в Голландии. Но сосед остался непоколебим, как ирокезец, который понять не может, что можно было побеждать врагов, не жаря пленных».<sup>25</sup> Этот разговор, может быть и повторявшийся, вероятнее всего можно предположительно приурочить к середине 1820-х годов, так как сон Гнедича о Батюшкове, которым почти завершается «Записная книжка», имеет дату: «1827. Марта с 18 на 19-е».

Есть два эпизода в биографии Крылова, которые как будто противоречат его позиции в разговоре (или разговорах?) с Гнедичем.

О первом эпизоде я написал еще в статье 1938 года, но о нем почему-то не упоминал ни один из тех, кто писал после меня о Крылове. Привожу свой тогдашний текст: «Есть обстоятельства, которые в новом свете представляют отношение Крылова к декабризму, к деятельности тайных обществ. Биографы и исследователи крыловского творчества, увлеченные желанием доказать общественный индифферентизм его в пору зрелости, не обращали никакого внимания на следующий факт. В „Сыне Отечества“ за 1819 г. ч. 53, XIV, стр. 90 помещено следующее извещение: „Общество взаимного обучения... (...) В заседании общества, бывшем 10 февраля, избраны на основании параграфа 8 устава большинством следующие члены управляющего комитета: ...помощники председателя: Ф. Н. Глинка и Н. И. Греч... Секретарь по иностранной переписке В. К. Кюхельбекер. Следующие члены общества на основании параграфа 16 устава изъявили желание свое содействовать трудам комитета... гвардии капитаны: князь Сергей Петрович Трубецкой и Андрей Яковлевич Вакомут. Гвардии штабс-капитан Иван Григорьевич Бурцев, гвардии поручик Никита Михайлович Муравьев и коллежский асессор Иван Андреевич Крылов”. Далее в числе действительных членов-жертвователей указаны, между прочим: М. Н. Муравьев, А. М. Муравьев, К. А. Охотников, В. К. Кюхельбекер, В. А. Жуковский, П. И. Колошин и И. А. Крылов».<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Гордин А. М., Гордин М. А. Крылов: реальность и легенда // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 24.

<sup>25</sup> Цит. по: Тиханов П. Николай Иванович Гнедич. СПб., 1884. С. 56—57.

<sup>26</sup> Серман И. Басни Крылова и общественное движение его времени // Учен. зап. ЛГУ. 1939. № 33. С. 102.

Не считаю нужным приводить какие-либо доказательства причастности «Общества взаимного обучения» к политической пропаганде среди солдат, она известна, а степень участия Крылова в этой работе говорит сама за себя. Хочу указать на еще одно незамеченное исследователями «декабристское» знакомство Крылова: сын его покровителя и начальника по Публичной библиотеке Оленина — Алексей Алексеевич Оленин, прапорщик Генерального штаба, член Союза Благоденствия. Таким образом, в салоне Олениных вполне возможна была вольнодумная струя.

Лобанов с явной неохотой сообщает в своей биографии Крылова следующий факт, который, кстати сказать, цензура долго не пропускала в печать: «В 14-е число, в день страшный и священный для России, поутру, ходя по залам императорской Публичной библиотеки и радуясь вместе с Иваном Андреевичем о благополучном воцарении императора Николая, вдруг слышим от прибежавших людей о тревоге, нарушившей столь священное торжество. Пораженные и изумленные такой нечаянностью, по естественному любопытству, отправились мы с Иваном Андреевичем на Исаакиевскую площадь. Видели государя на коне перед Преображенским полком, потом прошли по бульвару, взглянули издали на мятежников, и тут-то Иван Андреевич исчез. Вечером того дня, собравшись в доме А. Н. Оленина, мы передавали друг другу виденное и слышанное, каждый новый человек приносил какие-нибудь слухи и известия. Является Иван Андреевич. Подсевши к нему, я спрашиваю: „Где Вы были?“ — „Да вот я дошел до Исаакиевского моста, и мне крепко захотелось взглянуть на их рожи, я и пошел к Сенату и поравнялся с их толпою. Кого же я увидел? Кюхельбекера в военной шинели и с шпагой в руке. К счастью моему, он стоял ко мне профилем и не видел меня. Я тотчас назад...“ — „Ну, слава Богу! А ведь им легко было бы схватить Вас и силой втащить в их шайку“. — „Да как не легко? А там поди после оправдывайся, а позору-то натерпелся бы“». <sup>27</sup>

Этот обмен репликами производит впечатление благонамеренной выдумки Лобанова. Дочь Оленина иначе излагает этот эпизод, по-видимому со слов самого Крылова: «Крылов 14 декабря пошел на площадь к самым бунтовщикам, так что ему голоса из каре закричали: „Иван Андреевич, уходите, пожалуйста, скорей!“ И когда он воротился в батюшкин дом, его спросили, зачем он туда зашел, он отвечал: „Хотел взглянуть, какие рожи у бунтовщиков... Да, не хороши, нечего сказать“». <sup>28</sup>

Из сопоставления этих двух свидетельств становится очевидно, что Лобанов испугался, не дошел до площади, а Крылов смело дошел и увидел там своих хороших знакомых. И конечно, не мог иначе о них высказаться: не хватить же их было в доме Оленина. О том, что Лобанов был заинтересованным свидетелем события 14 декабря 1825 года и последующего процесса свидетельствует то, что в его архиве «сохранилась полная подборка вырезок из газет и других печатных изданий о деле 14 декабря — процессе над декабристами». <sup>29</sup>

Поведение басенных персонажей у Крылова определяется тем самым качеством, которое подозревал в каждом другой человек XVIII столетия — отец Герцена, тогдашний приятель Крылова. В основе отношений басенных персонажей лежит, как правило, обман, жульничество, корысть, неоправданная скупость или в такой же степени неоправданный расчет. Мир крыловских басен — это мир обмана, корысти или глупости. Последняя, с точки зрения Крылова, относится к неисправимым качествам человека и служит только подспорьем обманщикам.

В 1825 году в «Полярной звезде», декабристском альманахе, где были напечатаны такие басни Крылова, как «Крестьянин и Овца» (1823), «Мельник» и «Ворона» (1825), в статье Бестужева сказано явно и категорически: «...его каждая басня —

<sup>27</sup> И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 72—71.

<sup>28</sup> Там же. С. 146.

<sup>29</sup> Эйдельман Н. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 77.

сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия» («Взгляд на старую и новую словесность в России». «Полярная звезда на 1823 год»).

В сатирической направленности и была поэтическая новизна, которую ни за что не хотел признать Вяземский и разделявшие его взгляды члены «Арзамаса». Нам могут возразить — ведь не в каждой басне могли современники увидеть политическую сатиру, которую легко можно было увидеть, например, в басне «Мот и ласточка», где «северная глушь» и «морозы» в декабре 1818 года намекали на несбывшиеся надежды, порожденные весенней речью Александра I в польском сейме.

В басне «Воспитание льва» в издании 1819 года Крылов хотел было поместить следующие строки:

А ложь в устах царя гнусна  
И должен слово царь хранить ненарушимо.<sup>30</sup>

Эта редакция была отброшена автором с такой припиской — «не нужно». По-видимому, самому Крылову эти строки показались нецензурными по своей откровенности.

Есть у Крылова басня «Два мужика», сюжет которой полон горькой иронии: оба ее «героя» сами виноваты в своих несчастиях, но в басне есть авторское заключение, которое подымает рассказанную в ней как будто банальную историю на общечеловеческий уровень. Оба пострадавших жалуются на Бога, в котором видят виновника своих бед: «Бог посетил меня», — говорит Фаддей. «И на меня прогневался, знать Бог», — говорит Егор. А «сват Степан», которому жалуются оба (и погорелец, и калека) видит в их несчастиях «не чудо», а следствие собственной неосторожности, собственного нерадения, собственной глупости в конечном счете.

Некоторые басни Крылова при более внимательном учете обстоятельств, сопровождающих их появление, позволяют понять истинные убеждения баснописца, как бы лишенного интереса к литературной злобе дня.

В обстоятельном исследовании В. Э. Вацуро прослежена отечественная полемика вокруг пушкинского «К вельможе», полемика, в которой оказались союзниками Полевой, Булгарин и Надеждин: «Бурные споры о послании „К вельможе“ начали затихать в русской критике после 1831 года. Перепечатанное в „Стихотворениях“ 1832 г., оно уже не вызвало столь живого обсуждения. (...) Ф. Булгарин в 1833 г., возражая недавним (в том числе, очевидно, и своим собственным) суждениям о „падении таланта“ Пушкина, замечал, однако: „Правда, что надобна была сильная вера в сие дарование, чтоб не усомниться в его упадке после такой пьесы, какова, например, „Послание к князю Юсупову“».<sup>31</sup>

В 1833 году, когда еще появлялись в критике отголоски полемики по поводу пушкинского послания, Крылов, как я предполагаю, захотел высказать и свою реплику в споре не столько о послании, сколько о его адресате — Юсупове. В полемических статьях и фельетонах Пушкина обвиняли в поэтическом низкопоклонстве перед совершенно недостойным человеком, погрязшим в старческом разврате. Крылов, который был в курсе полемики, высказал в басне «Вельможа» свое мнение об адресате послания, конечно не буквально, а обобщенно. Зная, что Юсупов, как сенатор, главноначальствующий Оружейной палатой и театральными делами, очень мало занимался всеми своими обязанностями, Крылов следовал не столько Пушкину, сколько Державину в его оде «Вельможа». Державин издевается над вельможей, который только роскошествует, в то время как его должность требует от него полезной деятельности. Ода Державина — сатирическая, и он некоторое время скрывал свое авторство. Крыловская басня о вельможе построена на том тезисе, что бездеятельность вельможи может быть только полезна, а попытка что-либо де-

<sup>30</sup> Крылов И. А. Басни. М.; Л., 1956. С. 377.

<sup>31</sup> Вацуро В. Э. «К вельможе» // Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 182—183.



лать будет пагубна. Адский судья так положительно оценивает бездеятельность покойного вельможи:

Не знаешь дела ты никак.  
 Не видишь, разве, ты? Покойник — был дурак!  
 Что, если бы с такую властью  
 Взялся он за дела, к несчастью?  
 Ведь погубил бы целый край!..  
 И ты б там слез не обобрался!  
 Затем-то и попал он в рай,  
 Что за дела не принимался.<sup>32</sup>

В сущности, Крылов в споре вокруг послания принял сторону Пушкина, упростив ситуацию, но оправдав вельможу именно за бездействие. Крылов посмотрел на вельможу с точки зрения тех, кто от него зависел и кто ему подчинялся, т. е. остался верен «корням» в своем отношении к «листьям», вернее, к той точке зрения, с которой у него в баснях решались социальные отношения. В свое время, разбирая басню «Откупщик и сапожник», я писал: «Крылов основывает свое изображение морального пафоса поведения басенных персонажей на твердой почве исторически сложившихся социальных отношений. Для него противоположность богатства и бедности есть непреложный закон в данных, конкретных условиях русской жизни, и он... показывает этико-психологические следствия этого порядка».<sup>33</sup> Так и в басне «Вельможа» привычная бездеятельность богача-вельможи оказывается благодеянием для его всевозможных клиентов и просителей. Именно с их точки зрения бездельник-вельможа заслуживает посмертной награды, а не наказания.

Острота социальной сатиры этой басни привела к длительной ее проволочке в цензуре и к необходимости для Крылова получить не больше не меньше как царское разрешение ее печатать. Для этого понадобилось прямое обращение поэта к царю на костюмированном балу в 1836 году.<sup>34</sup>

Эта басня заставляет посмотреть внимательнее на прочность связей Крылова с XVIII веком и с его поэзией. Если как человек Крылов скрывал свои социально-идеологические связи с пережитыми им двумя последними десятилетиями XVIII века, то как поэт-баснописец он воспринял традицию поэтической сатиры Державина и следовал ей, превращая, как понимали современники, каждую басню в сатиру, иногда острополитическую.

<sup>32</sup> Крылов И. А. Басни. С. 252.

<sup>33</sup> Серман И. З. Крылов-баснописец. С. 262.

<sup>34</sup> Крылов в воспоминаниях современников. С. 367—368.

© А. С. Семёнова

## ОБ ИСТОЧНИКАХ ДЕНДИЗМА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МОТИВА У РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Проблема дендизма в русской культуре до сих пор остается недостаточно исследованной, в то время как анализ феномена дендизма должен способствовать воссозданию адекватной картины мира писателей, прояснению спорных моментов, связанных с литературными произведениями и их героями.

В историческом понимании слова «денди» мы встречаем парадоксальное упрощение: в современном сознании закрепилось преимущественное отношение к ден-

дизму как к моде в одежде. Трактовки дендизма всегда были достаточно противоречивы. С середины XIX века противопоставление денди и фашионеблей, франтов, щеголей исчезает и из пародии денди становится образцом. Мы наблюдаем синонимизацию определений и образование единой лексико-семантической группы «денди» (при естественной разнице в коннотациях). Этимология слова «денди» (dandy, dandy) в английском языке неясна, а точки зрения на время проникновения слова в русский язык различны. Встречаемое у Пушкина «dandy» трактуется как следствие неизвестности слова современникам поэта.<sup>1</sup> Существует и противоположное мнение.<sup>2</sup>

В работах, посвященных дендизму, присутствует узкое и широкое понимание этого явления. В первом случае с большей вероятностью сохраняется «чистота» трактовки дендизма, во втором — появляется возможность выйти за рамки определенного исторического отрезка и взглянуть на явление в его возможной перспективе и в связи с настоящим.

Жюль Барбе д'Оревилли (1808—1889), автор трактата «О дендизме и Джордже Браммелле» (1844), является самым авторитетным исследователем дендизма. В работе, посвященной эталону денди Джорджу Браммеллу, писавшейся параллельно с работой биографа Браммелла, капитана Уильяма Джессе,<sup>3</sup> д'Оревилли исповедовал эстетический пуризм. Барбе д'Оревилли признает фатовство («удовлетворенное тщеславие») явлением интернациональным, дендизм — особенной формой английского тщеславия.<sup>4</sup> Сущность денди, по Барбе д'Оревилли, заключается в следующем. Денди на все накладывает печать утонченной оригинальности (с. 110) и при этом всегда находит точку равновесия между оригинальностью и эксцентричностью (с. 112). В нем есть что-то холодное, трезвое, насмешливое и при всей сдержанности внезапно изменчивое (с. 161). Это натура двойственная и многолика, неопределенного духовного пола, чья грация еще более проявляется в силе, а сила — в грации; это андрогин, двуполое существо, но уже не из Сказки, а из Истории (с. 179).

Дендизм получил широкое распространение в Европе к середине XIX века, от Джорджа Браммелла до Робера де Монтезью и Оскара Уайльда.<sup>5</sup> Следствием явилось отражение дендизма в литературе, что породило жанр «модного романа». В 1820-х творили первые авторы-денди — Р. Уорд, Б. Дизраэли, Э. Дж. Булвер-Литтон, а в 1840-х годах появились критические отклики Теккерея, Карлейля, Стендаля. Теорию дендизма д'Оревилли развили Бальзак, Бодлер, д'Орсе, Дизраэли и Арнольд.<sup>6</sup> Есть мнение, что к 1850-м годам дендизм оформился в философию жизни,<sup>7</sup> тогда как Ю. М. Лотман говорит об уходящем в прошлое дендизме уже в эпоху «бунтарского байронизма» Лермонтова.<sup>8</sup> Такое противоречие свидетельствует о значительном изменении сущности и восприятия исследуемого явления. Новым этапом существования дендизма считается время Бодлера, Уайльда,

<sup>1</sup> См.: Муравьева О. С. Дендизм // Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. СПб., 2003; Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960—1990. «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 551.

<sup>2</sup> Онегинская энциклопедия: В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 780. См. также: Добродомов И. Г. Dandy-денди-дэнди // В странстве филологии. Донецк, 2002.

<sup>3</sup> Jesse W. The life of George Brummell, esq. London, 1844.

<sup>4</sup> Барбе д'Оревилли Ж.-А. О дендизме и Джордже Браммелле: Эссе. М., 2000. С. 63. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

<sup>5</sup> Stanton D. C. The Aristocrat as Art. NY, 1980. P. 112.

<sup>6</sup> Natta M.-Ch. La Grandeur sans Convictions. Paris, 1992. P. 32.

<sup>7</sup> Среди имен денди, от Байрона, Булвер-Литтона, Дизраэли до Бодлера, Лоти, Пруста, одни широко известны, другие почти забыты. См.: Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005; Moers E. The Dandy: Brummell to Beerbohm. NY, 1960.

<sup>8</sup> Лотман Ю. М. Русский дендизм // Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 135.

Гюисманса, когда денди уже является героем времени, а дендизм становится объектом теоретических построений и эстетизации, утверждаются идеал жизни за рамками нормы, идеал искусственности, пафос протеста, актуальные для декадентов. Возрождение дендизма видят в декадансе, постмодернизме, его отголоски в XX веке в стиле grunge.<sup>9</sup> В 1990-х годах Марком Симпсоном предложен термин «метросексуал» для обозначения новых денди. Сам Барбе д'Оревилли предвидел существование «фатов будущего» (с. 55), оставляя «чистый» дендизм XIX веку. Связь дендизма с эпохой и эстетикой романтизма очевидна.<sup>10</sup> Романтизм есть «либерализм в литературе»<sup>11</sup> переходного времени, тогда как в дендизме прослеживаются черты либерализма и в более широкой сфере жизни общества — культуре. Распространено мнение о том, что дендизм возник «под влиянием Дж. Байрона в эпоху романтизма и продержался до начала XX века».<sup>12</sup> В. А. Мусвик выделяет черты денди, сходные с особенностями раннего романтизма, — скептицизм, иронию и демонстрацию собственной индивидуальности; противоположные раннему романтизму ориентацию на эстетику искусственности, уравнивание понятий «быть» и «казаться», а также черты эпохи «нового времени»: свободу, но вместе с тем неопределенность социальных и нравственных норм.<sup>13</sup> В данный список включены и признаки культуры Серебряного века.

В некоторых типологических чертах дендизма и их внутренних различиях можно проследить параллель с русским романтическим периодом в литературе, сложность развития которого показал М. Л. Гаспаров, выделив в нем, говоря о стихосложении, три этапа: 1) отказ от античных образцов, от идеальной точности стиха, народные и иноязычные заимствования в 1800—1820-е годы, 2) вкус к строгости и четкости у пушкинского поколения, 3) завершение периода обновления, начало периода отбора и переработки в 1830-е годы. С 1840-х годов прослеживается тенденция господства прозы, а реабилитация поэзии происходит в 1870—1880-х годах, предвещая искания XX века.<sup>14</sup> Интересно, что с периодом рубежа веков связывается некоторыми исследователями «возрождение» дендизма. Дендистская русская литература ярко воплотилась в «байронический» период в творчестве Пушкина и Лермонтова, в то время как литература антидендизма — в творчестве Гоголя.<sup>15</sup>

Дендизм предстает как волнообразный процесс. Тема отражений дендизма в эпохе Серебряного века, как было замечено, представляет интерес ввиду неизбежной модификации этого явления, законы и границы которого не определены, в связи с чем актуализируется вопрос о подлинности или пародийности некоторых черт «новой волны» дендизма. Дендизм Оскара Уайльда не подвергается сомнению, но в век, когда «казаться денди старались все»,<sup>16</sup> нельзя говорить о «чистоте» явления. А. Блок в 1918 году писал о «пламени дендизма», которое в «страшную, опустошающую душу эпоху» России «перекинулось за недозволенную черту».<sup>17</sup> И. Белобровцева, прослеживая модификацию определяющих признаков дендизма, отмечает черты денди в Сергее Есенине, В. И. Ветлугине (Рындзюне), называя вто-

<sup>9</sup> *Вайнштейн О.* О дендизме и Барбе д'Оревилли // Барбе д'Оревилли Ж.-А. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 31.

<sup>10</sup> См.: *Coblence F.* Le dandysme, obligation d'incertitude. Paris, 1988; Gnüg H. Kult der Kälte: Die Klassische Dandy im Spiegel der Weltliteratur. Stuttgart, 1988.

<sup>11</sup> *Гюго В.* Эрнани // Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. 3. С. 169.

<sup>12</sup> Полузабытые слова и значения: Словарь русской культуры XVIII—XIX вв. М.; СПб., 2004. С. 134.

<sup>13</sup> *Мусвик В. А.* Дендизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. М., 2003. С. 218.

<sup>14</sup> *Гаспаров М. Л.* Очерк истории русского стиха. М., 2000.

<sup>15</sup> *Руднев Ю.* Дендизм как интертекстуальное явление в русской литературе: (На материале сравнительного анализа романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и повести «Шинель» Н. В. Гоголя) // www.zhelty-dom.narod.ru

<sup>16</sup> *Демиденко Ю.* Русские денди // Родина. 2000. № 8. С. 113.

<sup>17</sup> *Блок А.* Русские денди // Блок А. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1982. Т. 4. С. 263.

рого «денди наизнанку»<sup>18</sup> в отличие от Владимира Набокова, представляющего очередным «последним денди».<sup>19</sup>

Примечательно, что характеристики денди, и отрицательные, и хвалебные, всегда схожи по сути. Бальзак, например, говоря о «провинциальном денди», описывает «очаровательного полишинеля» с его невежеством, спесью, модным костюмом, который тот не умеет носить, притворным презрением к местному патриотизму и стихами, хранимыми в портфеле.<sup>20</sup> Барбе д'Оревильи чертами денди считает и невозмутимость, небрежность, легкомыслие, безумный эгоизм (с. 73). В журнале «Денди» 1910 года дендизм определяется как эстетический мистицизм, религия «гениев без портфеля», ищущих источник для удовлетворения своей жажды владычества.<sup>21</sup> Все перечисленные черты, невзирая на коннотацию, вполне согласуются с парадигмой важных «дендистских» тем и мотивов, которые мы попытаемся определить ниже.

Существуют также неоднозначные мнения относительно территории распространения этого явления. Поначалу Барбе д'Оревильи исповедовал британоцентрическую и даже браммеллецентрическую концепцию дендизма, а впоследствии его героями стали денди-французы — нормандцы, т. е. «полуангличане». Англо-французская природа дендизма признается всеми исследователями. Д'Орсе считается основателем французского дендизма.<sup>22</sup> Ю. М. Лотман видит в «национальном противопоставлении» британской и французской культур отправную точку дендизма.<sup>23</sup> В связи с этим невозможно обойти вниманием такой феномен, как богема, своеобразное продолжение дендизма на иной национальной почве. Оба явления занимают в обществе неопределенное место, и разница между ними в том, что дендизм ассоциируется с богатством, а богема — с бедностью. И те и другие отказываются от буржуазной жизни, одинаково жаждут славы. Эти антиуравнители ратуют за сохранение аристократии, основанной на темпераменте и стиле.<sup>24</sup> В середине XVIII века возникает «декоративный» вид денди, через сто лет — богема: Бодлер, де Нерваль, Жарри, Керуак и др. Богема, дендизм и аристократизм характеризуются как «исключительно врожденное состояние»,<sup>25</sup> трудное для постижения, но видимое невооруженным глазом. Немаловажная связь существует между богемой и позднейшими движениями — битничеством и контркультурой 1960-х годов (хиппи), а также эстетикой дадаизма и авангарда. Черты бита — личностный подход к жизни, восстание против всех политических и литературных форм и усталость от жизни являются логическим развитием идей дендизма. В XX веке окончательно оправдывается идея о возможности успеха вне мейнстрима.

Примечательно, что феномены дендизма и богемы осуществляют в истории «обратное действие»: так, к богеме причисляют Франсуа Вийона,<sup>26</sup> а исследователи дендизма, исповедующие широкий подход, находят его корни в античности: Бодлер называет Алкивиада, Катилину и Цезаря предшественниками дендизма, на это есть намеки и у Барбе д'Оревильи, и у Лотмана.<sup>27</sup>

<sup>18</sup> Белобровцева И. Русский дендизм: Фоновая застройка // Лотмановский сборник, № 3. М., 2004. С. 491.

<sup>19</sup> Юнгрен А. Владимир Набоков как русский денди // Классицизм и модернизм: Сб. ст. Тарту, 1994. С. 184.

<sup>20</sup> Бальзак О. О помещицкой жизни // Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. М., 1955. Т. 15. С. 21.

<sup>21</sup> Денди. 1910. № 1. С. 15.

<sup>22</sup> Stanton D. C. Op. cit. P. 21.

<sup>23</sup> Лотман Ю. М. Русский дендизм. С. 123.

<sup>24</sup> Siegel J. Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boundaries of Bourgeois Life, 1830—1930. NY, 1986. P. 20.

<sup>25</sup> Harvey J. C. In Bohemia. London, 1905. P. 88.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Петиметров, фешенеблей, франтов и щеголей античности фельетонист XIX века называет денди. См.: Börsen-Halle. Денди древнего Рима // Московский наблюдатель, журнал энциклопедический. 1836. Ч. IX.

Русские писатели-денди еще резче, чем европейские, делятся на две группы: одни почти безвестны, другие покрыты хрестоматийным глянцем и тем самым не менее загадочны. Представителями отечественного дендизма являются А. С. Пушкин, у которого русский дендизм получил широкое художественное обоснование,<sup>28</sup> А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев, М. Ю. Лермонтов, П. А. Вяземский, П. П. Каверин, П. А. Катенин, Н. В. Всеволожский, Н. И. Гнедич, А. В. Дружинин, В. А. Соллогуб, декабристы Г. С. Батеньков и М. С. Лунин, К. Н. Леонтьев, М. Кузмин, И. Северянин, В. В. Набоков. При этом стоит отметить, что для исследователя крайне важным представляется обращение к писателям второго и третьего ряда, «непосредственно отражающим художественное настроение и эстетические идеи, в совокупности определявшие духовную атмосферу эпохи».<sup>29</sup> Усвоив дендизм в большой степени из французской и английской культур, русская среда привнесла свои особенности. И. Белобровцева выделяет общие черты русского денди: иронию, скептицизм, доходящий до цинизма, причастность к кружковому сознанию, культ индивидуализма, театральность<sup>30</sup> (последние три признака кажутся нам наиболее характерными для «ранних» и «поздних» денди, т. е. для денди XVIII и XX веков).

Русская литература XIX века — это целостный творческий акт относительно ее центральной идеи — идеи человека.<sup>31</sup> При этом «русская жизнь вообще то представляет мало движения, то неожиданные скачки», и нигде больше «человек не может подметить в себе такого противоречия с самим собою».<sup>32</sup>

В описании денди — реально существовавших и литературных персонажей — прослеживается ряд ярких тем и мотивов, позволяющих в некоторых аспектах объединить правдоподобно изображенных героев и их прототипов-мистификаторов, стоящих по степени достоверности на одном уровне. Важнейшая в данном случае проблема — «денди и творчество». Байрона наряду с Браммеллом считают родоначальником дендизма. «Историческим вкладом» Браммелла явилось жизне-творчество, для Байрона им стало в первую очередь обширное поэтическое наследие. О. Уайльд соединил в своем лице две эти тенденции. «Истинная биография писателя — в том, что он написал»,<sup>33</sup> но и творчество вторгается в жизнь писателя, превращая биографию в одно из его художественных творений. Пушкин и Байрон полностью выражали себя в своих произведениях, Чаадаев «мало писал, но много думал»,<sup>34</sup> Лермонтов «писал очень много, но тщательно скрывал все написанное от товарищей»,<sup>35</sup> П. А. Вяземский ставился современниками рядом с Жуковским и Пушкиным, а Грибоедов сомневался в своем таланте. Браммелл же, неизвестный как писатель даже своим современникам, «обрел славу не только потому, что был необыкновенно притягателен как личность, сколько из-за того, что стал прототипом героев художественных произведений»<sup>36</sup> — Чайльд Гарольда, Дон Жуана, Требека, Раслтона.

<sup>28</sup> Гроссман Л. П. Пушкин и дендизм. Этюды о Пушкине // Гроссман Л. Собр. соч.: В 4 т. М., 1928. Т. 1. С. 15.

<sup>29</sup> Павлова Т. В. Оскар Уайльд в русской литературе: (Конец XIX—начало XX века) // На рубеже XIX и XX веков: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1991. С. 126.

<sup>30</sup> Белобровцева И. Указ. соч. С. 493.

<sup>31</sup> Котельников В. А. Русская идея как философская тема // Русская литература. 1990. № 4. С. 113.

<sup>32</sup> Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 399.

<sup>33</sup> Перельмутер В. «Звезда разрозненной плеяды!..»: Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. М., 1993. С. 6.

<sup>34</sup> Спекторский Е. В. К характеристике Чаадаева // П. Я. Чаадаев: pro et contra. СПб., 1998. С. 433.

<sup>35</sup> Русские поэты: В биографиях и образцах / Сост. Н. В. Гербель. СПб., 1873. С. 465—468.

<sup>36</sup> Moers E. Op. cit. P. 43.

Отношение писателей-денди к своим героям особое: это еще одно прекрасное зеркало для автора и вместе с тем уникальное создание, независимость которого пытается отстоять писатель. Например, Пушкин ищет общие черты с Онегиным, но при этом постепенно отдаляется от него в ходе повествования. Отдельного изучения заслуживают отношения денди-писателя и читателя с установкой на игру, мистификацию и иронию.

Мотив житнетворчества, позднее модифицировавшийся в мотив игры, перешедший в XX век, актуален для дендизма. Фатализм, восприятие жизни как карточной игры и карточного фокуса характерны для денди, ключевое слово для них — превращение. Денди создают единство из противоречий. М. Волошин писал, что к ним совершенно неприменима антитеза «игра» (как родственное фальши явление) — «искренность».<sup>37</sup> При том Браммелл был «истый игрок, полагавшийся на волю случая» (с. 151), а «конец игры для традиционного денди означает конец жизни».<sup>38</sup> Денди провозглашают себя богоравными в сотворении человека, в первую очередь самих себя. Существует мнение о том, что дендизм более свойствен юношеской поре жизни.<sup>39</sup> Сами денди отмежевывались от собственного периода взросления, неизбежного при любом «становлении», и ранний, «декоративный» дендизм не представляет исключения. Необходимо отметить, что еще в биографии Алкивиада зародился «жизненный сценарий» героя-денди, основные этапы которого выглядят следующим образом: быстрый ошеломительный успех в свете, за которым часто следуют одиночество, непонятость, попытки самоубийства, безумие или обвинения в безумии, долги, тюрьма, печальная смерть — одиноким стариком либо смерть в юности на дуэли как реализация стремления к быстрому и «своевременному» уходу, а повод к дуэли зачастую давала ирония.

Важная проблема — «подлинность» денди и критерии оценки этой подлинности. Истинные денди и псевдоденди различаются как хорошо одетая женщина и женщина элегантная (с. 101). Интересно, что по своему внешнему облику и светскому поведению Бальзак скорее являлся пародией на денди.<sup>40</sup> Видимо, для понимания творчества Бальзака более важен факт его осознания себя как денди, нежели неудача его попыток быть денди. Мистификация в жизни денди и «мифологизация» их личностей — явление заметное и даже ожидаемое.<sup>41</sup> Уже Барбе д'Оревилль мистифицировал образ первого денди.<sup>42</sup> Константин Леонтьев «не просто оброс мифами в толкованиях и интерпретациях, он сам стал мифом, одновременно манящим и устрашающим».<sup>43</sup>

И Барбе д'Оревилль, и символистами утверждает равновеликость божественного и дьявольского по масштабу и силе воздействия, хотя эта идея обычно связывается с именем Оскара Уайльда. Принцип изостении характерен для денди — любителей парадоксов. Дендизм создает свою особую мораль, основанную на понимании великого и смешного, противопоставлении хорошего и дурного вкуса и тона. Для денди характерна бесплотная андрогинная слабость и сила героя-титана. Мы наблюдаем включение денди в ряд неземных существ и сказочных персонажей. В трактате о Браммелле и повестях Барбе д'Оревилль денди сравниваются со сфинксами, львами, пантерами, гарпиями, русалками, «холоднокровными живот-

<sup>37</sup> Волошин М. Барбэ д'Оревилль // Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 42.

<sup>38</sup> Белобровцева И. Указ. соч. С. 490.

<sup>39</sup> См.: Najarian J. «Curled minion, dancer, coiner of sweet words»: Keats, Dandyism, and Sexual Indeterminacy in «Sohrab and Rustum» // Victorian poetry. 1996. Vol. 35. № 1; Муравьева О. С. Указ. соч.

<sup>40</sup> Цвейг С. Бальзак. М., 1961. С. 168—169; Оноре Бальзак: Денди и творец. М., 1997.

<sup>41</sup> Топоров В. Н. Об индивидуальных образах пространства: «Феномен» Батенькова // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 449.

<sup>42</sup> См.: Вайнштейн О. О дендизме и Джордже Браммелле.

<sup>43</sup> Козырев А. П. Послесловие // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 417.

ными», привидениями, демонами и ангелами. Они нечеловечески бледны, но способны неповторимо краснеть, их отличают особенные глаза с проникающим молниеносным взглядом и руки, достойные античных статуй. Несомненно, загадочность денди — с одной стороны, маска, с другой — суть того, что скрывается под маской.

Эпоха расцвета дендизма — время «идеализации андрогинных типов Байрона, Шелли и Мюссе».<sup>44</sup> Андрогинность денди — один из атрибутов «сказочного существа». Оценки андрогинности диаметрально противоположны: она может восприниматься как аномалия или, напротив, как высшая ступень развития человека. Денди «автономен и одинаково нравится обоим полам». Он — существо «пассивное» и «неопределенное».<sup>45</sup> В. В. Розанов называл безграничностью и неопределенностью чертами женской психики, однако идея о взаимопроникновении «компонентов» психики двух полов развилась позднее. О. Вейнинггер писал об определенном количестве мужских и женских начал в каждом человеке.<sup>46</sup> Современная социогендерная теория оперирует понятием гендера, отличным от понятия пола, определяющим выбор социальных ролей и стратегий поведения. «Денди в некоторых отношениях — женщина» (с. 161), но при этом, согласно Бодлеру, «женщина — прямая противоположность денди».<sup>47</sup> Интересно, что меланхоличность, одна из важных характеристик денди, воспринимается как «чисто женская сторона».<sup>48</sup> Мы наблюдаем «обмен ролями», сравнивая «декоративного» денди (называемого Барбе д'Оревилли «щеголем») и тип женщин-«львиц». Тема парадоксальной любви-ненависти в личных отношениях, развившаяся впоследствии как литературный мотив, тема противостояния и «борьбы» в обществе обусловлена и романтической «позицией» героя, и онтологическими чертами его личности. Ненависть и любовь — противоположности, одинаковые по силе, соединяющиеся полюса, «дьявольское» и «божественное». Денди способны понравиться, вызвав неприязнь (с. 134). Женщина не является для денди человеком, равно как и он сам не является им в полном смысле.

Жизнетворчество и андрогинность денди актуализируют мотив «отражения» и «растворения», в связи с которым возникает важнейший в мировой литературе мотив двойничества. Фатам «все служит зеркалом» (с. 54). Творчество денди — отражение жизни, и жизнь — отражение творчества, открывающего то, что спрятано под маской. Сотворение отражения и растворение в своем отражении — такова жизнь денди, с другой стороны — ему нельзя быть слишком «погруженным в жизнь», ее необходимо отображать и изображать «с нужной дистанцией».<sup>49</sup> П. Кузнецов, классифицируя нарциссов, причисляет К. Леонтьева к метафизическим нарциссам: «он необыкновенно серьезен, глубок, трагически замкнут на самом себе, интровертирован, иногда сомнамбуличен» — такими рождаются. «Нарциссы романтизма — от Новалиса до Байрона и Шелли, — словно спустившиеся с небес, чтобы преобразить убогий человеческий мир», «не найдя здесь ответной любви и восхищения, наполнили Европу скорбью, меланхолией и тоской».<sup>50</sup> Примечательно, что Данте поселяет Нарцисса в ад, а для современного исследователя П. Кузнецова нарцисс подобен ангелу. В данном случае также действует закон равновеликости божественного и демонического.

<sup>44</sup> *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев (1831—1891): Жизнь и творчество // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. С. 248.

<sup>45</sup> *Natta M.-Ch.* Op. cit. P. 66.

<sup>46</sup> *Вейнинггер О.* Пол и характер. М., 1992. С. 193—194.

<sup>47</sup> *Бодлер Ш.* Денди / Поэт современной жизни // Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М., 1997. С. 817.

<sup>48</sup> Там же. С. 809.

<sup>49</sup> *Моруа А.* Литературные портреты. М., 1970. С. 209.

<sup>50</sup> *Кузнецов П.* Метафизический Нарцисс и русское молчание: Чаадаев и судьба философии в России // П. Я. Чаадаев: pro et contra. С. 734—736.

Избранность героя обуславливает особенно характерную для романтизма тему одиночества. Мотив «последнего денди» возник с появлением первого денди и схож с мотивом «последнего романтика». Денди стремится эстетически преобразовать общество, но его единственная цель — это стиль.<sup>51</sup> Пытаясь «выпасть из времени», денди остается его героем, причем он выступает зеркалом общества, т. е. дистанцирован от него и в прямом смысле оппозиционен. «Попытка выпасть из времени — способ избежать смерти».<sup>52</sup> Денди не существует, если он не появляется перед глазами других как произведение искусства.<sup>53</sup> Сочетание индивидуализма и неизменной зависимости от наблюдателей — причина колебаний между бунтарством и компромиссами.<sup>54</sup> Властвовать над обществом можно, лишь «сделав его страсти своими» (с. 138). Здесь уместна параллель отношений с обществом и отношений с женщинами, ведущая к разгадке формулы успеха денди. Намекая на ее отсутствие, денди Барбе д'Оревильи лукавит. «Дендизм — это сама грация, надевшая фальшивую маску, чтобы ее могло воспринять фальшивое общество; и в том же смысле — сама естественность, пусть извращенная, но непреходящая» (с. 174).

Согласно Бодлеру, «дендизм появляется в недемократическую эпоху».<sup>55</sup> Вообще, если придерживаться мнения о социальной обусловленности дендизма, мы видим три эпохи, которым присуще это явление: римская античность — начало XIX века — начало XX века.

Своеобразие существования денди в пространстве и времени связано с особенностями дендистского хронотопа. Для любого сознания характерна пространственная или временная парадигма, влияющая на картину мира и творчество. Чтобы не угасить хрупкое чувство «любви к высокому», Чаадаев «фактически отказался от биографии, устранив из нее время и пространство».<sup>56</sup> Батеньков нуждался в уразумении пространства,<sup>57</sup> потому что без этого для него не могла быть решена проблема собственного Я.<sup>58</sup> Для дендистского хронотопа важна ассоциированность или диссоциированность личности со временем, т. е. либо ориентация на настоящее, связанная с романтическим образом Дон Жуана, мотивами игры, легкомысленным поведением на дуэли, либо ориентация на будущее (гражданский романтизм, тема борьбы, креативность, свойственная декабристам, или, наоборот, деструктивность), либо ориентация на прошлое (созерцательный романтизм, мотив лени).<sup>59</sup> О. Манн выделяет два возможных типа денди: наблюдатель и страдалец.<sup>60</sup> П. А. Вяземский с грустью вспоминает о прошлом, А. С. Грибоедов с тоской смотрит в будущее. Столкновение с реальностью порождает мотив неоправдавшихся надежд, характерный для романтического отношения к действительности и существенный в мировосприятии денди. «Игра» часто заканчивается сумасшествием или самоубийством, к которому можно приравнять и гибель на дуэли. Дендизм может явиться способом приспособления идеала к жизни,<sup>61</sup> однако неоправдавшиеся надежды приводят к потерянности, тоске, ипохондрии, мыслям о самоубийстве, скуке и побегу от себя. Всему этому предшествуют попытки постичь историю, найти в ней

<sup>51</sup> Botz-Bornstein Th. Rule-following in dandyism. London, 1995. P. 294.

<sup>52</sup> Najarian J. Op. cit. P. 121.

<sup>53</sup> Coblenz F. Op. cit. P. 42.

<sup>54</sup> Лотман Ю. М. Русский дендизм. С. 133.

<sup>55</sup> Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце // Бодлер Ш. Цветы зла... С. 440.

<sup>56</sup> Волгин И. Человек, не имевший страстей // П. Я. Чаадаев: pro et contra. С. 689.

<sup>57</sup> Топоров В. Н. Об индивидуальных образах пространства: «Феномен» Батенькова. С. 451.

<sup>58</sup> Там же. С. 458.

<sup>59</sup> Вместе с тем созерцательная позиция и намеренное одиночество — также форма борьбы для многих денди. См.: Скуратовская А. Дендизм как психология жизнотворчества // Культурология: Дайджест. 2001. № 4. С. 80.

<sup>60</sup> Манн О. Дендизм как консервативная форма жизни // Волшебная гора (Москва). 1998. № 7.

<sup>61</sup> Белобровцева И. Указ. соч. С. 493.



«золотой век» и изменить действительность. На русской почве понимание истории и судьбы страны выразилось во взглядах славянофилов и западников, в мечте о всемирности, превратившейся в 1830-х годах в тоску по ней у Чаадаева, Пушкина. В современном ему ненавистном буржуазном мире К. Леонтьев видел одно разложение — безобразное смесительное упрощение.<sup>62</sup> Денди-созерцатели чувствуют себя особенно неуютно на бренной земле. Мотив скитаний как побега от самого себя «волею задумчивой печали» характерен для всех романтических героев. Чередование периодов кочевания и затворничества, вольных или вынужденных, свойственно Пушкину, Грибоедову, Лермонтову, Леонтьеву, и при этом «успокоение» недостижимо. В то же время быть странным — «верный способ повсюду быть чужестранцем»<sup>63</sup> и весомая причина быть странником. «Человек хочет быть вдвоем. Гений же хочет быть один, т. е. быть одиноким».<sup>64</sup> Мотив необычности творца, художника сопровождается мотивом безумия и болезни, причем грань между серьезным и ироничным здесь почти неощутима.<sup>65</sup>

Тайна — «религия» денди, по Барбе д'Оревилли. Уже сам дендизм выступает у Бодлера как род религии, «граничащий со спиритуализмом и стоицизмом»,<sup>66</sup> признающий лишь одно таинство — «самоубийство».<sup>67</sup> Дендизм представляется похожим на масонство, будучи явлением столь же трудноопределимым, со строгим кодексом поведения, символикой, своеобразной инициацией, набором таинств, ограничений, особенным пониманием деятельности. Некоторые денди, например П. Я. Чаадаев, Г. С. Батеньков, были масонами. Парадоксальное утверждение Байрона: «И мы, как боги, тленны»<sup>68</sup> — находит объяснение в рамках дендистской позиции. Барбе д'Оревилли считал, что «искренняя вера часто позволяет себе с Господом (...) фамильярность».<sup>69</sup> Таким образом, Божественная сила вводится в тот же дискурс, где орудует язвительный и беспощадный денди, отказывающийся от общепринятой иерархии. Язвительное снисхождение — уровень общения денди со вселенной.

Ирония — «тот дар, который один заменяет все прочие» (с. 122). Разговор денди всегда подобен дуэли. «Шутка — единственный способ заставить денди хоть немного уважать вас»,<sup>70</sup> — пишет Барбе д'Оревилли, но он же утверждает, что «счастливые люди всегда серьезны».<sup>71</sup> Лед и цинизм, изящные по форме, «даже в XX веке не распознавались как эстетический код, а воспринимались как прямое слово».<sup>72</sup> Наглость, прикрытая издевательской вежливостью, составляет основу поведения денди.<sup>73</sup> Если денди отличался наглостью, он никогда не бывал вульгарным (с. 141). «Рефлексия с грозным смехом вгрызается» в человека, и «денди потешается в нем над человеком».<sup>74</sup> Таким образом, денди выступает и как внутреннее зеркало человеческой личности, внутренний голос (часто приписываемый дьяволу<sup>75</sup>).

Эпиграмматичность, лапидарность — главные характеристики языка денди. Первое из дошедших до нас стихотворений Пушкина — эпиграмма, сам язык пуш-

<sup>62</sup> Иваск Ю. П. Указ. соч. С. 593.

<sup>63</sup> Барбе д'Оревилли Ж. Дьявольские повести. СПб., 1993. С. 202.

<sup>64</sup> Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце. С. 449.

<sup>65</sup> Рогинская О. О. Указ. соч. С. 80.

<sup>66</sup> Бодлер Ш. Денди / Поэт современной жизни. С. 816.

<sup>67</sup> Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце. С. 457.

<sup>68</sup> Байрон Дж. Г. Сочинения: В 3 т. М., 1974. Т. 1. С. 192.

<sup>69</sup> Барбе д'Оревилли Ж. Дьявольские повести. С. 332.

<sup>70</sup> Там же. С. 45.

<sup>71</sup> Там же. С. 117.

<sup>72</sup> Белобровцева И. Указ. соч. С. 489.

<sup>73</sup> Лотман Ю. М. Русский дендизм. С. 125.

<sup>74</sup> Барбе д'Оревилли Ж. Дьявольские повести. С. 257.

<sup>75</sup> Там же. С. 391.

кинской поры отшлифован, в нем происходит упрощение формы и усложнение содержания.<sup>76</sup> Пушкинский роман в стихах, изобразивший эталон русского денди, «обладает специфической структурой, при которой любое позитивное высказывание автора тут же незаметно может быть превращено в ироническое (...) от великого до смешного здесь действительно один шаг».<sup>77</sup> Словесные пули денди действуют иногда сильнее настоящего оружия. Лермонтов «умер смертью Пушкина», внешним поводом было «одно пустое, сказанное им мимоходом слово»,<sup>78</sup> Пушкин был отправлен в ссылку и вследствие заносчивости во мнениях и поступках, которые не лежали в сущности его характера, М. С. Луин уже в ссылке «чрезмерно рисковал и дразнил власть», что, возможно, повлекло его гибель.

Гордость и тщеславие — ключевое качество дендизма. Дендизм — это апология тщеславия, начало ей положил Барбе д'Ореви́льи. «Власть надменной души над другими объясняется способностью охлаждать симпатию, вселяя чрезмерное почтение к своей особе, и отправлять обратно на небо божественное Доверие»<sup>79</sup> — так раскрывается еще один компонент дендистской формулы успеха, изложенной в произведениях Барбе д'Ореви́льи. «Всякое превосходство — неотразимый соблазнитель, который увлекает вас и влечет по своей орбите»<sup>80</sup> — но при этом часто вызывает ненависть. «Откровенное и неприкрытое тщеславие» — главное в денди наряду с имморализмом.<sup>81</sup> Но, по Чаадаеву, тщеславие — «гримаса горя», т. е. маска горя.<sup>82</sup> Бесстрастность денди — оборотная сторона гордости. Эгоизм денди с положительным отношением к себе и отрицательным — к обществу актуален для романтика-холерика. Когда же для человека собственная личность перестает в его глазах быть ценностью, возникает меланхолия и даже суицидальное настроение. Эти два состояния представляются наиболее характерными для русских денди.

Для дендизма значима тема соотношения внешнего и внутреннего. Впечатления «скрываются и запечатываются в самом тайном уголке» существа денди — так «затыкают флакон с очень редкими духами, аромат которых теряется, если их вдыхать».<sup>83</sup> В то же время Барбе д'Ореви́льи утверждает, что «для денди, как и для женщин, казаться значит быть» (с. 146). Возможно, это новое лукавство, вызванное нежеланием показать, что скрывается под маской. Ум способен выразиться в «гениальном неброском жесте» (с. 124), жест способен «поражать с первого взгляда» и, как все глубокое, не переставать поражать в дальнейшем (с. 135). Мифологизация и сакрализация одежды у денди<sup>84</sup> принципиально меняют статус вещи. Вещь — мера всех людей, способная стать элементом идеально-духовного пространства.<sup>85</sup>

В дендизме существует особое представление о естественности и искусственности, можно говорить об их взаимозаменяемости. Изменение наполненности понятия «естественность» в позднем дендизме привело к пониманию естественного состояния как освобождения от условностей, тело принимает вид ненаполненной оболочки, становится предметом различных манипуляций.<sup>86</sup> Превращение в оболочку — столь же характерное явление, как и превращение оболочки в бесплотную

<sup>76</sup> Семенко И. Поэты пушкинской поры. М., 1970.

<sup>77</sup> Рогинская О. О. Указ. соч. С. 79.

<sup>78</sup> Русские поэты: В биографиях и образцах. С. 465—468.

<sup>79</sup> Барбе д'Орвийи Ж. Дьявольские повести. С. 451.

<sup>80</sup> Там же. С. 137.

<sup>81</sup> Муравьева О. С. Указ. соч. С. 192—193.

<sup>82</sup> Волгин И. Указ. соч. С. 690.

<sup>83</sup> Барбе д'Орвийи Ж. Дьявольские повести. С. 256.

<sup>84</sup> Белобровцева И. Указ. соч. С. 490.

<sup>85</sup> Топоров В. Н. Апология Плюшкина: Вещь в антропоцентрической перспективе // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. С. 5.

<sup>86</sup> Мусвик В. А. Указ. соч. С. 219.

душу, о чем повествуется на страницах трактата Барбе д'Оревилли, на что обратила внимание О. Вайнштейн.<sup>87</sup>

Красота и безобразное — не только предмет споров и размышлений, но и важный аксиологический элемент дендистской картины мира. Пушкиным утверждается идея единства и соприродности красоты, добра и истины. Денди как «цельные» существа переносили понятие о красоте и на свою внешность. У Булвер-Литтона литературные критерии переносятся на одежду,<sup>88</sup> провозглашаются парадоксальные законы продуманной небрежности и заметной незаметности.<sup>89</sup> В произведениях денди присутствует «барочная каталогизация предметов», текст авторов-денди — «переливающаяся переплетение ткани».<sup>90</sup> У Пушкина возникает «деталь нового типа», репрезентирующая целостную модель мира. Принцип художественной детализации определил литературное время, но отечественная литература (до Чехова) пошла по гоголевскому пути — социально репрезентантного художественного предмета.<sup>91</sup>

«Мода — возвышенное искажение природы или, вернее, постоянная и последовательная попытка ее исправления»,<sup>92</sup> а «подробности женских мод для автора-эстета (...) служили метонимией чувственного мира во всех своих тончайших оттенках».<sup>93</sup> Костюм — одновременно и вызов обществу, и способ самовыражения, и «броня», и продолжение маски. При этом очень характерно, что при жизни денди его личность «затемняется» костюмом, а творчество — личностью.<sup>94</sup> Учитывая особый статус вещи, использование одежды как знаковой системы, отражающей внутреннее содержание, нельзя признать справедливым мнение о поверхностной, «внешней» суги дендизма.

В «искусстве» дендизма есть свои традиционалисты и новаторы, свои лидеры и эпигоны,<sup>95</sup> но независимо от их личного успеха все они принадлежат к единому миру, живущему по одним законам. Невозможно разграничить в денди сказочного героя, человека, философа, писателя, художника собственной жизни, лицо и маску, нельзя полностью разгадать его, убрать его основное свойство — тайну, разложить на «компоненты». Одежда денди — такая же имманентная часть его, как душа, одно выражается через другое. Денди отражается в любом своем проявлении, как голограмма во фрагменте. Трудно определить (т. е. ограничить) сущность дендизма, констатировать его, что также предусмотрено самой природой этого явления. «Главная черта дендизма состоит в том, чтобы всегда поступать неожиданно, так чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог, рассуждая логически, это предвидеть» (с. 74—75). «Вкус» здесь — единственный критерий оценки человека, «тон» — критерий оценки общества. В дендизме видны предпосылки философии мыслителей, не имеющих, на первый взгляд, отношения к этому явлению, и зарождение важнейших и противоположных тенденций XX века — экзистенциализма и структурализма. Для изучения дендизма необходим «индивидуальный» метод исследования этого явления, отталкивающийся от закона его непредсказуемости, диалектики небесного и дьявольского, мужского и женского. Дендизм — это образ жизни, подчиняющий себе искусство.

<sup>87</sup> Вайнштейн О. О дендизме и Барбе д'Оревилли. С. 31.

<sup>88</sup> Вайнштейн О. Поэтика дендизма: Литература и мода // Иностранная литература. 2000. № 3. С. 301.

<sup>89</sup> Булвер-Литтон Э. Дж. Пелэм. Л., 1958.

<sup>90</sup> Вайнштейн О. Поэтика дендизма: Литература и мода. С. 307.

<sup>91</sup> Чудаков А. П. Какой воротник был у Евгения Онегина?: Проблемы комментирования романа и его поэтика // Пушкин и мировая культура. М., 1999. С. 53—55.

<sup>92</sup> Бодлер Ш. Денди / Поэт современной жизни. С. 821.

<sup>93</sup> Вайнштейн О. Поэтика дендизма: Литература и мода. С. 307.

<sup>94</sup> См.: Волошин М. Указ. соч. С. 41.

<sup>95</sup> Francois S. Le dandysme et Marcel Proust: De Brummell au baron de Charlus. Bruxelles, 1956. P. 119.

## НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ «ТИХОГО ДОНА»

Цель моей статьи — поделиться с читателем своим взглядом на исторические источники трех мест в «Тихом Доне». В 13-й и 14-й главах 4-й части романа автор рисует портрет генерала Л. Г. Корнилова, назначенного Верховным главнокомандующим неделю тому назад, 19 июля (1 августа) 1917 года: «смуглое лицо (...) непроницаемо, азиатски бесстрастно», «монгольские с ярким блеском глаза», «маленький в защитном мундире с Георгиями», «стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола, генерал», «щуплый, с лицом монгола», «маленький генерал». Думается, что преобладающие в «Тихом Доне» внешние черты Корнилова Шолохов взял из двух характеристик его Донским атаманом генералом А. П. Богаевским. Первая основывается на их совместном обучении в Академии Генерального штаба в конце 1890-х годов: «Скромный и застенчивый армейский артиллерийский офицер, худощавый, небольшого роста, с монгольским лицом».<sup>1</sup> Даже скромность и застенчивость не упустил случая отметить Шолохов. При торжественной встрече приехавшего в Москву Корнилова осыпает цветами, и он «чуть смущенным, нерешительным движением» стряхивает зацепившийся за аксельбанты цветок. Вторая характеристика отражает встречу Богаевского с Корниловым в Новочеркасске зимой 1918 года: «Главногокомандующий Добровольческой армией был одет в штатском... Маленький, тощий, с лицом монгола, плохо одетый, он не представлял собой ничего величественного и воинственного».<sup>2</sup> Для нас тут важны внешние приметы Корнилова, которые регулярно повторяет Шолохов. Он мог бы использовать и, видимо, использовал фотографии Корнилова в книгах, но А. П. Богаевский был свидетелем-очевидцем. В 1918 году под началом Корнилова он командовал войсками Ростовского района, а в Ледяном походе — Партизанским полком.

В 4-й главе 6-й части «Тихого Дона» автор бичует офицеров, осевших в тыловых Ростове и Новочеркасске, в то время как наиболее смелые и мужественные гибнут в боях, от тифа, от ран. Уклонившихся от фронтовой службы автор называет растерявшими совесть, накипью, навозом, плавающим «на поверхности бурных дней». Это были «кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России». Здесь Шолохов отдает должное есаулу (позже полковнику) В. М. Чернецову, первому организатору противобольшевистского партизанского отряда на Дону в середине декабря (н. ст.), когда большинство казаков держалось нейтралитета. В статье есаула Г. П. Янова «Паритет» говорится, что в то время в Новочеркасске жило до 4000 офицеров. Человек 800 из них заполнили офицерское собрание, чтобы прослушать информацию об общем положении. Чернецов произнес «горячую и страстную речь» с призывом «стать на защиту (Дона? России? — Г. Е.), поддержать атамана... помочь юношам партизанам...» Из присутствовавших записались в партизаны 27 человек. Чернецов резко, жестоко начал упрекать офицеров в антипатриотизме.<sup>3</sup> Несомненно, статья Янова также послужила отправной точкой для создания сцены переговоров Войскового правитель-

<sup>1</sup> *Богаевский А.* Воспоминания // Донская летопись. Сборник материалов по новейшей истории донского казачества со времени русской революции 1917 года. Белград (отпечатано в Вене), 1923. Вып. 1. С. 80. Здесь напечатаны только первые главы «Воспоминаний». В более полном виде они вышли под заглавием «Воспоминания генерала А. П. Богаевского. 1918 год. Ледяной поход» (Нью-Йорк, 1963).

<sup>2</sup> *Богаевский А.* Воспоминания // Донская летопись. Вып. 1. С. 83.

<sup>3</sup> *Янов Г.* Паритет // Донская летопись. Вып. 2. С. 193. Есаул Янов — один из организаторов отпора большевикам весной 1918 года в районе Новочеркаска, войсковой есаул в правительстве Каледина, член президиума Большого круга при атамане П. Н. Краснове.

ства с Военно-революционным казачьим комитетом и сцены самоубийства атамана А. М. Каледина.

С 1938 года, с первого чтения 3-й главы 4-й части, я держу в памяти описание боев на Волыни у деревни Свинюхи, немного южнее большой дороги между Луцком и Владимиром-Волынским. Этим боям предшествовало наступление Юго-Западного фронта, начатое 22 мая (4 июня) 1916 года. Первая фаза его вошла в историю под названием Брусиловского прорыва, в честь главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала А. А. Брусилова, или Луцкого, по названию города, в направлении которого наносила главный удар 8-я армия генерала А. М. Каледина, будущего атамана Войска Донского. За девять дней 8-я армия прошла с боями 70 верст,<sup>4</sup> но немецкие и австро-венгерские дивизии, переброшенные из Франции и Италии, воспрепятствовали дальнейшему продвижению русских на Волыни. Наступили затяжные кровопролитные бои. Ни одна из воюющих сторон не могла одержать крупной победы. У русских не хватило сил овладеть стратегическими целями — Ковелем и Владимиром-Волынским. Шолоховская картина сражения у деревни Свинюхи иллюстрирует провал одной из таких попыток.

Свинюхи и соседние деревни не раз фигурировали в военных сводках, как русских, так и неприятельских. В 3-й главе 4-й части «Тихого Дона» русские атакуют в районе Свинюх в начале октября 1916 года. Но по какому стилю? В тексте упоминаются 2-е и 3 октября в связи с движением войск к фронту для участия в повторном наступлении вблизи Свинюх. 3 октября датируется и применение немцами удушливых газов в приказе безымянного русского командира, который в 1916 году мог пользоваться только старым стилем. Вопрос о времени боев у Свинюх в «Тихом Доне» решает обращение к немецкой сводке: «Ожидаемое общее наступление западнее Луцка... началось сегодня (2 октября) после исключительно сильной артиллерийской подготовки... Не считаясь с тратой людей, русские корпуса штурмовали до 12 раз, а оба гвардейских корпуса даже 17 раз. Все атаки потерпели неудачу, каждый раз с необычайно тяжелыми для противника потерями в живой силе... Наши потери сравнительно малы».<sup>5</sup> Австрийская сводка в тот же день сообщила о переходе русских в наступление после многочасового ураганного огня их артиллерии на фронте между Свинюхами и Затурцами. В районе Свинюх русские атаковали 17 раз, у Затурцев — до 12 раз. Атаки повсюду отражены. Русская гвардия была принесена в жертву третий раз за короткий отрезок времени.<sup>6</sup>

Что в обеих вражеских сводках и «Тихом Доне» речь идет о боях под Свинюхами именно в первых числах октября, а не в другое время, подтверждается фактами. Бывший начальник штаба Юго-Западного фронта генерал В. Н. Клембовский писал, что подготовка русских войск к наступлению была нарушена сильными контратаками немцев 14 (27) сентября. При этом «очень серьезны были потери 10 Сибирской стр(елковой) дивизии: она лишилась 6000 н(ижних) чинов, 100 офицеров... Для восстановления ее положения в район Свинюх были двинуты 3 гвардейских полка... 18 сентября (1 октября)... 8 и Особая армии начали артиллерийскую подготовку».<sup>7</sup> Немецкая сводка от 28 сентября сообщает: «4-й русский Си-

<sup>4</sup> Мельников Н. М. А. М. Каледин — герой Луцкого прорыва и Донской Атаман. Мадрид, 1968. С. 90.

<sup>5</sup> Немецкая сводка. Восточный театр военных действий. Фронт генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского // *Der Kriegsverlauf im dritten Jahr. August 1916—Juli 1917*. Berlin, 1917. S. 250 (перевод мой. — Г. Е.). Те же немецкая и австрийская сводки напечатаны под заголовком «Поражение русских у Свинюх»: *Hemberger A. Der europäische Krieg und der Weltkrieg. Vierter Band. 79. Heft. Wien; Leipzig, [1916?]. S. 597—599*. За сводками следуют комментарии.

<sup>6</sup> *Der Kriegsverlauf im dritten Jahr. August 1916—Juli 1917*. S. 252.

<sup>7</sup> Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Часть 5. Период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. / Сост. В. Н. Клембовский. М., 1920. С. 105—107 (далее ссылки на это издание даются в тексте). Впоследствии генерал Клембовский вступил в Красную Армию. В 1921 году

бирский армейский корпус... понес потери, которые поставили его на грань уничтожения».<sup>8</sup> 4-й Сибирский стрелковый корпус состоял из 9-й и 10-й Сибирских стрелковых дивизий.<sup>9</sup> Разгром его произошел за четыре дня до начала русских атак в районе Свиных 2—4 октября н. ст., что не согласуется с 3 октября ст. ст., когда немцы, по сообщению безымянного командира, пустили удушливые газы.

Теперь перейдем к сопоставлению воинских частей и населенных пунктов в 3-й главе 4-й части «Тихого Дона» и в 5-й части «Стратегического очерка войны 1914—1918 гг.». 3-я глава открывается уведомлением, что на Владимиро-Волынском и Ковельском направлениях, на участке Особой армии, в конце сентября началась подготовка к наступлению. Особая армия, пишет Шолохов, была по счету тринадцатой, и суверенные генералы окрестили ее «Особой». Возможно, Шолохов прав, но такого объяснения ее наименования нет ни в «Стратегическом очерке», ни в «Моих воспоминаниях» генерала Брусилова. Во всяком случае, армия была особой по своему составу: ее ядром были вначале два гвардейских пехотных корпуса и один гвардейский кавалерийский корпус, к которым Брусилов прибавил два армейских корпуса.<sup>10</sup> По оценке Брусилова, солдатский и офицерский контингент Особой армии был «великолепен, но высший командный состав оставлял желать много лучшего». Командующий армией генерал В. М. Безобразов — «честный, твердый, но ума ограниченного», «командир 1 гвардейского корпуса, великий князь Павел Александрович, был благороднейший человек... но в военном деле решительно ничего не понимал», Г. О. Гаух, командир 2-го гвардейского корпуса, «человек умный и знающий... но его нервы совсем не выносили выстрелов... он терял присутствие духа и лишался возможности распоряжаться».<sup>11</sup> При таких начальниках войска несли неоправданные потери. Офицеры и солдаты неистовствовали. Однако заменить верхушку Особой армии Брусилев не имел права. Ее старшие начальники назначались и смещались царем. В конце концов Брусилеву удалось избавиться от непригодных командиров. Армию возглавил генерал Гурко, «безусловно соответствовавший этому назначению».<sup>12</sup> Разумеется, таких деталей в «Тихом Доне» и у Клембовского нет.

В «Стратегическом очерке» об Особой армии говорится довольно часто, в том числе в репортажах о сражениях вблизи Свиных. В романе Шолохова это селение — арена гибели атакующих русских: «Девять с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свиных». О связи «Тихого Дона» с работой Клембовского свидетельствуют также упоминания в них 30-го армейского корпуса, переданного 6 (19) июля из 8-й армии в Особую (Ч. 5. С. 79). До октябрьского наступления в районе Свиных Клембовский пишет об участии 30-го корпуса в летних боях на реке Стоход, восточнее Ковеля (Ч. 5. С. 82—83 и Схема № 13. Действия армии генерала Безобразова на Стоходе с 15-го по 21 июля (с 28 июля по 3 августа) 1916 года. С. 78). Топонимы и названия воинских частей из этого описания мы встретим позже в «Тихом Доне»: 1-й Туркестанский корпус, 80-я пехотная дивизия 30-го корпуса, деревни Большой Порск и Малый Порск (в романе Большие и Малые Порек), Рудка-Мирина (в романе

---

умер в тюрьме или расстрелян за измену. Пользуюсь случаем поблагодарить российского шолоховед В. Н. Запелова за присылку мне по моей просьбе ксерокопии отрывка из работы Клембовского, в котором анализируется положение на Юго-Западном фронте с половины июня по 7 октября н. ст. (Клембовский приводит даты по обоим стилям).

<sup>8</sup> Der Kriegsverlauf im dritten Jahr. August 1916—Juli 1917. S. 203.

<sup>9</sup> Звезинцов В. В. Русская армия 1914 г. Подробная дислокация. Формирования 1914—1917. Регалии и отличия. Париж, 1959. С. 17.

<sup>10</sup> Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 2001. С. 185.

<sup>11</sup> Там же. С. 188—189.

<sup>12</sup> Там же. С. 189.

Рудка-Меринское). В приложении № 7, представляющем собой перечень корпусов и дивизий по армиям Юго-Западного фронта на 12 (25) июня 1916 года, указано, что 30-й корпус 8-й армии состоял из 71-й и 80-й дивизий (Ч. 5. С. 116). У Шолохова из 71-й дивизии задействованы два полка, из 80-й — все четыре. Во исполнение приказа начальника штаба армии командир 30-го корпуса перебрасывает в район Свинюх 318-й Черноярский, 319-й Бугульминский и 320-й Чембарский полки 80-й дивизии. Один из ее полков, не названный, был заранее двинут в противоположном направлении, чтобы ввести в заблуждение неприятеля. Левее 80-й дивизии шли 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. В рукописи трем полкам 80-й дивизии даны их номера, четвертый вписан над строчкой как «317 донской». Это должен быть 317-й Дрисский, безымянный полк, выполнявший ложный маневр. К Павлоградскому и Венгровскому полкам в рукописи добавлены их номера. Над строчкой вписан 282-й Александрийский полк, а на левом поле — 281-й Новомосковский («Тихий Дон». Ч. 4. Рукопись. С. 19). Эти два полка 71-й дивизии остались в печатном тексте «Тихого Дона» невостребованными. Так как названия и номера полков 30-го корпуса даны в романе точно, можно предположить, что они были взяты из какого-то перечня формирований царской армии, а отправным пунктом для розыска послужила информация о составе 30-го корпуса в 5-й части «Стратегического очерка войны 1914—1918 гг.».

Как участников наступления на Свинюхи Шолохов называет 2-ю и 3-ю дивизии Туркестанского стрелкового корпуса, 53-ю пехотную дивизию и 307-ю Сибирскую стрелковую бригаду. 2-я и 3-я Туркестанские дивизии могли входить в 1-й Туркестанский корпус и вместе с 30-м корпусом и гвардией вести атаки в районе Свинюх в составе Особой армии генерала Гурко (Ч. 5. С. 102—104). 53-я и 20-я пехотные дивизии составляли в июне 1916 года 23-й корпус 8-й армии, но 1 (14) сентября 53-я дивизия числится в 9-й армии на крайнем левом фланге Юго-Западного фронта (Ч. 5. Приложение № 7. С. 116; Схема № 17. С. 99). Участие ее в октябрьских сражениях у Свинюх невозможно. О 307-й Сибирской стрелковой бригаде сведений у меня нет. Справа от туркестанцев, пишет Шолохов, наступали «батальоны 3-й гренадерской дивизии». У Клембовского есть строки о Гренадерском корпусе, который наносил вспомогательный удар 20 июня (3 июля) при наступлении 4-й армии на Западном фронте (Ч. 5. С. 64—65). Возможно, что Гренадерский корпус в боях у Свинюх участия не принимал.

По окончании первого дня наступления у Свинюх Шолохов фокусирует внимание на движении к фронту 318-го Черноярского полка, в котором он поместил Валета. В «Тихом Доне» говорится, что этот полк «до переброски стоял у реки Стоход в районе местечка Сокаль, неподалеку от фольварка Рудка-Меринское», и через три дня остановился на отдых «в деревнях Большие и Малые Порек». В процитированные фразы вкрались неточности. Сокаль расположен не у Стохода, а на реке Буг и в то время находился в руках неприятеля (Ч. 5. Схема № 17. С. 99). На неправильное написание населенных пунктов указывалось выше. 3 октября в деревню Малый Порск одновременно вступают батальон 318-го Черноярского полка и особая казачья сотня, двигавшаяся со штабом 80-й дивизии. Второй взвод сотни состоял из казаков хутора Татарского. Таким образом автор организует теплую встречу Ивана Алексеевича и Валета с ностальгическими воспоминаниями о Штокмане.

По выходе из Малого Порска казакам попадают раненые 3-й дивизии Туркестанского корпуса. Номер его не назван, но известно, что 1-й Туркестанский корпус был в Особой армии. Затем к казакам прискакал ординарец из штаба 318-го Черноярского полка с сообщением, что на рассвете 3 октября немцы отравили удушливыми газами три батальона 256-го полка и заняли первую линию окопов. За этим следовал приказ выбить противника из захваченных окопов во взаимодействии с двумя ротами 318-го Черноярского полка и батальона Фанагорийского пол-

ка 3-й гренадерской дивизии. Названия и номера подразделений даны правильно.<sup>13</sup> 256-й Елисаветградский полк 64-й дивизии 18-го корпуса по данным на 1 (14) сентября находился в 9-й армии Юго-Западного фронта, куда 64-я дивизия была переброшена с Западного фронта по приказу от 24 июля (6 августа) 1916 года (Ч. 5. С. 86—87, 97; Схема № 17. С. 99). Пострадать от газовой атаки 256-й полк, по всей вероятности, не мог. У нас также нет информации о причастности Фанагорийского гренадерского полка к военным действиям в районе деревни Свиноухи. Кажется, Шолохову приглянулось звонкое название этого полка. При уходе Добровольческой армии из Ростова в феврале 1918 года в рядах Корниловского полка идет «поручик Суворовского Фанагорийского гренадерского полка Бочагов» (ч. 5, гл. 18; «Суворовского» — потому что полк носил имя «генералиссимуса кн. Суворова»).

При повторном наступлении в районе Свиноух Шолохов называет следующие подразделения: забайкальские казаки, Черноярский полк с особой казачьей сотней, Фанагорийский гренадерский, Чембарский, Бугульминский, 208-й пехотный, 211-й пехотный, Павлоградский, Венгровский, полки 53-й дивизии, 2-я Туркестанская стрелковая дивизия. Поскольку о большинстве этих частей мы уже говорили, ограничимся краткими замечаниями. В перечне 211-й Никольский полк почему-то отделен от трех других полков 53-й дивизии 23-го корпуса. Кроме того, в Приложении № 7, отражающем состав армий Юго-Западного фронта на 12 (25) июня 1916 года, этот полк числится в 8-й армии, а на Схеме № 17 от 1 (14) сентября он уже занесен в состав 9-й армии (Ч. 5. С. 99, 116). Следовательно, он не имеет никакого отношения к боям в районе Свиноух. То же можно сказать о 208-м Лорийском полке 52-й пехотной дивизии, которой нет ни в Приложении № 7, ни на Схеме № 17. Между Приложением и Схемой есть разница. В Приложении даются номера корпусов и дивизий, что облегчает поиски полков по соответствующим справочникам. На Схеме № 17 указываются только корпуса. Их состав в военное время нередко изменялся. Шолохов в основном полагался на Приложение, не обращая внимания на перегруппировки войск. Поэтому корпуса и дивизии появляются у него временами там, где их не должно быть.

Часть 5-я «Стратегического очерка войны 1914—1918 гг.» — не единственный источник шолоховского изображения боев в районе Свиноух в первых числах октября 1916 года. В «Тихом Доне» появляются фамилии реальных лиц, не встречающихся у Клембовского: командир 30-го армейского корпуса Особой армии генерал-лейтенант Гаврилов, начальник 80-й дивизии 30-го корпуса генерал Китченко, недавно убитый генерал Копыловский, о котором рассказывает взводный урядник из сотни донских казаков, приданной штабу 80-й пехотной дивизии. Источник этих данных нам неизвестен. Поиски его потребуют дополнительных исследований.

<sup>13</sup> См.: Звезгинцов В. В. Указ. соч. С. 4, 12.

© Т. С. Тайманова

## ЖАННА Д'АРК И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Образ Орлеанской девы всегда был чрезвычайно притягателен для разного рода интерпретаций. По словам немецкого историка Г. Крумайха, «подлинный культ Жанны в сущности исповедовали то республиканцы, то консерваторы, то роялисты, и по ходу истории его „аннексировали“, „заимствовали“, „извращали“



«...» враждующие стороны».<sup>1</sup> Каждый автор рассматривал ее как наиболее «удобную» героиню для выражения собственных убеждений.

Литературная традиция образа Жанны д'Арк во Франции насчитывает несколько веков, но особое звучание он приобрел в переломную эпоху рубежа XIX—XX веков, отмеченную надвигающейся военной угрозой, а также кризисом науки и веры. В то время Жанна привлекала писателей прежде всего своим героизмом, патриотизмом и высокой духовностью. Коллективно созданная авторами разных эпох легенда о Жанне составляла один из концептов, глубоко укоренившихся в национальном сознании и в какой-то мере определявших ментальность Третьей республики. Среди французских писателей той времени, наиболее глубоко и интересно отразивших в своих «иоаннических» произведениях вышеназванные кризисные моменты, вспомним прежде всего Шарля Пеги («Мистерия о милосердии Жанны д'Арк»), Анатоля Франса («Жизнь Жанны д'Арк») и Поля Клоделя (оратория «Жанна д'Арк на костре»)<sup>2</sup>.

Однако образ Жанны д'Арк является не только феноменом национальной культуры. В этом отношении важно проследить, как интерпретировался этот персонаж в малоизвестных произведениях двух авторов русского зарубежья — Дмитрия Мережковского и князя Сергея Оболенского. В России сюжет о Жанне д'Арк не имел особого распространения в литературе, но у этих авторов, переживших ужасы 1917 года и пытавшихся осмыслить трагический ход исторического процесса в России, ее судьба нашла столь же глубокий отклик, как и у французов, творивших на рубеже XIX—XX веков.

Речь идет о третьей части трилогии Д. С. Мережковского «Лица святых от Иисуса к нам», которая называется «Жанна д'Арк» (1938), и о монографии С. С. Оболенского «Жанна — Божья Дева» (опубликована посмертно в 1988 году). Эти книги разделены несколькими десятилетиями, но объединяет их стремление осмыслить религиозно-философское значение подвига Жанны сквозь призму русской духовности.

Центральной темой философских исканий Мережковского является метафизическая сущность христианства и борьба добра и зла в истории. Названный выше религиозно-философский и публицистический трактат сочетает в себе отвлеченную теорию и злободневность, идею о Третьем Завете и прямые высказывания против большевизма. Писатель вскрывает глубинное родство между духовной атмосферой постреволюционной России и средневековой Франции, связывая смуту Столетней войны с Первой мировой войной и большевизмом.

Писатель ищет в истории человечества те фигуры, которые открывают путь в Третье Царство — Царство Духа. Парадоксально, что для него таковыми оказываются «протестанты» и «еретики», к которым он причисляет Данте, Терезу Лизьескую и Жанну д'Арк. Оставаясь глубоко и искренне верующими христианами, они вместе с тем противятся догме (буквально *protesto* — «противлюсь», «восстаю»). Судьи на процессе говорят Жанне: «„Вы должны подчиниться суду святой нашей Матери Церкви, считая за истину все, что постановили ваши духовные пастыри... Отрекаетесь ли вы, Жанна, от всех ваших дел и слов?“ — „Нет, все мои дела и слова от Бога!“ — отвечает Жанна».<sup>3</sup> В противостоянии Жанны и Римской церкви Мережковский видит то плодотворное начало, которое приведет мир к Царству Третьего Завета.

<sup>1</sup> Krumeich G. Jeanne d'Arc à travers l'histoire. Paris, 1993. P.17.

<sup>2</sup> См. об этом: Тайманова Т. 1) Шарль Пеги (вступительная статья) // Пеги Ш. Наша юность. Мистерия о милосердии Жанны д'Арк. СПб., 2001. С. 5—62; 2) Жанна д'Арк — героиня Шарля Пеги и Поля Клоделя // Материалы Международной конференции «Встреча с Клоделем на земле Пушкина. Незабвенная вселенная». Нижний Новгород, 2005. С. 172—183; Фрид Я. Анатолий Франс и его время. М., 1975. С. 280.

<sup>3</sup> Мережковский Д. Лица святых от Иисуса к нам. М., 1997. С. 308, 357.

Силам добра у автора противостоят «Годоны», как в средневековой Франции называли, искажая английское ругательство «God damn», постоянно богохульствовавших английских захватчиков; их звали также «Хвостатыми» (Couès) «за то, что мучили они французов в их же собственной земле, как дьяволы в аду мучают грешников».<sup>4</sup> Так же называет Мережковский и современных ему безбожников, самыми опасными из которых он считает большевиков и коммунистов. «Между старыми и новыми Годонами разница та, что нашествие тех было внешнее, а этих — внутреннее; те были чужие, а эти — свои; те были народом, а эти всемирны... тех были десятки тысяч — горсточка, а этих — миллионы <...> Вечная метафизическая сущность новых и старых Годонов одна — безбожие. Но старые имя Божие хулят, потому что верят во что-то, а новым и хулить нечего, потому что Бог для них ничто. Только тело народа убивали старые, а новые убивают и тело, и душу».<sup>5</sup>

Мережковский и его героиня стремятся привести к спасению через духовное очищение всех своих современников, независимо от их национальности. Жанна заботится о вечном спасении английских солдат не меньше, чем о праведности французской армии. Да, англичане должны оставить Францию французам и позволить править ею французскому королю, и Жанна готова сражаться с ними на ратном поле, но не желает гибели их душ и плачет над убитыми англичанами так же, как над французами. Интересно, что русский мыслитель Мережковский делает Францию центром духовного спасения Европы. Он пишет: «Царством Божьим будет сначала Франция, а потом и вся Европа — весь христианский мир, потому что дело Жанны не только народно, „национально“ <...> но и всемирно; дело это не в римском, а в вечном смысле „католическое“, „вселенское“ <...> если бы чудо Жанны было только „национальным“, а не всемирным, то оно не спасло бы и Франции».<sup>6</sup> Здесь напрашивается сравнение с Шарлем Пеги, которого часто упрекали в национализме, ибо он считал французский народ «единственным, кто сумел в сумятице современного мира сохранить наследие человечества прошлого»,<sup>7</sup> и провозгласил французскую расу «единственной действительно избранной из всех современных рас».<sup>8</sup>

Мережковский, кстати, не раз упоминает «Мистерию о милосердии Жанны д'Арк» Пеги, называя ее «Таинством любви Жанны д'Арк». Он пишет, что Пеги — «первый певец» Жанны.<sup>9</sup> Вслед за Пеги он проводит параллель между Жанной и Христом, называя ее мятежницей против Церкви и государства столь же «неизвестной» и непостижимой, как сам Иисус. Такая переключка между столь разными писателями не случайна. Для обоих Жанна — тот архетип, который дает возможность художнику выразить свое «я» и, не погрешив против исторической достоверности, обратиться к жгучим проблемам современности. Этот архетип, всплывающий, по К. Г. Юнгу, в кризисные моменты и дающий жизнь «мифам, религиям и философским концепциям, воздействующим на целые народы и разделяющим исторические эпохи»,<sup>10</sup> совершенно закономерно привлек в канун Первой и Второй мировых войн таких «ангажированных» авторов, как Пеги и Мережковский.

Князь Сергей Оболенский был младшим современником Мережковского. Он родился в Тифлисе в 1908 году, а в 1920 году эмигрировал сначала в Венгрию и Германию, а затем во Францию. В отличие от Мережковского С. Оболенский был скорее публицистом и историком, нежели литератором. В 1962 году он основал

<sup>4</sup> Там же. С. 248.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же. С. 257.

<sup>7</sup> *Péguy Ch. Œuvres en prose complètes: En 3 vol. Paris, 1992. Т. II. P. 115.*

<sup>8</sup> *Ibid. P. 378.*

<sup>9</sup> *Мережковский Д. Указ. соч. С. 257.*

<sup>10</sup> *Юнг К. Г. Человек и его символы. М., 1997. С. 343.*

журнал «Возрождение» и оставался его главным редактором до самой смерти в 1980 году. Изучению феномена Жанны д'Арк он посвятил значительную часть своей жизни.

Оболенский пишет: «Я хотел увидеть ее как можно яснее просто потому, что полюбил ее при первой же „встрече“. Когда я, вскоре после окончания Второй мировой войны, решил с карандашом в руках прочесть <...> все, что может так или иначе пролить свет на эту личность и на эту судьбу, я искал только правды о ней, потому что никакой „своей“ правды у меня больше не было. И <...> чем лучше и ближе я ее узнавал, тем больше я ее любил и тем больше убеждался в той правде, которую она открывает».<sup>11</sup> В своей книге «Жанна — Божья Дева», изданной во Франции и практически неизвестной в России, Оболенский, стремясь создать исторически достоверный портрет Жанны и привлекая множество документов, исследовал причины различных политических коллизий и корни теологических споров вокруг ее имени. Не оставил он без внимания и литературные памятники, посвященные Жанне, в том числе произведения Пеги и Мережковского. Пеги он называл «пророком», который «в „Мистерии Любви Жанны д'Арк“ показал ее образ с точностью непревзойденной».<sup>12</sup> Про Жанну Мережковского он писал, что тот «многое увидел в ней правильно, <...> лучше многих других понял ее внутренние мучения, ее „муку о Церкви“, <...> чувствуя, что она стоит „на последней черте“, „в соединительной точке“ истории и Царствия Божия».<sup>13</sup> Как и Мережковский, Оболенский подробно останавливается на всех этапах земной жизни Жанны, начиная с легенд, связанных с ее рождением, и кончая процессом реабилитации и посмертной ролью образа Жанны в светской и духовной истории. Он тоже видит в Жанне святую, ведущую мир к духовному спасению, и остро чувствует противостояние добра и зла в истории, считая современную западную рационалистическую Церковь отпавшей от истинных идеалов старой Франции, воплощением которых были Карл Великий, его паладин Роланд и святой Людовик.<sup>14</sup> Можно предположить, что идеи Оболенского навеяны хрестоматийными для французов словами Жанны из «Мистерии...» Пеги: «Никогда король Франции не бросил бы его (Христа. — Т. Т.). Никогда Шарлемань и Роланд, <...> никогда святой Людовик <...> не оставили бы Его. Никогда наши французы не отступились бы от Него».<sup>15</sup> Для Оболенского, как и для Пеги, квинтэссенцией духа старой христианской Франции было житие святого Людовика, описанное сиром Жуанвилем. Здесь очевидны текстуальные переклички. Жанна Оболенского на Руанском процессе приводит слова св. Людовика о смертном грехе,<sup>16</sup> а Пеги в своем публицистическом эссе «Наша юность», где речь идет о деле Дрейфуса, цитирует те же слова французского короля.<sup>17</sup> В обоих случаях речь идет о грехе отречения и предательства, а также о чести Франции.

Возвращаясь к перекличкам текстов Оболенского и Мережковского, вспомним об идее протестантизма. Внутренний протест связывает Жанну Оболенского с «протестантами» Мережковского (Данте, Иоахимом Флорским, святой Жанной). Оболенский пишет о Жанне: «Протестанткой она, конечно, не была, и конфликт с церковной властью переживала как величайшую трагедию. Но объективная историческая истина заключается в том, что вокруг нее сталкивались два понимания Церкви и две формы церковной жизни».<sup>18</sup> Напомним, что и героиню Пеги Поль

<sup>11</sup> Оболенский С. С. Жанна — Божья Дева. Париж: YMCA-PRESS, 1988. С. 6.

<sup>12</sup> Там же. С. 496.

<sup>13</sup> Там же. С. 6.

<sup>14</sup> Там же. С. 215, 216, 249 и др.

<sup>15</sup> Пеги Ш. Наша юность. Мистерия о милосердии Жанны д'Арк. С. 354.

<sup>16</sup> Оболенский С. С. Указ соч. С. 130—131.

<sup>17</sup> Пеги Ш. Наша юность. Мистерия о милосердии Жанны д'Арк. С. 208.

<sup>18</sup> Оболенский С. С. Указ соч. С. 424.

Клодель назвал «упрямой протестанткой»,<sup>19</sup> и именно в результате своей смелой художественной интерпретации образа святой сам Пеги навсегда остался для правозверных католиков протестантом, если не еретиком.<sup>20</sup>

Сходство в интерпретации образа Жанны у русских авторов и у Пеги вовсе не случайно. Духовные воззрения Пеги, особенно его философско-историческое видение, были чрезвычайно близки духу русской историософии.<sup>21</sup> В то же время писатели, эмигрировавшие во Францию и прекрасно знавшие и любившие французскую историю и культуру, не могли не подпасть под очарование образа Орлеанской девы.

Нельзя забывать также о русских и православных корнях Мережковского и Оболенского. Несмотря на любовь к стране, давшей им последнее пристанище, оба писателя пытаются найти в протестантизме Жанны то, что сближает ее с духом Восточной церкви, с Россией. Мережковский прямо говорит: «Жанна действительно святая не одной из двух Церквей, Западной, а единой Церкви Вселенской (...) она принадлежит всему христианскому миру».<sup>22</sup> Он проводит интересную параллель между Жанной и Иоахимом Флорским, а от него, в чьих жилах текла норманская кровь, тянется нить к России. Мережковский надеется, что как Иоахим был, подобно викингам, «завоевателем всемирным, но уже не морей и земель, а духа»,<sup>23</sup> так Жанна, своим подвигом освободившая Францию от «старых Годонов» — англичан, своей молитвой и великой жертвой освободит Францию, а за ней и весь мир и Россию от «новых Годонов» — безбожников и коммунистов.

Оболенский же противопоставляет восточный мистицизм западному и, подробно исследуя вопрос об экстазах Жанны, приводит сходные случаи из жизни преп. Серафима Саровского. Рассказывая о том, как Карл, разговаривая с Жанной, лицезрел ангела, Оболенский пишет, что в мистическом опыте Восточной Церкви подобные явления выглядят закономерными, и описывает беседу Серафима Саровского с Мотовиловым, который «едва мог поднять на него глаза, такое от него исходило сияние».<sup>24</sup> Передает он и рассказ послушника преподобного, Иоанна Тихонова: «Лицо его постепенно изменялось и издавало чудный свет и наконец до того просветлилось, что невозможно было смотреть на него; на устах же и во всем выражении его была такая радость и восторг небесный, что поистине можно было называть его в это время земным ангелом и небесным человеком».<sup>25</sup> Оболенский напоминает, что сияние «несотворенным» светом не один раз исходило и от Жанны. Его видел Бастард Орлеанский в Лошском замке, а на процессе ее допрашивали о том, «что такое было вокруг ее шлема» во время приступа на Жаржо.<sup>26</sup>

Оболенский вслед за Пеги и Мережковским выделял присущее Жанне «всегдашнее „пересечение двух планов“ (видеть ангелов, не переставая видеть людей). Как женщина, она стояла обеими ногами на земле (...) она шла восстанавливать органический порядок вещей, природное единство нации, которую она сама ощущала как огромную семью под властью природного короля; (...) ее обещания „относятся к человеческим (земным) делам“; но как Дочь Божия она в эти земные

<sup>19</sup> Feuillet mensuels de l'Amitié Charles Péguy. Paris, 1971. № 165. P. 27.

<sup>20</sup> Ярким примером тому служит переписка Пеги с религиозным философом Ж. Маритеном: Correspondance Péguy—Jacques Maritain // Feuillet mensuels de l'Amitié Charles Péguy. Paris, 1972. № 176. P. 11—39; № 177. P. 1—28.

<sup>21</sup> См. об этом: Тайманова Т. Тайна истории в творчестве Ш. Пеги и Н. Бердяева // Материалы XXXIII Международной филологической конференции. Вып. 12: Центр французских исследований. Французские чтения. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. С. 63—73.

<sup>22</sup> Мережковский Д. Указ. соч. С. 245.

<sup>23</sup> Там же. С. 138.

<sup>24</sup> Оболенский С. С. Указ. соч. С. 176.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же. С. 177.

дела вносила совсем иное начало».<sup>27</sup> Этим объясняется исключительная внутренняя сила Жанны, ее влияние как на отдельные личности, так и на массы, в сознании которых она произвела «взрыв духовной и психической энергии».<sup>28</sup>

Хочется подчеркнуть, что и произведения, созданные русскими авторами, и мистерия о Жанне французского писателя, столь разные по времени написания, стилю и жанру, имеют единый стержень — духовное воздействие героини на христианский мир как путь к спасению человечества. Универсальность фигуры Жанны д'Арк и ее связь с ключевыми вопросами человеческой жизни, особо остро встающими в переломные моменты истории, позволили авторам, каждый из которых думал об исторических судьбах своей родины, выделить из общей массы текстов и документов схожие или одинаковые моменты, наиболее ярко свидетельствующие о высокой духовности французской героини, и создать концепцию спасения нации и мира через духовное возрождение.

---

<sup>27</sup> Там же. С. 249.

<sup>28</sup> Там же.

© Л. Г. Степанова

## ПОЛОЦКИЙ РИТОРИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ XVIII ВЕКА\*

Рецензируемая книга, изданная благодаря финансовой помощи настоятеля Индурского католического монастыря отца Ежи Карпинского в Беларуси, вышла таким крошечным тиражом, что шансов ее появления на прилавках российских книжных магазинов практически нет.

Это первое исследование о риториках на Беларуси. Книга обладает несомненной научной ценностью и представляет интерес для филологов и историков (включая студентов и преподавателей) разных специализаций: латинистов и славистов, историков русской литературы XVIII века и историков книги, историков школьного образования в России и в Европе (иезуитские школы), не говоря уже о специалистах, занимающихся изучением риторики как самостоятельной дисциплины и изучением разных риторических традиций, культурных влияний и т. д. Книга состоит из вступительной статьи, издания латинского трактата «*De Arte rethorica libri quinque lectissimis veterum auctorum aetatis aureae exemplis illustrati et ad usum candidatorum eloquentiae accomodati*» (с. 24—155), вышедшего анонимно в Полоцке в конце XVIII века, его русского перевода (приведем перевод этого длинного, на старинный манер, названия полностью: «О риторическом искусстве в пяти книгах, украшенных избранными примерами античных авторов золотого века и приспособленных для кандидатов красноречия») и Комментариев. В Приложении приводятся сводные риторические таблицы из этого латинского руководства по искусству красноречия и их перевод.

Во вступительной статье «Об этой книге и ее авторе» (с. 4—23) дан краткий очерк того исторического контекста, в котором мог появиться этот памятник дидактической литературы XVIII века на западной окраине Российской империи. Неожиданный всплеск латинской учености в этом регионе, где языком преподавания был польский, объясня-

ется притоком беженцев, монахов Ордена иезуитов, осевших именно в Полоцке, когда в 1773 году «Общество Иисуса» было ликвидировано папской буллой Климента XIV (фактически изгнание иезуитов из Португалии, Франции, Испании и др. стран началось гораздо раньше, в конце 50-х годов XVIII в.). В композиционном отношении статья эта хорошо организована; в ней выделены следующие параграфы: Орден иезуитов, или «Общество Иисуса» (*Societas Jesu*); Место риторики в системе иезуитского образования; Об авторстве учебника; Риторическое учение в трактатах Д. Деколони и П. Этки. Большая часть статьи (с. 8—23) посвящена обсуждению вопроса об авторстве анонимного учебника «*De Arte rethorica*», дважды изданного в Полоцке (1788, 1799) в типографии, основанной иезуитами — эмигрантами из разных стран Европы, которые нашли убежище в Восточной Белоруссии, ставшей, после раздела Речи Посполитой, частью Российской империи.

Авторство этих полоцких трактатов традиционно приписывается Доменико Деколони (*Domenicus Decolonia*, 1658/60 — 1741). Почти никаких биографических сведений о нем не сохранилось; известно только, что он в течение 10 лет преподавал риторику в Лионе и написал несколько руководств, которые многократно издавались и переиздавались. Одна из его риторик, тоже из пяти книг и с очень похожим — на анонимный полоцкий учебник — названием была издана в Вильне в 1796 году. Ирине Богдановне Кравчук, внимательно изучившей все доступные энциклопедии, библиографические своды и указатели, показалось странным, что все риторики Д. Деколони (в том числе и изданная в Вильне) неизменно выходили под его именем (*Auctore Domenico Decolonia*), а два близких по времени полоцких издания — анонимно. Поэтому она высказывает предположение, что традиция приписала авторство обсуждаемого учебника лионскому ритору по инерции, и пытается найти подходящую «кандидатуру» среди местных деятелей, проявивших себя на том же поприще — в сфере образования и преподавания риторики, остановив свой выбор на П. Этке. Для доказательства своей гипотезы И. Б. Кравчук подробно анализирует виленскую риторику Деколони и полоцкий трактат, выявляя их принципиальные различия. Сопоставление

\* Латиноязычные риторики на Беларуси: Полоцкий трактат «О риторическом искусстве...» 1788, 1799 годов издания / Вступ. ст., подгот. текста, пер. и коммент. И. Б. Кравчук; отв. ред. Т. Е. Автухович; ред. пер. В. М. Волощук, М. В. Волощук. Минск: РИВШ, 2006. 368 с. Тираж 100 экз.

это проведено достаточно корректно, и выдвинутый тезис, в той его части, где отрицается авторство лионского ратора, выглядит вполне убедительным. Что касается предполагаемого автора полоцкой риторики — П. Эстки, то о правомочности этой гипотезы предоставим судить более сведущим в данной области специалистам, ограничившись замечаниями общего характера: его имя все-таки следовало бы привести полностью, а также сказать, известны ли какие-нибудь другие его сочинения, или же предполагается, что анонимный учебник является его единственным произведением. Отметим при этом, что сам «сюжет», конечно, выходит за жанровые рамки предисловия и заслуживает отдельной публикации (скажем, в виде научной статьи).

Латинский текст полоцкой риторики, впервые переиздаваемый гродненской исследовательницей, тщательно подготовлен и хорошо вычитан. Подстрочные примечания к тексту (около 600) дают различия между двумя изданиями трактата (в виде отдельных латинских словоформ). Все было бы хорошо, если бы не одно — крайне досадное — упущение. И. Б. Кравчук, кажется, так увлеклась проблемой авторства анонимного латинского трактата, что забыла сказать, риторику *какого года издания* — 1788 или 1799 — она переиздает, чем мотивирован этот выбор и к чему относятся подстрочные примечания. Судя по тому, что на обложке ее книги воспроизведен переплет «De Arte rhetorica» 1799 года, можно предположить, что текст печатается именно по этому изданию, а в подстрочных примечаниях приводятся различия по первому изданию (1788 г.). В предисловии, разумеется, все это надо было обязательно оговорить, посвятив этому *один* заключительный абзац вступительной статьи: сказать эксплицитно, чем отличается одна редакция от другой, и каковы принципы настоящего издания (что значат, например, подчеркивания и курсив в тексте). Получается, что И. Б. Кравчук проделала большую текстологическую работу, результат которой налицо, но умудрилась не сказать об этом ни одного слова.

Не будем подробно останавливаться на русском переводе. Когда имеешь дело с хорошей работой в целом, то все положительное в ней воспринимаешь как естественное и само собой разумеющееся.<sup>1</sup> Да, переводчик хорошо владеет языком, с которого переводит (в нашем случае — латинским), умеет передать содержание переводимого текста (риторического трактата) средствами другого языка, знает специальную терминологию и переводит латинские (и греческие) технические термины риторики в соответствии с русской риторической традицией, а те, которые не были охвачены этой традицией, адаптирует к ней,

грамотно транскрибируя непривычные термины. Так, например, термин *энтимема* (это риторическое средство убеждения Аристотель называл также *риторическим силлогизмом*), которого мы не найдем в словарях лингвистических терминов,<sup>2</sup> в полоцком учебнике получает подробное толкование: что такое энтимема; каким образом строится энтимема; каков способ ее разработки; почему ораторы чаще употребляют энтимему, чем силлогизм (с. 222—223). Например, выбранная переводчиком форма *полисиндетон* («многосоюзие») явно удачнее, чем вариант *полисиндет*, представленный в «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо (перевод Н. Д. Андреева). Латинский оригинал показывает колебания анонима в написании этого греческого заимствования (с. 103): *polysyntheton* (I изд.), *polysindeton* (II изд.), в то время как правильная латинская транскрипция: *polysyndeton* (греч. πολυσυνδέτων). Но книга нуждается в серьезной технической редакции, так как если вам понадобится соотнести русский перевод с оригиналом, то сделать это не так-то просто: сначала вам придется долго листать книгу назад, чтобы определить, в какой главе и в какой книге трактата (а их, как мы знаем, пять, но в оглавлении указаны только страницы латинского текста и русского — без деления на книги и главы) встретился интересующий вас термин, а потом проделать ту же работу в обратном направлении, листая вперед русскую часть, чтобы найти нужную книгу и главу, а в ней соответствующий параграф. Если дойдет дело до второго («исправленного и дополненного») издания «Латиноязычных риторики» (о чем мы скажем отдельно), то было бы неплохо составить двуязычный (русско-латинский) глоссарий риторических терминов, который одновременно был бы и предметным указателем — с отсылкой к соответствующим страницам латинского и русского текста трактата.

Теперь обратимся к комментариям к русскому тексту. В отличие от примечаний к

<sup>2</sup> В русской традиции он широко использовался в 20-е годы в школе М. М. Бахтина в значении «подразумеваемое» (ср. более поздний термин «пресуппозиция»). Так, в статье В. Волошинова «Слово в жизни и слово в поэзии» читаем: «Каждое жизненное высказывание является объективно-социальной энтимемой. Это как бы „пароль“, который знают только принадлежащие к тому же самому социальному кругу (...) Тот единый кругозор, на который опирается высказывание, может расширяться и в пространстве, и во времени: бывает „подразумеваемое“ семьи, рода, нации, класса, дней, лет и целых эпох» (Звезда. 1926. № 6. С. 251). Краткая статья об энтимеме есть в «Философской энциклопедии» (Т. 5. М., 1970. С. 565) и довольно подробная — в «Логическом словаре-справочнике» Н. И. Кондакова (М., 1975. С. 689—690).

<sup>1</sup> Кстати, это одна из причин, почему положительные рецензии в большинстве своем так и остаются ненаписанными.

латинскому тексту, здесь они даются не постранично, а в конце (как самостоятельный раздел, обозначенный в оглавлении «Комментарии» — с. 306—318). Как нетрудно заметить, предметом комментария здесь является уже не язык анонимного полоцкого автора XVIII века (метаязык риторики), а текст «примеров». Именно в цитатах из античных авторов и встречаются все те реалии, имена собственные, административные термины, топонимы и т. п., объяснение которых занимает большую часть комментария. Это кажется вполне закономерным (и предсказуемым), так как ни одно риторическое руководство, не обходится без «примеров», иллюстрирующих каждую риторическую фигуру. Источники цитат в обсуждаемой книге тоже комментируются, но, как правило, не раскрываются. Рассмотрим, как это делается, на конкретном примере. В первой книге трактата (гл. 1. § Определение) полоцкий аноним, желая проиллюстрировать такой прием, как «нагромождение причин», говорит: «Так Сенека в 76 письме показывает, что в человеке наивысшим из всех благ является разум», и далее следует большая цитата из этого письма, выделенная курсивом (с. 165—166). В примечании (38 на с. 307) читаем: «*Письма Сенеки* — 20 книг „Писем на моральные темы“, посвященных вопросам практической морали, среди которых подавление аффектов, преодоление страха смерти, похвала воздержанности, нравственное равенство всех людей, утверждение этической идеи бога, вера в предопределение». Все эти сведения были бы уместны, скажем, в комментарии к трактату о воспитании, здесь же они избыточны, а сноску надо было бы дать к цитате с отсылкой к русскому переводу, если таковой имеется, или к латинскому оригиналу, если цитата переведена специально для этого случая. Не увидев сноски в ожидаемом месте (в конце цитаты), читатель к тому же вправе заключить, что эту цитату, как и весь остальной текст, тоже перевела И. Б. Кравчук. Но как выясняется путем несложной проверки, Сенека здесь цитируется в переводе С. А. Ошерова, и это тоже надо было бы указать в комментарии: Сенека. Нравствен-

ные письма к Луцилию. LXXVI. 8 (перевод С. А. Ошерова). Канонический русский перевод Сенеки (М.: Наука, 1977. (Серия «Литературные памятники»)) цитируется здесь точно, что само по себе замечательно, ибо свидетельствует о тщательной редакторской подготовке русского перевода (в выходящих данных указаны два редактора перевода: В. М. Волощук и М. В. Волощук),<sup>3</sup> но следующий шаг — соотнести русский перевод конкретно примера с комментарием к *этому тексту* (а не к «Письмам» Сенеки вообще), сделан не был. Сказанное относится ко всем примерам-цитатам, так что и исправлять это упущение придется *passim*. Если разобратся, то «механизм» этого упущения, в сущности, тот же самый, что и во вступительной статье: проделана большая и кропотливая редакторская работа, цитаты выверены, а последнего, завершающего шага, когда уже все готово и остается только ввести в комментарий ссылку на источник, — опять не сделано.

Отмеченные огрехи и упущения настолько легко устранимы (они не требуют каких-либо дополнительных исследований и разысканий), что не затрагивают главного в этой работе, и мы с полной уверенностью можем сказать, что рецензируемая книга выгодно отличается от многих новейших изданий (в том числе — переводов с комментариями) по целому ряду других (и гораздо более важных) параметров.<sup>4</sup>

Остается надеяться, что это фактически препринтное издание (что такое 100 экземпляров!) в недалеком будущем будет издано, как теперь говорят, в формате книги и станет доступным российским и зарубежным исследователям.

<sup>3</sup> Ответственный редактор книги — Т. Е. Автухович; ее собственная монография вышла в том же издательстве, что и рецензируемая книга: *Автухович Т. Е. Поэзия риторики. Очерки теоретической и исторической поэтики*. Минск: РИВШ, 2005. 204 с.

<sup>4</sup> Ср., в частности, нашу рецензию на перевод «Риторика» Бернара Лами (Критическая масса. 2004. № 2. С. 124—128).

© М. Я. Гольберг (Украина)

## ПОРТРЕТ УЧЕНОГО\*

Приехав в начале сентября 1958 года в Москву на IV Международный съезд славистов,

я встретил среди делегатов Соломона Абрамовича Рейсера. Он прибыл на съезд по специальному приглашению Советского комитета славистов. Обстоятельства этого были таковы. Американский ученый В. Эджертон представил проблемный, насыщенный бо-

\* *Фризман Л.* Научное творчество С. А. Рейсера. Харьков: Новое слово, 2005. 112 с.



гатым фактическим материалом доклад: «Н. С. Лесков и славянские братья России». Для оценки этого доклада и был приглашен С. А. Рейсер как один из наиболее компетентных знатоков творчества Лескова в тогдашнем Советском Союзе. Выступление Рейсера опубликовано в материалах съезда.<sup>1</sup> Сейчас, перечитывая его, вижу, как в нем отобразились важные черты подхода ученого к научным проблемам: умение корректно, спокойно, взвешенно вести полемику (в те далекие годы это встречалось не так уж часто), широкая эрудиция, превосходное знание материала. Я вспомнил об этом эпизоде, познакомившись с книгой Л. Г. Фризмана о Рейсере.

Как создавать портрет ученого? Ясно, что невозможно ограничиться перечислением его трудов, пересказом их основных положений. Важно передать основной пафос деятельности ученого, методологическую и методическую основу его исследований, показать его вклад в науку. Но при этом не следует забывать о личностном начале, которое дает себя знать, особенно тогда, когда речь идет об ученом-гуманитарии.

Все, знавшие Соломона Абрамовича Рейсера, отмечают, что для него характерным было единство жизненных и творческих принципов. Принципиальность, основательность, стремление, говоря словами Б. Пастернака, «дойти до самой сути», умение отстаивать свои взгляды и вместе с тем уважать мнение других — все это сочеталось с открытостью, с охотным желанием общаться с коллегами, в том числе (а может быть, особенно) с молодыми.

Л. Г. Фризман написал интересную, насыщенную богатой информацией книгу. Правда, кое в чем автора можно и дополнить. Но нельзя забывать, что перед нами первый опыт создания характеристики ученого-текстолога, историка литературы и общественной мысли.

Рассмотрение работ С. А. Рейсера автор перемежает с воспоминаниями о герое своего повествования, что, придавая книге особый колорит, не лишает ее объективности, взвешенности, четкости основных положений.

Рассказывая о начале пути С. А. Рейсера, о его студенческих годах, Л. Г. Фризман приводит интересные и неожиданные факты, почерпнутые из архива ученого. Будучи студентом, С. А. Рейсер написал несколько работ, далеких по своей тематике от того, чем он занимался в последующие годы. Это работы о «Пире» Платона, о «Декамероне» Боккаччо и о творчестве Оскара Уайльда. Отрывки из этих работ, представленные в книге, свидетельствуют о широте интересов начинающего ученого, о его самостоятельности, об умении трезво оценить свою работу. В рефе-

рате о «Пире», например, можно увидеть рождение интереса С. А. Рейсера к проблемам критики текста. Среди его первых работ есть также и дипломное сочинение «Некоторые материалы для суждения о ритмике четырехстопного ямба Тютчева».

По поводу главы о начале творческого пути С. А. Рейсера можно сделать лишь одно замечание. Мне кажется, несколько подробнее стоило рассказать о Высшем институте народного образования (ныне Киевский университет). Кроме И. Г. Шаровольского там было несколько ярких филологов: С. С. Савченко, Николай Зеров (выдающийся поэт и ученый). Можно думать, что киевская научная среда оказала влияние на С. А. Рейсера.

Новый этап в жизни Рейсера связан с его переездом в Ленинград. Здесь он получает возможность общаться с Б. М. Эйхенбаумом, Ю. Н. Тыняновым, Ю. Г. Оксманом, Б. В. Томашевским. Здесь выходит его первая книга «Литературные кружки и салоны», подготовленная совместно с М. А. Аронсоном, и подвергшаяся ожесточенным нападкам со стороны вульгарных социологов. Одна из причин этих нападков заключалась в том, что автором предисловия к книге был Б. М. Эйхенбаум. Этого не скрывали и некоторые рецензенты. Приводимые Л. Г. Фризманом выдержки из их рецензий дают представление о тех сложных условиях, в каких начинался путь С. А. Рейсера в науку.

Книга «Литературные кружки и салоны» выдержала проверку временем. Сегодня она оказывается актуальной в связи с новыми подходами к литературе, с утверждением антропологического аспекта литературного произведения. Если мы признаем ту бесспорную истину, высказанную еще Гете, что литература создается человеком о человеке и для человека, то важно иметь представление о тех, кто ее создает. С другой стороны, для некоторых литературных направлений в разные эпохи характерным было то, что их представители объединились в литературные кружки, сообщества единомышленников. Вспомним йенских романтиков и французский «Сеннакль». Или на ином этапе — «Меданские вечера». Или сообщество английских префазаэлитов. Время не только подтвердило ценность книги о литературных кружках и салонах, но и позволило увидеть ее значение в перспективе развития науки.

Я упомянул имя Б. М. Эйхенбаума. Влияние этого выдающегося ученого на молодого Рейсера было велико. Совершенно очевидно, что и интерес к текстологии зародился у него под влиянием Б. М. Эйхенбаума и Б. В. Томашевского. Общение с Эйхенбаумом определило и другие аспекты исследовательской работы Рейсера, в частности интерес к творчеству Лескова.

Одной из бесспорных заслуг Б. М. Эйхенбаума было то, что он вместе с Ю. Н. Тыняновым воспитал целое поколение выдающихся

<sup>1</sup> IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. I: Проблемы литературоведения. Фольклористика и стилистика. М., 1962. С. 73—75.

русских литературоведов. Наряду с С. А. Рейсером можно назвать хотя бы Л. Я. Гинзбург и Г. А. Гуковского. Книга Л. Г. Фризмана еще раз убеждает в том, как необходима объективная и обстоятельная история русского литературоведения после 1917 года.

Л. Г. Фризман справедливо пишет, что «уже в первой книге Рейсера проявилось его главное качество, в большей мере определяющее его место в филологической науке — постоянная нацеленность на материал, его собирание, классификацию и объяснение» (с. 19). Но тут же автор подчеркивает, что у Рейсера точность сообщаемых им фактов сочеталась с пронизательностью их интерпретации. Л. Г. Фризман приводит слова В. С. Баевского: «Рейсер был „поэт фактов“». Следует заметить, что в отношении к фактам всегда заключена определенная идея. С. А. Рейсер умел каждый найденный им факт включить в историко-литературный и исторический контекст, за единичным увидеть общее. Ему был присущ широкий взгляд на историко-литературный процесс, позволяющий открывать новые направления в литературоведении.

Охарактеризовав начало творческого пути С. А. Рейсера, Л. Г. Фризман далее излагает материал не в хронологическом порядке, а в связи с основными направлениями деятельности ученого. Очевидно, автор исходит из того, что такой подход позволяет отчетливее представить вклад Рейсера в науку. Однако при этом становится значительно труднее проследить эволюцию Рейсера, его творческий путь.

Сначала автор рассматривает работы Рейсера в области текстологии. Как известно, С. А. Рейсер был выдающимся текстологом — теоретиком и практиком. Вспоминаю, как в беседах со мной он не раз давал оценку тем или иным изданиям с текстологической точки зрения. Здесь для него не существовало мелочей. Так, он резко критиковал некоторые издания за отсутствие полноценных комментариев и указателей.

Основной труд Соломона Абрамовича в области текстологии «Палеография и текстология нового времени» вышел в 1970 году. Л. Г. Фризман основательно проанализировал работу С. А. Рейсера, отметив ее принципиальное значение. Она обобщила достижения российской текстологической науки и богатейший опыт ее автора, принимавшего участие в ряде изданий русских классиков. В своей книге С. А. Рейсер приводил слова В. В. Томашевского: «Литературовед не может не быть текстологом». Справедливость этих слов несомненна. Решение историко-литературных проблем немислимо без текстологической оценки объекта изучения. Здесь невольно возникает образ героя «Путешествий Гулливера» Свифта, который начинал строительство дома не с фундамента, а с крыши. Литературовед, игнорирующий проблемы текстологии и критики текста, подобен этому персонажу.

Л. Г. Фризман рассматривает практическую работу С. А. Рейсера — издателя и комментатора. Он показывает, как убедительно, творчески решал ученый такие важнейшие вопросы текстологии как установление подлинного авторского текста, определение даты создания произведения, его атрибуцию. Речь идет о том вкладе, который внес Рейсер в науку. В качестве примера он дает, в частности, характеристику изданий стихотворений Н. Огарева и Л. Мея, подготовленных Рейсером для большой серии «Библиотеки поэта».

В одном из своих высказываний С. А. Рейсер назвал текстологию прикладной филологической дисциплиной. Нельзя ли взглянуть на текстологию как на своего рода связующее звено между литературоведческой наукой и читателем? Как показывает Л. Г. Фризман, в основе текстологической работы лежит забота о читателе, о том, чтобы читатель получил доброкачественный текст. Ведь от этого зависит его восприятие. И еще один момент. Работа текстолога, его разыскания, результаты его открытий способствуют расширению читательских представлений о том или ином писателе. Пример — тот же Огарев, многие произведения которого были открыты Рейсером.

Читая работы С. А. Рейсера и их анализ, сделанный Л. Г. Фризманом, приходишь к выводу, что текстология дает материал и для изучения проблем психологии творчества. Ясно, что нельзя отождествлять историю текста как текстологическую проблему и творческую историю произведения. Но и связь их очевидна.

С. А. Рейсер был одним из тех, кто разрабатывал текстологию художественной литературы. Но, очевидно, что данную дисциплину можно назвать общегуманитарной. Сколько вопросов возникает в связи с проблемой издания исторических памятников или философских сочинений! Здесь достижения филологической текстологии становятся необходимыми для историков и философов.

С текстологией связана и та сторона деятельности С. А. Рейсера, которую Л. Г. Фризман называет разоблачением литературоведческих легенд. Стремясь к максимальной объективности, строгой фактичности, С. А. Рейсер выступал против фальшивок и подделок, против укоренившихся в науке стереотипов.

Одна из таких легенд связана с публикацией Демьяном Бедным 18 и 19 апреля 1929 года в газете «Правда» поэмы «Светочи», которая якобы принадлежала Некрасову. Вскоре она была включена в отдельное издание известного произведения Некрасова «Дедушка». Мысль о подлинности опубликованного Демьяном Бедным текста поддержали некоторые видные некрасоведы. Нужно было обладать незаурядной смелостью, чтобы показать, что публикация Демьяном Бедным — фальшивка. Рейсер видел свою задачу в том, чтобы очистить некрасовский текст от фальшивки, восстановить его подлинный смысл. И он эту за-

дачу выполнил, применив разнообразные приемы критики текста.

Другой пример, приводимый Л. Г. Фризманом, касается вопроса о прототипах романа Чернышевского «Что делать?». Ученый внес ясность в творческую историю этого произведения. Его выводы имели принципиальное теоретическое значение. Они были направлены против вулгарного миметизма, против сведения произведения к буквальному копированию жизненных фактов. Речь, по сути, шла о соотношении жизненной и художественной правды. Проблема поисков жизненной основы произведения не снималась, но она получала надежную, выверенную основу.

С. А. Рейсер разоблачил и легенду, связанную с формулой «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“», приписываемой Ф. М. Достоевскому. Он убедительно показал, что это выражение встречалось во многих источниках разнообразного характера, и установило его единоличного автора невозможно.

Как справедливо замечает Л. Г. Фризман, особенно велики заслуги С. А. Рейсера как разоблачителя домыслов, связанных с жизнью и творчеством Н. А. Добролюбова. В работах о Добролюбове Рейсер предстает перед нами и как текстолог, и как историк русской литературы и общественной мысли, и как краевед. Особого внимания заслуживает его работа по поводу атрибуции «Письма из провинции», напечатанного в «Колоколе». Дело не только в тех выводах, к которым пришел Рейсер, но и в том, какой была логика его доказательств. Он ставит вопросы, которые опять-таки имеют общеметодологическое значение. Во-первых, вопрос о роли и месте гипотезы в литературоведческом исследовании. Гипотеза становится приобретением науки, когда она пройдет проверку фактическим материалом. Во-вторых, как подчеркивает Л. Г. Фризман, С. А. Рейсер отрицательно относился к общепринятой в его время идеализации революционных демократов и преувеличению их радикализма.

Я вообще думаю, что сам термин «революционные демократы» нуждается в пересмотре, несмотря на то, что за долгие годы он укоренился в науке. Деятельность Чернышевского, Добролюбова и их соратников имеет бесспорное историческое значение, но тем не менее она нуждается в переосмыслении и переоценке. На многие работы наложилась отпечаток ленинской периодизация российского освободительного движения и пресловутое учение о «двух культурах». Сейчас порой впадают в другую крайность, проявляя нигилистическое отношение к наследию Чернышевского и Добролюбова. Здесь уместно вспомнить уроки С. А. Рейсера. Он был человеком своего времени, отдавал ему дань. Но будучи «поэтом фактов», трезвым, взвешенным и честным исследователем, он был свободен от преувеличений, всегда оставался на позици-

ях историзма. Об этом убедительно пишет Л. Г. Фризман. Тем не менее ученый вынужден был, как видим, пользоваться общепринятой терминологией.

К разделу «Разоблачитель литературных легенд» примыкают главы «Некрасов» и «Революционные демократы». Автор книги вынужден порой возвращаться к одному и тем же вопросам. Впрочем, все стороны деятельности Рейсера так тесно связаны между собой, что отделить одну от другой трудно. В главе о Некрасове снова речь идет о находках Рейсера. Но «поэт фактов» идет от частных к широкому обобщению, которые позволяют сделать вывод об историческом кругозоре Рейсера. Л. Г. Фризман подчеркивает: Рейсер постоянно выступал против фетишизации классиков, против выпрямления историко-литературного процесса. Здесь же он подчеркивает особое значение работы Рейсера над эпистолярным наследием Некрасова. Переписка писателя, деятеля культуры — важный и необходимый источник для понимания его творчества, его внутреннего мира.

В главе «Некрасов» и в следующей за ней «Революционные демократы» Л. Г. Фризман продолжает разговор и об историко-литературном значении освещения Рейсером краеведческой проблематики. Автору приходится снова обращаться к тем вопросам, которые он уже рассматривал на предыдущих страницах. Может быть, стоило собрать воедино все то, что касается Чернышевского, Белинского, Добролюбова и Некрасова. Это придало бы большую стройность книге.

Л. Г. Фризман обстоятельно анализирует монографию С. А. Рейсера «Революционные демократы в Петербурге. По памятным местам жизни и деятельности В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова». Литературное краеведение предстает перед нами как историко-литературная дисциплина, помогающая проникнуть в мир деятеля культуры, понять те идущие от действительности импульсы, которые питали его творчество. Вместе с тем речь идет и о глубоких связях истории литературы с историей общественной мысли.

В этой же главе автор снова возвращается к проблемам, связанным с изучением творчества Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Он подчеркивает значение работы С. А. Рейсера по восстановлению подлинного текста романа «Что делать?», его блестящих комментариев к нему. Хочется особо подчеркнуть, что именно с комментария, с основательного объяснения всех реалий произведения и должна начинаться его интерпретация, проникновение в его смысл.

Будучи «поэтом фактов», Рейсер, как уже говорилось, никогда не был только их собирателем, коллекционером. Фундаментом его работ, их подлинной основой всегда была направляющая теоретическая мысль. Это позволило ему открыть новые направления в русской историко-литературной науке. Речь

идет о двух созданных Рейсером антологиях вольной русской поэзии XVIII—XIX веков, которые сразу же привлекли внимание не только специалистов, но и широких читательских кругов. Л. Г. Фризман отмечает, что первая и едва ли не главная заслуга Рейсера как исследователя вольной поэзии состоит в том, что он в значительной мере определил само это понятие, уточнил его границы, расширил ранее существовавшие представления о его содержании. Знакомясь с антологиями Рейсера, убеждаешься в том, какую огромную работу проделал ученый, воссоздав целый пласт русской культуры, русской общественной жизни. Работа Рейсера дает богатый материал для решения вопроса о жизни литературного произведения, о читательском восприятии, а вместе с тем для понимания роли литературы в общественной жизни. С антологиями вольной русской поэзии связано и участие С. А. Рейсера в «Библиотеке поэта», о чем также рассказывает Л. Г. Фризман.

Совершенно естественно и закономерно, что Л. Г. Фризман, работающий на Украине, не обошел и такую тему как Рейсер и Украина. Ученый неоднократно обращался к этой теме, о чем свидетельствует хотя бы упомянутая Фризманом рецензия на книжку Л. Левандовского «М. С. Лесков і Україна». Одна из первых статей Рейсера называлась «Лесков і українська культура». Переехав в Ленинград, молодой Рейсер публиковал в журнале «Червоный шлях» статьи о произведениях русских писателей, о трудах русских ученых. К сожалению, здесь автор ограничился лишь лаконичной информацией. Между тем роль упомянутого журнала в истории русско-украинских литературных контактов значительна, но до конца не изучена. Существенно, что в этом журнале печатался и Б. Эйхенбаум.

Постоянно интересовался ученый творчеством Т. Г. Шевченко. Примечательна написанная С. А. Рейсером в соавторстве с В. Мануйловым содержательная рецензия на «Шевченківський словник».

Вспоминаю, как в беседах со мной, С. А. Рейсер с большой симпатией говорил об украинской культуре. Дружеские связи поддерживал он со многими украинскими учеными, выступал оппонентом на защите их докторских диссертаций. Здесь можно упомянуть хотя бы работу И. Стебуна о реализме Франко. А когда харьковские ученые М. Черняков и М. Зельдович готовили к изданию свой Семинарий по Добролюбову, Рей-

сер принял живейшее участие в подготовке этой работы к изданию.

С. А. Рейсер сочетал в себе, как неоднократно подчеркивает Л. Г. Фризман, текстолога, филолога высокого класса и историка общественной мысли. Как филолога его характеризовало пристальное внимание к слову, умение видеть связь того или иного слова с историей, с богатым миром культуры. Об этом речь идет в главе «Создатель политической лексикографии». Вряд ли справедливо мнение Л. Г. Фризмана, что работ по политической лексике ни до Рейсера, ни после него не писал никто. Напомним хотя бы книгу Р. А. Будагова «История слов в истории общества» (М., 1971). Но безусловно верно, что Рейсер как лексикограф сказал и в этой отрасли новое и веское слово, раскрыл историю многих слов, получивших широкое распространение («декабрист», «общее дело» и многие другие).

Каждый, кто знал С. А. Рейсера, убеждался в том, как он внимательно следил за развитием науки, как чутко реагировал на работы своих коллег. Это нашло свое отражение в рецензиях, которых он написал несколько десятков. Рецензии Рейсера, одновременно отличались и доброжелательностью, уважительным отношением к работе коллег, и взыскательностью самой высокой пробы. Это не были рецензии-рефераты. Не сводились они лишь к перечислению плюсов и минусов той или иной работы. В них всегда содержались существенные дополнения к положениям рецензируемых работ. В конечном счете эти концептуальные рецензии были одним из видов научного творчества.

Я попытался осветить основное содержание книги Фризмана, которая, без сомнения, заслуживает самого пристального внимания. Важно то, что автор лично знавший С. А. Рейсера, показал единство жизни и творчества ученого.

В дополнение к тому, о чем живо, увлеченно рассказывает Л. Г. Фризман, можно остановиться и на таком моменте. Соломон Абрамович Рейсер был не только большим ученым, но и талантливым педагогом. Студенческая аудитория была для него своеобразной лабораторией, где рождались новые идеи, где впервые проходили своеобразную проверку те или иные положения.

Возвращаясь к книге Фризмана, подчеркну еще раз, что ее автору удалось нарисовать портрет самобытного ученого, охарактеризовать его вклад в историю русской литературы и общественной мысли.

# ХРОНИКА

## XXX МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В среду 17 мая 2006 года в Большом конференц-зале Пушкинского Дома состоялись очередные ежегодные «Малышевские чтения», посвященные на этот раз 85-летию со дня рождения бывшего сотрудника Отдела древнерусской литературы и постоянного читателя Древлехранилища доктора исторических наук Якова Соломоновича Лурье (1921—1996). Необходимо отметить, однако, что состоявшиеся впервые в 1977 году «Чтения памяти В. И. Малышева», преобразовавшиеся впоследствии в «Малышевские чтения», тоже отмечали свою дату, тридцатилетие, т. е. единственное, как показало время, сохранившееся в Пушкинском Доме ежегодное собрание научного сообщества. Все это в своем кратком вступительном слове обозначила зав. Отделом древнерусской литературы доктор филол. наук Н. В. Поньрко.

Научная часть чтений вполне закономерно оказалась посвященной роли Я. С. Лурье как исследователя русского летописания. В этом отношении, совершенно справедливо, первое слово было предоставлено канд. ист. наук В. Г. Воиной, впервые рассмотревшей научную стезю Я. С. Лурье в контексте известных уже в его время теорий и источниковедческих авторитетов, внятно и аргументированно показавшей значение и сложный путь «самоопределения» Я. С. Лурье в этом сложном и чрезвычайно важном не только для исторического знания, но и для истории отечественной литературы исследовательском жанре.

Доклад доктора филол. наук Г. М. Прохорова был посвящен проблеме возможного существования летописания во Владимиро-Суздальской Руси. Рассматривая заочную во времени полемику между Е. Ю. Перфецким и Ю. А. Лимоновым, докладчик привел свои источниковедческие, а также косвенные, археологические, аргументы в поддержку обоснованности предположения Е. Ю. Перфецкого относительно существования Владимирского летописания, следы которого запечатлелись во всей дальнейшей историографической работе Московской Руси.

Летописанию XV века в Кирилло-Белозерском монастыре был посвящен доклад доктора филол. наук А. Г. Боброва, как бы продолживший и развивший некоторые наблюдения Я. С. Лурье на эту тему. Библиотека этой обители была подробно описана в конце XV века, но в этот древнейший русский книжный каталог не вошли рукописи «ке-

лейные», т. е. находившиеся в личной собственности монахов монастыря. К их числу относились, вероятно, и летописи, сведения о которых представлены списками с оных, связанных своим происхождением с библиотекой этой обители. Текстологические и кодикологические наблюдения разных авторов позволяют суммарно установить, что в кирилло-белозерских по происхождению рукописях сохранились или предположительно существовали ранее основные памятники летописания XV—начала XVI века: Новгородская I летопись младшего извода, Летопись Авраамки, Софийская I, Ермолинская, Типографская, Вологодско-Пермская, Львовская летописи, сокращенные своды конца XV века, вполне возможно, что Радзивилловская летопись или ее протограф. Таким образом, можно сказать, что в келейных библиотеках иноков Кирилло-Белозерского монастыря было представлено «Полное собрание русских летописей» своего времени.

Канд. филол. наук Н. И. Милютенко представила слушателям свои наблюдения относительно источников Второй подборки Новгородской Карамзинской летописи и «Летописца вскоре» патриарха Никифора из Новгородской Кормчей. Некоторым предварительным наблюдениям над принципами работы составителей летописных памятников было посвящено сообщение канд. филол. наук О. Л. Новиковой.

В докладе доктора филол. наук Е. Г. Володазкина «Ефросиновская Палея до и после (на материале апокрифа о мыши в Ноевом ковчеге)» была представлена литературная история апокрифа, привлечшего в свое время внимание знаменитого книгописца XV века Ефросина. Докладчик предположил, что источником рассказа Ефросиновской Палеи о мыши в Ноевом ковчеге стал черновик Полной Хронографической Палеи или близкий к нему список. Редактура же самого Ефросина отразилась впоследствии в так называемой Сокращенной Палее русской редакции. Таким образом, впервые в этом докладе были сформулированы генеалогические отношения между разными редакциями Палеи на вполне конкретном апокрифическом текстовом материале.

Доклад ст. науч. сотр. Древлехранилища Г. В. Маркелова был посвящен сопоставлению текста древнерусского монастырского устава на примере устава основателя Комельского монастыря преподобного Корнилия, со-

ставленного в первой четверти XV века, и текста устава Андрея Денисова, основателя Выговского старообрядческого общежителства, составленного им в 1702 году. Если правила Корнилия можно назвать «образцовым уставом» традиционного типа, то документ выговского киноархара, стремившегося строить свою общину по древним образцам, отличаются весьма яркие и характерные новшества, присущие старообрядческой культурной модели XVIII века в целом. Это был уникальный опыт создания крестьянской утопической формы общественного бытия, просуществовавшей в условиях российской имперского единомыслия более ста пятидесяти лет. Первый законотворческий опыт Андрея Денисова имел продолжение в его собственных писаниях и сочинениях его последователей, представленных в «Выгорецком Чиновнике» из Древлехранилища Пушкинского Дома.

Вторая часть заседания заранее предполагалась организаторами «Чтений» как мемуарная. Председательствовал в этой части Г. В. Маркелов, который и предоставил первое слово приехавшему из Иерусалима доктору филол. наук И. З. Серману, хорошо известному сотрудникам Пушкинского Дома по летам его в этом Доме научного пребывания и благородно откликнувшемуся на приглашение организаторов «Малышевских чтений» принять в них участие. Самые ранние воспоминания И. З. Сермана о В. И. Малышеве восходили еще к 1934 году: к почти годичному хождению Владимира Ивановича в валенках (за неимением другой обуви), к знаменитому хорошему пению в общезнании на Мытнинской набережной и совершенно особому отношению к Владимиру Ивановичу академика А. С. Орлова, читавшего студентам курс лекций по древнерусской литературе. Уже в 1956 году незримо, но весьма конкретно запечатлелась роль Владимира Ивановича в комментариях к издававшемуся тогда собранию сочинений Н. С. Лескова, в подготовке которого принимал участие И. З. Серман, а двадцать лет спустя В. И. Малышев занял достойную и благородную позицию, когда Илью Захаровича «изгоняли» из Пушкинского Дома.

Другая часть воспоминаний относилась к Я. С. Лурье, соавторство с которым возникло вдруг на идее «воскресить М. А. Булгакова», о котором к 1965 году в литературоведении было почти забыто, в итоге чего в журнале «Русская литература» была опубликована их совместная статья «От „Белой гвардии” к „Дням Турбиных”», причем Илье Захаровичу повезло увидеть сценическое воплощение пьесы еще в 1927 году в Москве. Отношения с Я. С. Лурье не всегда были однозначными, но несомненно, что в его лице мы имели «настоящего историка», озабоченного строго историко-научным выяснением того, как это было на самом деле, и одновременно осозна-

вавшего, что прошлое неизбежно запечатлевается в современности.

Воспоминания доктора филол. наук О. В. Творогова о Я. С. Лурье в известной степени стали дополнением к докладу В. Г. Вовиной, но затронули еще одну тему научного наследия Я. С. Лурье: его интерес к проблеме взаимовлияния культур и сюжетному повествованию в памятниках древнерусской литературы. О. В. Творогов подчеркнул также весьма дружеский характер их общения с Яковом Соломоновичем, которому он многим обязан в своем становлении как ученого.

Краткие воспоминания канд. филол. наук М. А. Салминой под названием «Яксоша» озвучил В. П. Бударрагин. В них запечатлелись картинки «смеховой культуры» бытия Сектора древнерусской литературы в 50—60-е годы минувшего столетия, самое активное участие в воплощении которых принимал Я. С. Лурье. Отдельно были отмечены в воспоминаниях незаурядные познания Я. С. Лурье в истории мирового кинематографа.

Весьма обстоятельные воспоминания о Я. С. Лурье принадлежали доценту кафедры классической филологии СПбГУ, канд. филол. наук Н. М. Ботвинник. И это естественно, поскольку ее родители дружили с Я. С. Лурье еще с 30-х годов, встречали вместе новый 1938 год, после чего вскоре отец Н. М. Ботвинник, воспитанник С. Я. Лурье по классической филологии, был арестован. Такая же судьба могла ожидать и Я. С. Лурье, выпущившего с другом в 1940 году «листовку» против войны с Финляндией. Вообще в этих воспоминаниях неоднократно подчеркивалась общественная «строптивая» позиция Я. С. Лурье, его вполне конкретные, мужественные поступки, связанные, в частности, с публикацией в «тамиздате» книг об отце-филологе и критическом осмыслении творческого наследия Ильфа и Петрова (под псевдонимом «Авель Курдюмов»). Отмечалась необыкновенная работоспособность Я. С. Лурье (старший Лурье называл его «пчелом»), его лекторский дар, воплотившийся в полной мере, к сожалению, только в период эвакуации, в г. Енисейске. Страсть к кинематографу была представлена в «живых картинках» разных вариантов проникновения на редкие, подчас «закрытые», показы мировой кинематографической классики.

Завершили мемуарную часть заседания воспоминания сына Я. С. Лурье, известного телеведущего и публициста Льва Лурье о В. И. Малышеве как своего рода легендарной в науке личности, знакомой ему с детства сперва заочно, а потом реально воплотившейся сначала в «футбольном сюжете» его собственного взросления и дополненного затем разговорами с Владимиром Ивановичем в палате Академической больницы, где вновь свела их судьба, хотя и совершенно по разным тогда поводам.

**ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА ПЕТРОВА**  
**(1922—2005)**

18 ноября 2005 года на 83-м году жизни скончалась доктор филологических наук, главный научный сотрудник Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН, руководитель Группы исторической лексикологии и лексикографии ИЛИ РАН, главный редактор Словаря русского языка XVIII века Зинаида Михайловна Петрова.

З. М. Петрова родилась 19 декабря 1922 года в селе Ножкино Костромской области. В 1931 году семья переехала в Ленинград. Еще во время войны, в конце 1944 года, Зинаида Михайловна поступила на филологический факультет Ленинградского университета, по окончании которого по распределению уехала работать в Иркутск. В 1955 году З. М. Петрова успешно сдает экзамены в аспирантуру Ленинградского педагогического института имени А.И.Герцена, а в мае 1959 года становится сотрудником Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР (в настоящее время — Институт лингвистических исследований РАН), в котором она работала до последних дней жизни.

В начале 60-х годов З. М. Петрова включается в деятельность только что организованной группы по изучению русского языка XVIII века и подготовке фундаментального проекта — «Словаря русского языка XVIII века», которую возглавил Ю. С. Сорокин. С этого момента в центре научных интересов Зинаиды Михайловны главное место занимают проблемы развития словарного состава русского языка XVIII века.

Со статьи «Сложные прилагательные в поэзии второй половины XVIII века» начинается многолетняя работа по изучению лексических новообразований в кругу прилагательных, результатом которой стала глава «Новообразования в кругу прилагательных» в коллективной монографии «Лексические новообразования в русском языке XVIII века» (Л., 1975, в соавторстве с А. И. Молотковым и И. М. Мальцевой). В 1985 году З. М. Петрова успешно защитила доктор-

скую диссертацию на тему «Развитие лексического состава русского языка XVIII века. (Имена прилагательные)».

В 1977 году проект «Словаря русского языка XVIII века» был издан под редакцией Ю. С. Сорокина. Одним из авторов проекта является З. М. Петрова. Ею написаны разделы об общих принципах построения Словаря, о различении слова и словосочетания применительно к текстам XVIII века, о представлении грамматической характеристики слова.

В 1984 году вышел в свет первый выпуск «Словаря русского языка XVIII века». С этого времени З. М. Петрова исполняла обязанности ответственного секретаря редакционной коллегии. В 1990 году, после кончины Ю. С. Сорокина, она возглавила Группу исторической лексикологии и лексикографии Словарного отдела ИЛИ РАН. Под ее руководством увидели свет семь выпусков Словаря (вып. 8—14. СПб., 1995—2004). В декабре 2005 года вышел 15-й выпуск, которого Зинаида Михайловна, к сожалению, не дождалась. Общий объем составленных и изданных словарных статей, автором которых является З. М. Петрова, составляет около 50 авт. листов. Десятки подготовленных ею словарных статей еще ждут своей публикации.

Зинаида Михайловна Петрова принадлежала к тому типу ученых, для которых наука была смыслом всей жизни. С уходом Зинаиды Михайловны Петровой филологическая наука потеряла исследователя, обладавшего огромными знаниями и опытом, глубоко преданного лексикографии.

Светлая память о З. М. Петровой навсегда сохранится в сердцах коллег, а дело, которому она посвятила всю свою жизнь, будет достойно продолжено.

*Коллектив Института  
лингвистических  
исследований РАН*

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,  
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
В 2006 ГОДУ**

№ Стр.

СТАТЬИ

|   |   |    |
|---|---|----|
| Дмитриенко О. А. Путь Индры. Воплощение мифа в романе Набокова «Подвиг» . . . . .   | 4 | 43 |
| Кардаш Е. В. Тайна «танцующих старушек»: «зеркала» и «автоматы» в романтической литературе и «Сорочинская ярмарка» Гоголя . . . . .                                   | 3 | 19 |
| Киселев В. С. О поэтике сентиментальной циклизации («Мои безделки» Н. М. Карамзина // «И мои безделки» И. И. Дмитриева) . . . . .                                     | 3 | 3  |
| Костюхин Е. А. Русский народный роман. . . . .  | 2 | 3  |
| Котельников В. А. Воинствующий идеалист Аким Вольнский . . . . .  | 1 | 20 |
| Кошелев В. А. Дума гетмана Мазепы и поэма Пушкина «Полтава» . . . . .   | 2 | 22 |
| Краснощекова Елена (США). Bildungsroman: из восемнадцатого века в девятнадцатый (трилогия Льва Толстого и «Библиотека моего дяди» Родольфа Тёпфера) . . . . .         | 2 | 37 |
| Пайков Н. Н. «Человек жизненной рутины» в поэзии Н. А. Некрасова. Статья первая. Этика жизнестроительства . . . . .   | 4 | 15 |
| Сафронова Л. В. Поэтика литературного сериала и проблема автора и героя (на материале сериалов «Дикие животные сказки» и «Пуськи бятые» Л. С. Петрушевской) . . . . . | 2 | 55 |
| Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) . . . . .  | 3 | 38 |
| Фомичев С. А. «Камчатка — страна печальная...» (последний творческий замысел Пушкина) . . . . .   | 4 | 3  |
| Фомичев С. А. О жанровой природе сказок Пушкина . . . . .   | 1 | 3  |
| Фролов С. В. «Пиковая дама» П. И. Чайковского — «Песня Судьбы» А. А. Блока  | 4 | 31 |

К 100-летию СО ДНЯ СМЕРТИ АКАДЕМИКА А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО

|  |   |    |
|--|---|----|
| Из неизданной книги Ф. Д. Батюшкова «Около талантов»: Александр Николаевич Веселовский (публикация П. Р. Заборова) . . . . . | 4 | 62 |
|--|---|----|

К 120-летию СО ДНЯ СМЕРТИ И. С. АКСАКОВА

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Иван Аксаков и «фанатики-фанариоты». I. Переписка И. С. Аксакова и Т. И. Филиппова (1870—1885) (вступительная статья, подготовка текста и комментарии О. Л. Фетисенко) . . . . . | 1 | 115 |
| Фетисенко О. Л. Иван Аксаков и «фанатики-фанариоты». II. И. Аксаков и К. Леонтьев. Цензорский доклад К. Леонтьева о сборнике «Взгляд назад» . . . . .                            | 2 | 146 |
| Бадалян Д. А. Газета И. С. Аксакова «Русь» и цензура . . . . .   | 1 | 94  |
| Кошелев В. А. Иван Аксаков: консервативная оппозиция как литературная идеология . . . . .  | 1 | 76  |

К 140-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Азадовский К. М. Вячеслав Иванов и Рильке: два ракурса . . . . .   | 3 | 115 |
| Бёрд Роберт (США). Неизданный текст Вячеслава Иванова о «Предварительном действе» А. Н. Скрябина . . . . . | 3 | 147 |



|   |   |     |
|---|---|-----|
| <b>Вахтель Майкл (США).</b> Вячеслав Иванов и его «дрезденские друзья» (новые материалы) . . . . .                              | 3 | 151 |
| <b>Гидини Мария Кандида, Шишкин А. Б. (Италия).</b> Два письма Вячеслава Иванова к Жаку Маритену . . . . .                      | 3 | 157 |
| <b>Глухова Е. В.</b> Конспект Вячеслава Иванова к лекции Андрея Белого из цикла «Теория художественного слова» . . . . .        | 3 | 135 |
| <b>Доценко С. Н. (Эстония).</b> О фольклорных источниках стихотворения Вячеслава Иванова «ΡΟΞΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» . . . . . | 3 | 108 |
| <b>Кузнецова О. А.</b> К истории посвящений в сборнике Вячеслава Иванова «Прозрачность» . . . . .                               | 3 | 98  |
| <b>Обатини Г. В. Miscellanea</b> (из пятого тома брюссельского собрания сочинений Вячеслава Иванова) . . . . .                  | 3 | 128 |

#### К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. РОЗАНОВА

|  |   |     |
|--|---|-----|
| <b>Гончарова Е. И.</b> Контуры жакерии (В. В. Розанов и Мережковские) . . . . .  | 4 | 114 |
| <b>Грякалов А. А.</b> <i>Понимание и письмо: опыт В. В. Розанова</i> . . . . .   | 4 | 103 |
| <b>Иванова Е. В. В. В. Розанов и его апокалипсис литературы</b> . . . . .  | 4 | 92  |
| <b>Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: письмо Розанова к Т. И. Филиппову (публикация, вступительная статья и примечания О. Л. Фетисенко)</b> . . . . . | 4 | 131 |

#### ИЗ ИСТОРИИ ПУШКИНСКОГО ДОМА

|  |   |     |
|--|---|-----|
| <b>Солдатов Л. М.</b> Традиция памяти Пушкина на выражах политической жизни России XX века . . . . . | 1 | 147 |
|--|---|-----|

#### ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ. М. К. АЗАДОВСКИЙ

|   |   |     |
|---|---|-----|
| <b>Два отзыва о научной деятельности М. К. Азадовского (публикация Т. Г. Ивановой)</b> . . . . .  | 2 | 86  |
| <b>Статья М. А. Сергеева о М. К. Азадовском (публикация М. Д. Эльзона)</b> . . . . .  | 2 | 102 |
| <b>«Удастся ли прорубить эту стену...» (Из писем М. К. Азадовского к Н. К. Гудзию 1949—1950 годов) (публикация К. М. Азадовского)</b> . . . . . | 2 | 66  |

#### ТЕКСТОЛОГИЯ

|   |   |     |
|---|---|-----|
| <b>Осип Мандельштам.</b> О природе слова (вступительная статья и примечания А. Г. Меца) . . . . . | 4 | 138 |
|---|---|-----|

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

|  |   |     |
|--|---|-----|
| <b>Березкина С. В.</b> Воспоминания А. Н. Вульфа и М. И. Осиповой о Пушкине в записи М. И. Семевского 1880 года . . . . .  | 2 | 118 |
| <b>Бёрд Роберт (США).</b> Вяч. Иванов и массовые празднества ранней советской эпохи . . . . .  | 2 | 174 |
| <b>З. Н. Гиппиус</b> в переписке с братьями Н. Л. и М. Л. Слонимскими (1915—1923): История личных и творческих отношений (вступительная статья, подготовка текста и комментарии Кита Трибла (США)) . . . . .     | 3 | 193 |
| <b>Ермолаев Г. С. (США).</b> Неизвестные исторические источники «Тихого Дона» . . . . .  | 4 | 184 |
| <b>«Заграничные связи нам тоже слишком дороги»: письма З. Гиппиус, Д. Мережковского, Д. Filosofova к Б. Савинкову. 1912—1913 годы (вступительная статья, публикация и примечания Е. И. Гончаровой)</b> . . . . . | 1 | 192 |
|  | 2 | 160 |
| <b>Вячеслав Иванов.</b> К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в области художественного действия (публикация и примечания Роберта Бёрда (США)) . . . . .                                  | 2 | 189 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| «Искренне Ваш Юл. Оксман» (письма 1914—1970-го годов) (публикация М. Д. Эльзона, предисловие В. Д. Рака, примечания В. Д. Рака и М. Д. Эльзона) (окончание) . . . . . | 1 | 227 |
| Кибальник С. А. Газданов и Шестов . . . . .   | 1 | 218 |
| Климова Д. М. К истории первой публикации двух стихотворений Пушкина . . . . .  | 3 | 163 |
| Кочеткова Н. Д. Херасков в «Московском журнале» Карамзина . . . . .   | 4 | 161 |
| Крючков В. П. «Лермонтовский штосс» в повести «Штосс в жизнь» Б. Пильняка . . . . .   | 3 | 229 |
| Куницын Б. М. Казанский адресат Н. С. Лескова . . . . .   | 3 | 168 |
| Мазовецкая Э. И. ( <i>Израиль</i> ). О. Н. Чюмина — поэт, переводчик, общественный деятель . . . . .  | 3 | 189 |
| Марзие Яхьяпур, Джанолах Карими-Мотакхар ( <i>Иран</i> ). «Двойник» Ф. М. Достоевского и «Слепая сова» С. Хедаята . . . . .   | 3 | 185 |
| Неизвестное письмо Н. А. Клюева к И. Э. Грабарю (публикация В. В. Перкина) . . . . .  | 3 | 238 |
| Неопубликованные переводы Николая Гумилева: «Вимини» и «Вицли-Пуцли» Г. Гейне (публикация К. С. Корконосенко) . . . . .   | 2 | 198 |
| Семёнова А. С. Об источниках дендизма как социокультурного мотива у русских писателей . . . . .   | 4 | 173 |
| Серман Илья ( <i>Израиль</i> ). Загадка Крылова . . . . .   | 4 | 165 |
| Тайманова Т. С. Жанна д'Арк и духовные искания русского зарубежья . . . . .   | 4 | 188 |

## ЗАМЕТКИ

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Генералова Н. П. Об адресате «Двух писем о значении древних языков в нашем воспитании» А. А. Фета . . . . . | 1 | 274 |
| Зленко Г. Д. ( <i>Украина</i> ). Еще об Эммануиле Григорьевиче Оксмане (письмо в редакцию) . . . . .        | 3 | 240 |

## ПОЛЕМИКА

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Бобров А. Г. Неудачный поход против «Сказания о Валаамском монастыре» (по поводу статьи С. Н. Азбелева) . . . . .                           | 1 | 277 |
| Уайт Фредерик Х. ( <i>Канада</i> ). Так был ли болен Л. Андреев? (О правде, правдоподобности и праве на литературную диагностику) . . . . . | 4 | 152 |

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Алексеева Н. Ю. «Обратный перевод»: труды И. Клейна на русском языке (Клейн Иоахим. Пути культурного импорта. Труды по русской литературе XVIII века. М.: Языки славянской культуры, 2005. 576 с.) . . . . .  | 3 | 252 |
| Буланин Д. М. Письмо и письменность в Древней Руси (середина X—рубеж XIII и XIV веков) (Franklin Simon. Writing, Society and Culture in Early Rus, circa 950—1300. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 326 p.) . . . . .   | 3 | 241 |
| Веселова А. Ю. Новые исследования по русской культуре XVIII века (Russian Society and Culture and the Long Eighteenth Century / Roger Bartlett, Lindsey Hughes (Eds). Münster, 2004. 246 p.) . . . . .  | 2 | 220 |
| Гольберг М. Я. ( <i>Украина</i> ). Портрет ученого (Фризман Л. Научное творчество С. А. Рейсера. Харьков: Новое слово, 2005. 112 с.) . . . . .  | 4 | 196 |
| Данилевский Р. Ю. «Между искусством, коммерцией и революцией» (монография о Н. А. Некрасове) (Luisier Annette. Nikolaj Nekrasov: Ein Schriftsteller zwischen Kunst, Kommerz und Revolution. Zürich: Pano Verlag, 2005. 301 s. (Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Bd. 11)) . . . . . | 3 | 255 |
| Данилевский Р. Ю. И. С. Тургенев и права человека («Записки охотника») (Скокова Л. И. И. С. Тургенев о правах человека в «Записках охотника». М.: Гелиос АРВ, 2005. 208 с.) . . . . .   | 2 | 223 |
| Жеребкова Е. В. Труд немецкого слависта глазами русского читателя (Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.) . . . . .   | 1 | 287 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| <b>Ромодановская В. А.</b> О русской культуре позднего средневековья и Нового времени (Белоброва О. А. Очерки русской художественной культуры XVI—XX веков. Сборник статей / Отв. ред. М. А. Федотова. М.: Индрик, 2005. 440 с.; ил.) . . . . .   | 2 | 216 |
| <b>Степанова Л. Г.</b> Полоцкий риторический трактат XVIII века (Латиноязычные риторики на Белоруси: Полоцкий трактат «О риторическом искусстве...» 1788, 1799 годов издания / Вступ. ст., подгот. текста, пер. и коммент. И. Б. Кравчук; отв. ред. Т. Е. Автухович; ред. пер. В. М. Волощук, М. В. Волощук. Минск: РИВШ, 2006. 368 с.) . . . . . | 4 | 194 |
| <b>Щукин В. Г.</b> Река времен, или Никто не знает настоящей правды (Катаев В. Б. Чехов плюс...: Предшественники, современники, преемники. М.: Языки славянской культуры, 2004. 392 с.) . . . . .   | 1 | 282 |

## ХРОНИКА

|  |   |     |
|--|---|-----|
| <b>Бударагин В. П.</b> XXX Малышевские чтения . . . . .  | 4 | 201 |
| <b>Вьюгин В. Ю.</b> «Русский литературный авангард: от границ явления к границам термина» (Первый Международный семинар из цикла «Стиль в двадцатом веке») . . . . . | 3 | 258 |
| <b>Грякалова Н. Ю., Колесникова Е. И.</b> Международная научно-практическая конференция «Александр Блок. Современное прочтение, издание, изучение»                   | 2 | 226 |
| <b>Денисенко С. В.</b> Международная научная конференция «Дело случая... Случай и случайность в литературе и в жизни» . . . . .                                      | 1 | 295 |
| <b>Запезалов В. Н., Прокофьев В. А.</b> День Федора Абрамова в Пушкинском Доме . . . . .   | 1 | 299 |
| <b>Костин А. А.</b> К 250-летию Московского университета . . . . .   | 1 | 293 |
| <b>Михайлова А. К.</b> Международные научные чтения памяти Вадима Эразмовича Вацура (1935—2000) . . . . .  | 2 | 231 |
| <b>Багно В. Е., Данилевский Р. Ю., Заборов П. Р.</b> Юрий Давидович Левин . . . . .  | 2 | 238 |
| Памяти Владимира Артемовича Туниманова . . . . .   | 3 | 263 |
| Памяти Людмилы Николаевны Назаровой . . . . .  | 1 | 303 |
| Зинаида Михайловна Петрова (1922—2005) . . . . .   | 4 | 203 |

Технический редактор *О. В. Новикова*  
Корректоры *О. И. Буркова, О. В. Гусихина, Ф. Я. Петрова* и *А. К. Рудзик*  
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 26.10.06.  
Формат 70 × 100  $\frac{1}{16}$ . Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16.9.  
Уч.-изд. л. 20.9. Тираж 974 экз. Тип. зак. № 704. С 249

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1  
E-mail: [main@nauka.nw.ru](mailto:main@nauka.nw.ru)  
Internet: [www.naukaspb.spb.ru](http://www.naukaspb.spb.ru)

Первая Академическая типография «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12